

ХАННА АРЕНДТ



БАНАЛЬНОСТЬ ЗЛА

ЭЙХМАН В ИЕРУСАЛИМЕ

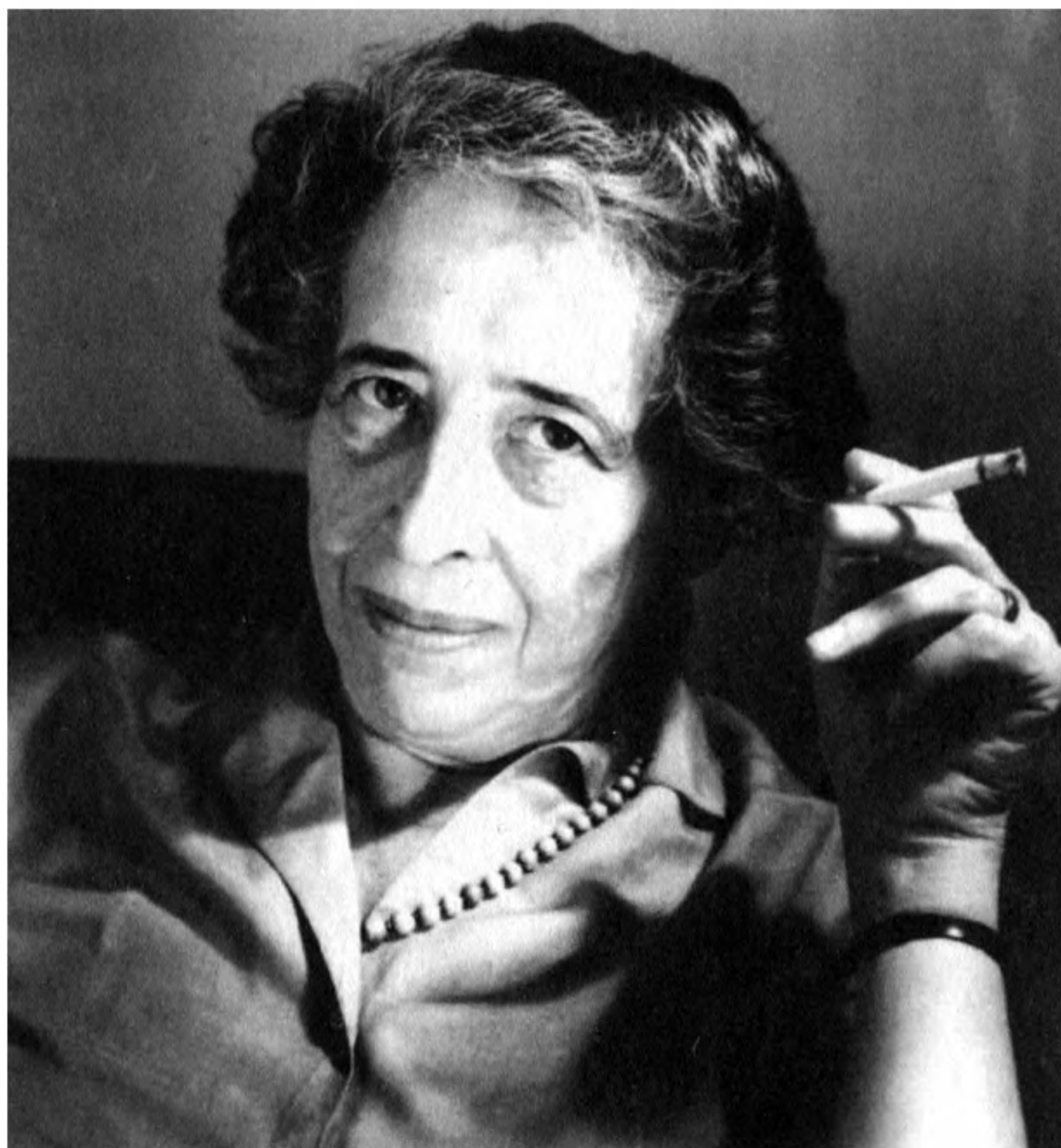
Публикация книги спустя полвека после ее первого издания имеет двойной смысл.

Во-первых, после издания двухтомника о Нюрнбергском процессе тема Холокоста в Советском Союзе практически замалчивалась, так что российский читатель впервые может ознакомиться с чрезвычайно дотошным исследованием Ханны Арендт.

Во-вторых, как ни огорчительно, тема преступлений против человечности в начале XXI века оказалась актуальной как никогда, будь то война на истребление в суданском Дафуре, геноцид и вытеснение сербов из Косова или третья уже кровавая попытка тбилисских властей создать «Грузию для грузин».

К великому сожалению, Запад упорно пытается «приватизировать» тему преступлений против человечности, используя Гаагский трибунал как однонаправленный инструмент. Именно дотошность Ханны Арендт, тщательно анализирующей не только ход процесса над Эйхманом, но и все юридические ловушки на пути к известному результату этого процесса над воплощением обыденности абсолютного зла, составляет основную ценность этой монографии.

© европа



HANNAH ARENDT

Eichmann in Jerusalem
A Report on the
Banality of Evil

New York
The Viking Press
1963



Серия «Холокост»

ХАННА АРЕНДТ

БАНАЛЬНОСТЬ
ЗЛА

ЭЙХМАН В ИЕРУСАЛИМЕ

Москва
Издательство «Европа»
2008

УДК 94+82-94

ББК 63.3(0)

A 93

Hannah Arendt

EICHMANN IN JERUSALEM.

A Report on the Banality of Evil

Copyright © Hannah Arendt, 1963, 1964

Данное издание опубликовано по соглашению с компанией Viking, членом Penguin Group (USA) Inc.

Издательство выражает благодарность литературному агентству Andrew Nurnberg за помощь в получении прав на издание

В оформлении обложки использован настенный рисунок из детского барака в Освенциме

В оформлении книги использованы иллюстрации словенского архитектора и художника Бориса Кобе (1905–1981), бывшего заключенного концентрационного лагеря Дахау

Перевод с английского *Сергея Кастальского* и *Натальи Рудницкой*
Послесловие *Эфраима Зуроффа*

Ханна Арендт

A 93 Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. – М.: Издательство «Европа», 2008. – 424 с. – (Холокост)

УДК 94+82-94

ББК 63.3(0)

Все права защищены, включая право полного или частичного репродуцирования (воспроизведения) данного издания любым способом.

ISBN 978-5-9739-0162-2

© Hannah Arendt, 1963, 1964

© Кастальский С., Рудницкая Н., перевод, 2008

© Издательство «Европа», издание на русском языке, 2008

Впервые эта книга в сокращенном и слегка измененном виде была опубликована в виде серии статей в журнале New Yorker.

О Германия...

Слушая речи, доносящиеся из дома твоего, люди смеются,

Однако при встрече с тобой они хватаются за нож...

Бертольд Брехт. «Германия»

(пер. А. Штейнберга)

О Т А В Т О Р А

Я освещала процесс Эйхмана в Иерусалиме для журнала *The New Yorker*, где этот отчет в несколько сокращенном виде был первоначально опубликован. Книга была написана летом и осенью 1962 года и закончена зимой во время моей работы в университете Уэсли в качестве стипендиата Центра перспективных исследований.

Моими основными источниками, естественно, были различные материалы, которые судебные власти Иерусалима направляли представителям прессы, все в виде ротапринтных копий. Ниже приводится их список:

- 1) Английский и немецкий переводы с иврита стенограммы процесса. Когда заседания проходили на немецком языке, я пользовалась стенограммой на немецком и сама делала перевод.
- 2) Перевод вступительной речи генерального прокурора на английский язык.
- 3) Перевод заключения окружного суда на английский язык.

- 4) Перевод на английский и немецкий языки апелляции защиты перед Верховным судом.
- 5) Перевод на английский и немецкий языки апелляционных слушаний в Верховном суде.
- 6) Немецкоязычный вариант распечатки магнитофонной записи предварительного допроса обвиняемого, который провела полиция Израиля.
- 7) Данные под присягой письменные показания шестнадцати свидетелей защиты: Эриха фон дем Бах-Зелевски, Рихарда Баера, Курта Бехера, Хорста Грелля, доктора Вильгельма Хёттля, Вальтера Хуппенкотена, Ганса Юттнера, Герберта Капплера, Германа Круми, Франца Новака, Альфреда Йозефа Славика, доктора Макса Мертена, профессора Альфреда Зикса, доктора Эберхарда фон Таддена, доктора Эдмунда Веезенмайера и Отто Винкельмана.
- 8) Документы, представленные обвинением.
- 9) Юридические материалы, представленные генеральным прокурором.
- 10) Я также имела в своем распоряжении ротапринтные копии семидесяти страниц пометок, которые делал обвиняемый при подготовке к интервью с Сассеном. Обвинение представило это интервью суду, который принял его в качестве вещественного доказательства, но представителям прессы его не передавали.

Я хочу выразить свою благодарность Центру современной еврейской документации в Париже, Институту истории в Мюнхене и архиву Яд ва-Шем в Иерусалиме за их помощь и содействие.

О Т А В Т О Р А

Я много пользовалась журнальными и газетными материалами, публиковавшимися со дня поимки Эйхмана (май 1960 года) по настоящий день (январь 1963 года). Я читала и делала вырезки из следующих ежедневных и еженедельных изданий: *New York Herald Tribune* и *New York Times*, *Jerusalem Post*; *Jewish Chronicle* (Лондон); *Le Monde* и *L'Express* (Париж); *Aufbau* (Нью-Йорк); *Frankfurter Allgemeine Zeitung*; *Frankfurter Rundschau*; *Neue Zürcher Zeitung*; *Rheinischer Merkur* (Кельн); *Der Spiegel*; *Suddeutsche Zeitung* (Мюнхен); *Die Welt* и *Die Zeit* (Гамбург).

Представляется бессмысленным перечислять множество книг и статей, которые я прочитала при подготовке этой книги. Библиография содержит названия только тех из них, которые я в этой книге цитировала.

Ханна Арендт
Нью-Йорк, февраль 1963 года

ГЛАВА I

ДОМ СПРАВЕДЛИВОСТИ

«*Бейт Хамишпат*» – «Дом справедливости» – во всю глотку кричит судебный пристав, и мы вскакиваем: слова эти означают прибытие трех судей – с обнаженными головами, в черных мантиях, они появляются откуда-то сбоку и занимают свои места в верхнем ряду помоста. С обоих концов их длинного стола, пока еще пустого – в скором времени он будет завален бесчисленными книгами и более чем полутора тысячами папок с документами, – восседают стенографисты. Чуть ниже располагаются переводчики: их услуги необходимы для общения между обвиняемым или его адвокатом и судом – процесс ведется на иврите, и во всех иных ситуациях и говорящий по-немецки обвиняемый, и публика вынуждены следить за его ходом через наушники, в которые подается великолепный перевод на французский, сносный – на английский и, что невероятно комично, – совершенно невнятный перевод на немецкий язык.

Процесс готовился с особой тщательностью, однако по таинственному стечению обстоятельств во всем новом государстве Израиль, множество граждан которого были рождены в Германии, не удалось найти адекватного переводчика на немецкий – единственный язык, которым владеют обвиняемый и его адвокат. Вряд ли стоит искать причину в прежде бытовавшем в Израиле, но ныне почти исчезнувшем предубеждении против немецких евреев. Скорее причиной тому еще более старое, но отнюдь не утратившее своей силы влияние «витамина Р» – так в Израиле называют царящий в правительственных кругах и в бюрократической системе протекционизм.

А еще ниже переводчиков установлены две стеклянные будки: одна – для обвиняемого, вторая – для свидетелей. Они повернуты друг к другу, и мы, присутствующие в зале, видим обвиняемого и свидетелей только в профиль. И, наконец, в нижнем ряду, спиной к залу, сидят обвинитель со своими четырьмя помощниками прокурора и защитник, у которого в течение первых недель процесса был один ассистент.

В поведении судей нет ничего театрального. Все их жесты, движения отнюдь не рассчитаны на публику, они очень стараются выслушивать показания свидетелей с беспристрастным вниманием, но видно, как напрягаются их лица, когда они слышат очередной рассказ о страданиях, и эта их скорбь вполне естественна; нетерпеливость, с которой они реагируют на попытки обвинителя затянуть процесс до бесконечности, спонтанна и вносит в слушания свежую струю, к защитнику они относятся, может быть, с несколько излишней предупредительностью, как бы постоянно напоминая себе о том, что «доктор Сервациус

практически в одиночку ведет сложнейшую баталию, находясь при этом в непривычной ему обстановке», их поведение по отношению к обвиняемому абсолютно безупречно. Все трое – люди очевидно добропорядочные и честные, и ни один не поддался вполне объяснимому искушению сыграть на технических несуразицах: все трое родились и получили образование в Германии, однако они терпеливо выслушивают перевод показаний на иврит. А председатель суда Моше Ландау едва воздерживается от реплик еще до того, как переводчик закончит свою работу, он часто вмешивается в перевод, корректируя и улучшая его, он явно благодарен каждой возможности хоть немного отвлечься от чудовищности этого дела. Спустя несколько месяцев, во время перекрестного допроса обвиняемого, он даже заставил своих коллег вести диалоги с Эйхманом на родном для них немецком, что стало лишним доказательством – если таковые доказательства еще требовались – его замечательной независимости от израильского общественного мнения.

С самого начала тон здесь задает судья Ландау, и он изо всех сил старается не позволить процессу превратиться в своего рода шоу – вопреки склонности обвинителя к показухе. И если его попытки не всегда оказываются успешными, то только потому, что сам процесс разворачивается на возвышении – своего рода сцене, а звучащий в начале каждого заседания величественный выкрик пристава словно служит сигналом к поднятию занавеса. Тот, кто спланировал этот зал в новеньком *Бейт Хаам*, ДOME народа (сейчас он окружен высоким забором, с крыши до подвалов его охраняют вооруженные полицейские, у входа выстроены деревянные бараки, в которых всех направляющихся на суд тщательно обыскивают), и имел в виду зал теат-

ральный – с оркестровой ямой и галеркой, с просцениумом и сценой, с боковыми входами для актеров. Совершенно очевидно, что именно в этом зале премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион и намеревался устроить показательный процесс над Эйхманом, когда решал похитить его из Аргентины и доставить в окружной суд Иерусалима, чтобы он ответил за свою роль в «окончательном решении». И Бен-Гурион, которого по праву называют «архитектором государства», остается невидимым режиссером процесса. Он не единожды присутствовал на заседаниях, и это его голосом в зале суда говорит генеральный прокурор Гидеон Хаузнер – будучи представителем государства, он неукоснительно подчиняется своему господину. И если его попытки, к счастью, не всегда оказываются успешными, то только потому, что председательствует на процессе человек, который служит правосудию с таким же рвением, с каким господин Хаузнер служит государству.

Согласно требованиям правосудия ответчик должен быть в судебном порядке обвинен, защищен, и в его отношении должен быть вынесен приговор, а ответы на все остальные вопросы, кажущиеся куда более важными – как такое могло случиться, почему это произошло, почему именно евреи и почему именно немцы, какой была роль других народов, до каких пределов простирается совместная ответственность союзников, как могло случиться, что евреи через своих лидеров сами участвовали в собственном уничтожении, почему они покорно шли на смерть, словно жертвенные овцы, – должны быть пока оставлены за скобками. Правосудие настаивает на том, чтобы в центре процесса находился Адольф Эйхман, сын Карла Адольфа Эйхмана, человек в сооруженной для его защи-

ты стеклянной будке: невысокого роста, субтильного телосложения, средних лет, лысеющий, с дурными зубами, близорукый, тот самый, который в течение всего процесса тянул свою морщинистую шею в сторону судейской скамьи (он ни разу не повернулся лицом к аудитории), тот самый, который старательно и по большей части успешно сохранял самоконтроль – несмотря на подрагивающий в нервном тике рот, но, может, этот нервный тик появился у него задолго до самого процесса. Ибо предметом судебного разбирательства являются его поступки, а не страдания евреев, не немецкий народ или все человечество, и даже не антисемитизм и расизм.

И правосудие – возможно, абстракция для тех, кто мыслит, как господин Бен-Гурион, – доказывает, что оно является куда более строгим господином, нежели премьер-министр со всеми своими властными силами.

Власть государства, как не замедлил продемонстрировать мистер Хаузнер, достаточно терпима: она позволяет обвинителю давать во время процесса пресс-конференции и телеинтервью (американская программа, которую спонсирует корпорация Гликмана*, постоянно прерывается – бизнес есть бизнес – рекламой недвижимости), она даже позволяет ему демонстрировать собравшимся в зале суда репортерам «спонтанные» взрывы негодования – еще бы, он ведь так устал допрашивать Эйхмана, который на каждый вопрос отвечает ложью; она позволяет и косые взгляды на публику, и театраль-

* Корпорация Гликмана с 1915 по 2002 год была крупнейшей в США компанией по сбору и переработке металлолома. – *Здесь и далее примечания переводчика.*

ные приемы, говорящие о более чем ординарном тщеславии, о том самом тщеславии, которое восторжествовало, когда сам президент Соединенных Штатов в самом Белом доме поздравил его «с хорошей работой».

Правосудие же ничего подобного не дозволяет; оно требует уединения, оно допускает сожаление, но не гнев, и оно предписывает тщательное воздержание от всех скромных приятностей, которыми одаряет общественное внимание. Визит судьи Ландау в США вскоре после процесса обошелся вообще без этого внимания – исключение составили разве что еврейские организации, которые и организовали этот визит.

Но как бы упорно ни избегали судьи такого внимания, вот они здесь, сидят в самом верхнем ряду, лицом к нам, словно актеры перед публикой. Предполагается, что публика представляет собою весь мир, и действительно в течение первых недель она состояла в основном из газетчиков и журналистов со всех концов света. Они прибыли на спектакль, столь же сенсационный, как и Нюрнбергский процесс, только на этот раз «центральным вопросом стала трагедия еврейства». И *«если мы обвиним его [Эйхмана] также в преступлениях против неевреев, ...то»* не потому, что он их не совершал, а, как ни странно, *«потому что мы не делаем этнических различий»*. Эту поистине замечательную сентенцию обвинитель произнес еще в своей вступительной речи, и она стала ключевой во всей позиции обвинения по этому делу. Потому что дело построено прокурором на страданиях евреев, а не на деяниях Эйхмана. По господину Хаузнеру, это различие совершенно несущественное, поскольку «существовал один-единственный человек, который почти полностью ведал евреями, чьим основным занятием было их унич-

тожение, чья роль в установлении чудовищного режима была ограничена ими. Этим человеком был Адольф Эйхман».

Так разве не логично тогда было бы представить суду все факты касательно страданий евреев (которые, конечно, никто сомнению не подвергает) и затем рассмотреть доказательства, которые тем или иным образом связывают Эйхмана со всеми представленными случаями? Во время Нюрнбергского процесса, на котором подсудимые «обвинялись в преступлениях против представителей различных национальностей», трагедия еврейского народа практически не обсуждалась по той простой причине, что Эйхман среди обвиняемых отсутствовал.

Неужели господин Хаузнер действительно считает, что, окажись Эйхман на скамье подсудимых Нюрнбергского процесса, судьба евреев удостоилась бы более пристального рассмотрения? Вряд ли. Подобно почти всем в Израиле, он уверен, что только еврейский суд способен вершить правосудие по отношению к евреям и что это исключительно еврейское дело – судить своих врагов.

Именно отсюда произрастает почти единодушная враждебность к простому упоминанию о международном суде, который мог бы вменить в вину Эйхману не преступления «против еврейского народа», а преступления против человечества в лице еврейского народа.

Отсюда и странная похвальба: «мы не делаем этнических различий», которая в самом Израиле не кажется такой уж странной, поскольку личный статус еврейского гражданина определяется здесь законами раввината, в результате чего ни один еврей не может жениться на нееврейке; браки, заключенные за границей, признаются, но дети от смешанных браков в

глазах закона являются бастардами (однако если оба родителя евреи, а брак между ними не заключен, их дети признаются законнорожденными), и если случилось так, что у кого-то мать не еврейка, то он не может ни жениться, ни быть похороненным.

Негодование по поводу такого положения дел с 1953 года, когда значительная доля юрисдикции по вопросам семейного права была передана светским судам, стало лишь острее. Теперь женщины в Израиле наследуют собственность и в основном пользуются теми же правами, что и мужчины. Но взору явилось неуважительное отношение к вере и фанатичному религиозному меньшинству, которое не позволяет правительству Израиля заменить закон раввината о браке и разводе светским законом. При этом граждане Израиля, как верующие, так и неверующие, похоже, единодушны в своем желании иметь-таки закон, запрещающий смешанные браки, и в основном по этой причине – как охотно признавали вне здания суда израильские официальные лица – они так же единодушно настроены против письменной конституции, в которой пришлось бы сформулировать столь смущающий закон.

«Аргументы против гражданского брака раскололи бы дом Израилев, а также разделили бы евреев этой страны и евреев диаспоры», – написал недавно в *Jewish Frontier* Филип Гиллон.

Но какими бы ни были причины, в наивности, с которой обвинитель клеймил печально знаменитые Нюрнбергские законы 1935 года, по которым запрещались браки и сексуальные отношения между евреями и немцами, было нечто захватывающее дух. Более информированные журналисты хорошо предста-

вляли себе всю иронию ситуации, но в репортажах об этом не упоминали. Они полагали, что сейчас не время говорить евреям о несовершенстве законов и институтов их страны.

И если публикой, представленной на процессе, был весь мир, а пьесой, на нем разыгрывавшейся, была широкая панорама еврейских страданий, то ничего удивительного, что реальность не оправдывала ожиданий и замыслов. Журналисты составляли большинство аудитории не более двух недель, после чего состав публики значительно поменялся. Теперь, как подразумевалось, она должна была состоять из молодых израильтян, не слишком хорошо знающих историю, или евреев из стран Востока, которым ее никогда не рассказывали. Предполагалось, что процесс должен продемонстрировать, что значит жить среди неевреев, убедить их, что только в Израиле еврей может жить безопасно и достойно.

Урок для корреспондентов был преподан в специально распространённом буклете о юридической системе Израиля. Его автор Дорис Ланкин приводит решение Верховного суда, согласно которому двоим отцам, «похитившим своих детей и насильно увезшим их в Израиль», было приказано отправить их к матерям, которые жили за рубежом и имели на них все юридические права. Это было сделано, добавляет автор – не менее гордый таким строгим соблюдением закона, чем господин Хаузнер, гордящийся своей готовностью осудить убийцу, даже если его жертвы были неевреями, – «несмотря на тот факт, что, отсылая детей к матерям, Верховный суд понимал, что в диаспоре им придется вести неравную борьбу с враждебными элементами».

Но сейчас в аудитории молодежи почти не было, она состояла из евреев, а не израильтян. В ней сидели те, кто выжил, люди средних лет и старики, иммигранты из Европы, подобные мне, которые прекрасно знали все, что надо знать, у которых не было желания зубрить новые уроки и которым, чтобы прийти к собственным выводам, не нужно было никакого процесса. Свидетели шли чередой, и новые ужасы добавлялись к ужасам, услышанным ранее, и они сидели здесь, среди людей, и внимали рассказам, которые вряд ли были бы в силах вынести, сиди они с рассказчиком наедине. И чем полнее раскрывалась панорама «катастрофы, постигшей еврейский народ этого поколения», чем пламеннее звучала риторика господина Хаузнера, тем бледнее и призрачней становилась заключенная в стеклянную будку фигура, и даже крик и жест указующий: «Вот оно, чудовище, это все сотворившее!» – не могли бы вернуть ее к жизни.

Театральный аспект процесса рухнул под тяжестью зверств, от которых волосы встают дыбом. Да, процесс напоминал пьесу, но только в конце и в начале и ролью, которую играл в ней исполнитель, но не жертва. Процесс показательный более, чем процесс обычный, нуждается в четком определении того, что совершено, и того, как это было совершено. В центре процесса может быть только тот, кто все и совершил – именно в этом отношении он подобен герою пьесы, – и если он страдает, то страдать он должен за свои деяния, а не за то, что причинил страдания другим. Никто не понимал этого лучше председателя суда, на чьих глазах процесс начал превращаться в чертово шоу, «в корабль без руля и ветрил». Но если его попытки не допустить этого оканчивались провалом, провал этот, как ни странно, был отчасти результатом ошибок защиты, поскольку адвокат

довольно редко поднимался, чтобы оспорить чье-либо показание, каким бы не относящимся к делу или несущественным оно ни было. *Доктор* Сервациус, как все без исключения к нему обращались, был чуть решительнее, когда дело касалось представленных документов, а самое впечатляющее из его редких выступлений состоялось, когда обвинитель представил в качестве улики дневники Ганса Франка, бывшего генерал-губернатора Польши и одного из главных военных преступников, повешенных в Нюрнберге. «У меня лишь один вопрос. Упоминается ли имя Адольфа Эйхмана, имя ответчика, в каком-либо из этих двадцати девяти томов [на самом деле томов было тридцать восемь]?.. Имя Адольфа Эйхмана ни в одном из этих двадцати девяти томов не упоминается... Спасибо, больше вопросов нет».

Таким образом, процесс так и не превратился в пьесу, однако шоу, которое изначально имел в виду Бен-Гурион, все-таки состоялось, точнее, не шоу, но демонстрация «уроков», которые, как он считал, должны быть преподаны как евреям, так и неевреям, как израильтянам, так и арабам, и всему остальному миру. Из одного и того же шоу разные зрители должны были извлечь разные уроки. Бен-Гурион очертил их еще до начала процесса в серии статей, призванных объяснить, почему Израилю пришлось похитить обвиняемого.

Вот урок для нееврейского мира: «Мы хотим выявить перед всеми народами мира, как произошло, что миллионы взрослых, потому что им случилось быть евреями, и миллион детей, потому что им случилось быть детьми евреев, были убиты нацистами». Или, говоря словами *Davar* – органа партии господина Бен-Гуриона МАПАЙ: «Пусть мировое общественное мнение узнает, что не только немецкие нацисты ответственны

за уничтожение шести миллионов европейских евреев». И далее, снова словами Бен-Гуриона: «Мы хотим, чтобы народы мира узнали... и чтобы они испытали стыд».

Евреям диаспоры следовало напомнить, что иудаизм, «насчитывающий четырехтысячелетнюю историю, с его духовным миром и этическими исканиями, с его мессианскими устремлениями» всегда противостоял «враждебному миру», как унижались евреи, пока не были, словно жертвенные овцы, отправлены на заклание, и почему лишь создание еврейского государства смогло позволить евреям наносить ответные удары, подобно тем, что наносили израильтяне во время войны за независимость, во время Суэцкого кризиса, подобно тем, что приходится им отражать почти ежедневно на своих таких несчастливых границах. И если евреям за пределами Израиля следовало указать на разницу между израильским героизмом и еврейской покорностью, то для тех, кто жил в Израиле, тоже существовал свой урок: «поколению израильтян, выросших после холокоста», грозит утрата связей с еврейским народом и, следовательно, со своей собственной историей. «Необходимо, чтобы наша молодежь помнила о том, что случилось с еврейским народом. Мы хотим, чтобы они узнали о самых трагичных страницах нашей истории».

И в заключение одним из мотивов привлечения Эйхмана к суду было «выявление других нацистов – например, связей между наци и некоторыми арабскими правителями».

Если бы поводом для доставки Адольфа Эйхмана в окружной суд Иерусалима были только перечисленные выше уроки, процесс по многим показателям оказался бы провальным. В некоторых отношениях уроки были излишними, в других – определенно приводили к заблуждениям. Антисемитизм был

дискредитирован – за что спасибо Гитлеру, – возможно, не навсегда, но хотя бы на какое-то время, однако вовсе не потому, что евреи вдруг стали жутко популярными, а потому, что, говоря словами господина Бен-Гуриона, большинство людей «осознано, что в наши дни антисемитизм приводит к газовым камерам и мыловаренным заводам». Равно излишним был и урок, предназначенный для евреев диаспоры, которым, чтобы понять, что они живут во враждебном мире, вовсе не требовалась чудовищная катастрофа, уничтожившая треть их собратьев. Их убежденность в вечной и вездесущей природе антисемитизма была со времен дела Дрейфуса самым мощным идеологическим фактором сионистского движения; но она также послужила причиной иначе ничем не объяснимой готовности немецких еврейских общин на ранних этапах гитлеровского режима вступать в переговоры с нацистами. Эта убежденность породила чреватую самыми опасными последствиями неспособность отличать друзей от недругов; немецкие евреи были не единственными, кто недооценивал своих врагов, потому что они полагали, будто все неевреи одинаковы. Если премьер-министр Бен-Гурион, практически глава еврейского государства, собирался усилить этот фактор «еврейского самосознания», значит, у него были дурные советчики, поскольку изменение такой ментальности и представляет собой на самом деле обязательную предпосылку существования израильской государственности, которая по определению сделала евреев народом среди других народов, нацией среди других наций, государством среди других государств, опирающимся отныне на плюрализм мнений, который препятствует существованию вековой и, к сожалению, религиозно закрепленной дихотомии евреев и неевреев.

Контраст между израильским героизмом и покорностью, с которой евреи шли на смерть – вовремя являлись на сборные пункты, своими ногами шли туда, где их должны были казнить, сами рыли себе могилы, самостоятельно раздевались и складывали снятую одежду аккуратными стопочками, а затем ложились бок о бок, ожидая выстрела, – казался вопросом весьма деликатным, и прокурор, непрестанно терзавший свидетелей – одного за другим, одного за другим, – «Почему вы не протестовали?», «Почему вы сели в этот поезд?», «Пятнадцать тысяч человек охраняли всего сто вооруженных охранников, так почему же вы не восстали и не попытались на них напасть?» – постарался извлечь из него максимальную пользу. Но печальная правда заключается в том, что таким вопросом задаваться вообще не стоило, поскольку и другие люди – вовсе не евреи – вели себя так же.

Шестнадцать лет назад, когда впечатления были еще свежи, бывший узник Бухенвальда Давид Руссе описал то, что, как мы теперь знаем, происходило во всех концлагерях: «Триумф СС требовал, чтобы истерзанная жертва позволяла отвести себя к виселице, не выказывая никакого протеста, чтобы жертва отреклась от себя, забыла о себе, чтобы она утратила свою личность. И делалось это не просто так, не из чистого садизма, эсэсовцам было нужно, чтобы жертва признала свое поражение. Эсэсовцы понимали, что система, которая способна уничтожить жертву еще до того, как она взойдет на эшафот... является лучшей из всех возможных систем, призванной держать в рабстве целый народ. В рабстве. В подчинении. И нет страшнее зрелища, чем эта процессия человеческих существ, покорно, словно марионетки, бредущих к смерти» (*Les Jours de notre mort*, 1947).

Ответа на этот жестокий и бессмысленный вопрос суд не получил, но его может легко отыскать каждый из нас, если позволит своему воображению на несколько минут отвлечься и представить себе голландских евреев, проживавших в старом еврейском квартале Амстердама: в 1941 году они осмелились напасть на отделение гестапо. В отместку немцы арестовали четыреста тридцать евреев и принялись буквально терзать их сначала в Бухенвальде, а потом в расположенном на территории Австрии лагере Маутхаузен. Они пытали их месяцами, несчастные пережили по тысяче смертей, и каждый из них наверняка завидовал своим собратьям в Освенциме и даже в Минске или Риге. На свете существует многое, что страшнее смерти, и эсэсовцы уж постарались, чтобы их узники испытали все вообразимые и невообразимые страдания. И в этом отношении, возможно, даже более значимом, чем все остальные, намеренные попытки сосредоточить процесс исключительно на евреях привели к искажению правды, даже еврейской правды. Вспомним героическое восстание в Варшавском гетто и героизм других – пусть и немногих числом: эти примеры говорят о том, что были люди, отказывавшиеся принять от нацистов «легкую» смерть – расстрелы и газовые камеры. Свидетели, выступавшие на процессе в Иерусалиме, говорили о восстании и сопротивлении, и хотя «подобные события занимают лишь малую часть в истории холокоста», они вновь подтверждают тот факт, что только очень юные были способны «решить, что не твари мы дрожащие».

В одном отношении процесс оправдал возложенные на него господином Бен-Гурионом надежды: он действительно стал важным инструментом в отслеживании других нацистов и

военных преступников, однако вовсе не в арабских странах, которые в открытую предоставляли убежище сотням из них. Связи великого муфтия с нацистами во время войны – это ни для кого не секрет: муфтий надеялся, что гитлеровцы помогут ему в осуществлении чего-то вроде «окончательного решения» по Ближнему Востоку. Поэтому газеты Дамаска и Бейрута, Каира и Иордана не скрывали своего сочувствия к Эйхману или своего сожаления по поводу того, что «он так и не завершил своей работы»; одна из каирских радиостанций в передаче, посвященной началу процесса, даже позволила себе нечто вроде антигерманского высказывания: «Во время последней мировой войны ни один немецкий самолет не пролетел над еврейскими поселениями и не сбросил ни одной бомбы».

Симпатии арабских националистов к нацистам широко известны, причины этих симпатий очевидны, и для того чтобы их отследить, ни Бен-Гурион, ни этот процесс не нужны – они их никогда и не скрывали. Процесс, напротив, как раз продемонстрировал, что слухи о связях Эйхмана с Хаджем Амином эль Хуссейни, бывшим муфтием Иерусалима, не имеют под собой никаких оснований. (Его всего лишь представили муфтию во время официального приема вместе с другими главами отделов.) У муфтия были связи с германским министерством иностранных дел и с Гиммлером, но это давно известный факт.

И если замечание Бен-Гуриона о «связях между нацистами и некоторыми арабскими правителями» оказалось бессмысленным, то его намеренное упоминание в этом контексте современной Западной Германии вызывает удивление. Конечно, приятно слышать, что Израиль «не считает Аденауэра ответственным за Гитлера» и что «для нас порядочный немец,

хотя он и принадлежит к той нации, которая двадцать лет назад уничтожила миллионы евреев, все равно остается порядочным человеком». (А вот о порядочных арабах почему-то ни слова не говорится.)

Федеративная Республика Германия хотя так до сих пор и не признала государство Израиль – предполагается, что из опасения, что тогда арабские страны могут признать Германию Ульбрихта, – за последние десять лет выплатила Израилю в виде репараций семьсот тридцать семь миллионов долларов; эти выплаты скоро должны закончиться, и Израиль ведет с Западной Германией переговоры о предоставлении долгосрочного займа.

Взаимоотношения между двумя странами, и в особенности личные отношения между Бен-Гурионом и Аденауэром, вполне приличные. И уж чего Бен-Гурион не мог предвидеть и на что он никак не мог рассчитывать, так это на то, что после окончания процесса некоторые депутаты кнессета, израильского парламента, смогут наложить ограничения на программу культурного обмена с Западной Германией. Еще более любопытно то, что он не предвидел или предвидел, но ни разу о том не обмолвился, что захват Эйхмана побудил Германию к первой серьезной попытке отдать под суд по крайней мере тех, кто напрямую был замешан в убийствах. Деятельность Центрального агентства расследования нацистских преступлений, пусть и запоздало, но все-таки созданного Западной Германией в 1958 году и возглавляемого прокурором Эрвином Шуле, встречается с целым рядом проблем и трудностей – частично из-за того, что немецкие свидетели отказываются давать показания, частично из-за нежелания местных судов заводить дела на основании

присланных Центральным агентством материалов. Не то чтобы процесс в Иерусалиме предоставил новые важные улики, необходимые для нахождения соратников Эйхмана, но информация о сенсационном захвате Эйхмана и неминуемом процессе произвела достаточное впечатление, чтобы побудить местные суды использовать результаты расследований господина Шуле и преодолеть нежелание немцев сделать что-либо в отношении «убийц среди нас»: теперь здесь прибегают к испытанной временем практике объявления вознаграждения за поимку известных преступников.

Результат оказался потрясающим. Спустя семь месяцев после доставки Эйхмана в Иерусалим – и за четыре месяца до начала процесса – наконец-то был арестован Рихард Баер, сменивший Рудольфа Хёсса на посту коменданта Освенцима. Вскоре после этого были арестованы члены так называемой команды Эйхмана: Франц Новак, теперь он жил в Австрии и работал печатником; доктор Отто Хунше – практикующий адвокат, проживал в Западной Германии; Герман Крумей – ныне скромный аптекарь; Густав Рихтер – бывший «советник по делам евреев» в Румынии; доктор Гюнтер Цопф, занимавший аналогичный пост в Амстердаме. Несмотря на то, что данные об их преступлениях и показания жертв задолго до этого были опубликованы в изданных в Германии книгах и журналах, они не побеспокоились даже о смене имени.

Впервые после окончания войны в немецких газетах публиковались отчеты о судах над нацистскими преступниками, обвиненными в массовых убийствах (после мая 1960 года, когда захватили Эйхмана, рассматривались только дела об убийствах первой степени, по всем остальным преступлениям срок давно-

сти истек, а срок давности по убийствам составляет двадцать лет). Однако нежелание местных судов заниматься этими вопросами выразилось в фантастически мягких приговорах.

Так, например, доктор Отто Брандфис из айнзацгруппы – эсэсовского мобильного подразделения смерти, действовавшего на Востоке, – за убийство пятнадцати тысяч евреев был приговорен к десяти годам исправительных работ; доктор Отто Хунше, юридический советник Эйхмана, лично ответственный за депортацию тысячи двухсот венгерских евреев, из которых шестьсот человек были уничтожены, получил пять лет исправительных работ; Йозеф Лехталер, который ликвидировал евреев в Слуцке и Смолевичах в России, получил три с половиной года.

Были выданы ордера на арест крупных нацистских чинов, многих из которых немецкие суды уже денацифицировали. Одним из них стал генерал СС Карл Вольф, бывший шеф личного штата Гимmlера, который, согласно представленным в 1946 году в Нюрнберге документам, «с особой радостью» встретил сообщение о том, «что вот уже в течение двух недель поезд каждый день доставляет по пять тысяч представителей народа-избранника» из Варшавы в Треблинку, лагерь смерти на Востоке. Арестовали Вильгельма Коппе, который первым применил в Хелмно газовые камеры, а потом сменил в Польше Фридриха Вильгельма Крюгера*. Коппе, один из крупнейших чинов СС, в чью задачу входило сделать Польшу *judenrein* – свободной от евреев, – стал в послевоенной Германии директором шоколадной фабрики.

* Один из руководителей оккупационного режима в Польше, обергруппенфюрер СС, генерал полиции.

Вынесенные всем этим людям приговоры были довольно суровыми, но это было скорее исключением из правил – таким же исключением был, например, приговор Эриху фон дем Бах-Зелевски, бывшему генералу СС. В 1961 году его судили за участие в мятеже Рёма (1933 год) и приговорили к трем с половиной годам, затем, в 1962 году, он снова предстал перед судом в Нюрнберге за участие в убийстве шести сотен немецких коммунистов в 1933 году и был приговорен к пожизненному заключению. Однако ни в одном из приговоров не упоминалось о том, что Бах-Зелевски командовал теми подразделениями СС, которые на Восточном фронте уничтожали партизан, или что он принимал активное участие в убийстве евреев Минска и Могилёва (Белоруссия).

Следовало ли германским судам, под предлогом того, что военные преступления – это не преступления, делать «этнические различия»? Или, может быть, этот необычно суровый для послевоенной Германии приговор был продиктован тем, что Бах-Зелевски был одним из немногих, кто после массовых убийств испытал нервный срыв, попытался спасти евреев от айнзацгрупп и выступал с показаниями на стороне обвинения во время Нюрнбергского процесса? Он был также одним из немногих, кто в 1952 году публично признался в совершении массовых убийств, за которые тогда никакого наказания не понес.

Вряд ли стоит надеяться на то, что теперь положение дел изменится – хотя администрация Аденауэра и вынуждена была вычистить из судебной системы более ста сорока судей и прокуроров, а также многих полицейских чинов, поскольку прошлое их оказалось изрядно запятанным; пришлось уволить даже главного прокурора Верховного федерального суда

Вольфганга Иммервара Франкеля, который, несмотря на свое имя*, был менее чем правдив в отношении собственного нацистского прошлого. Подсчитано, что из одиннадцати с половиной тысяч судей Бундесреспублики пять тысяч носили судейскую мантию и при гитлеровском режиме.

В ноябре 1962 года, вскоре после чистки юридического аппарата и через полгода после того, как имя Эйхмана исчезло из газетных новостей, во Фленсбурге, в почти пустом зале суда, состоялся долгожданный процесс по делу Мартина Фелленца. Этот прежде высокий чин СС и полиции был видным деятелем Свободной демократической партии в Германии Аденауэра; арестовали его в июне 1960-го, через несколько недель после захвата Эйхмана. Его обвиняли в непосредственном участии и частичной ответственности за уничтожение сорока тысяч польских евреев. Процесс длился шесть недель, и прокурор потребовал максимального наказания – пожизненной каторги. А суд приговорил Фелленца к четырем годам, два с половиной из которых он уже отбыл в тюрьме в ожидании процесса.

Но как бы там ни было, сомневаться в том, что суд над Эйхманом имел в Германии далеко идущие последствия, не приходится. Отношение немецкого народа к собственному прошлому, которое в течение полутора десятилетий ставило в тупик экспертов, теперь было продемонстрировано со всей очевидностью: сам народ оно не очень-то заботит, народ не имеет ничего против присутствия в стране убийц, поскольку все эти убийцы совершали преступления не по своей собственной воле; однако,

* *Immerwahr* можно перевести с немецкого как «всегда говорящий правду».

если мнение всего остального мира – или, как говорят сами немцы, *das Ausland*, собирая под одним определением все зарубежные страны, – упрямо требует, чтобы эти люди были наказаны, что ж, требование будет неукоснительно выполнено, по крайней мере в отношении тех, на кого это мнение указывает напрямую.

Канцлер Аденауэр предвидел проблемы и высказал свои опасения по поводу того, что процесс «всколыхнет старые страхи» и даст толчок новой волне антигерманских настроений, и в этом отношении он оказался прав. Все десять месяцев, в течение которых в Израиле готовились к процессу, в Германии готовились к его вполне предсказуемым результатам, демонстрируя беспрецедентное рвение в розыске и наказании живущих в стране нацистских преступников – таким образом здесь выстраивали линию обороны против всего остального мира. Но ни разу никто из немецких официальных лиц, а также общественное мнение Германии не потребовали экстрадиции Эйхмана – а ведь такой шаг казался очевидным, поскольку каждое суверенное государство ревностно соблюдает право на суд над своими собственными преступниками.

Официальная позиция правительства Аденауэра гласила, что это невозможно, поскольку между Израилем и Германией не существует договора об экстрадиции, однако вряд ли ее можно было бы считать надежной: это означало только то, что Израиль нельзя принудить к экстрадиции. Генеральный прокурор земли Гессен Фриц Бауэр заметил эту юридическую лазейку и обратился к федеральному правительству в Бонне с предложением начать процесс экстрадиции. Но господином Бауэром двигали чувства, присущие немецким евреям, и германское общест-

венное мнение их отнюдь не разделяло; его обращение было не просто отвергнуто Бонном – оно прошло незамеченным, его никто не обсуждал. Еще одним аргументом против экстрадиции, выдвинутом приехавшими в Иерусалим западногерманскими наблюдателями, была отмена в Германии смертной казни – следовательно, Эйхману не мог быть вынесен приговор, которого он заслуживал. Ввиду мягкости, которую продемонстрировали немецкие суды в отношении нацистских убийц, этот аргумент не кажется таким уж несущественным. Несомненно, основная политическая проблема, которую представлял для Германии процесс Эйхмана, заключалась в том, что по германским законам местный суд не мог вынести ему смертного приговора.

Однако в этом вопросе есть еще одна куда более деликатная и политически важная сторона. Одно дело выкуривать преступников и убийц из их нор, и совсем другое – видеть, что они отнюдь не собираются прятаться, видеть, что те, кто процветал при гитлеровском режиме, занимают важные государственные и общественные посты. По правде говоря, если бы администрация Аденауэра была слишком чувствительной к тем, чье прошлое запятнано сотрудничеством с нацистами, этой администрации попросту бы не существовало. Ибо действительность прямо противоречит заверениям доктора Аденауэра в том, что лишь «относительно малый процент немцев» числился среди членов нацистской партии и что «большинство населения по мере возможности старалось помочь своим согражданам-евреям».

Одна немецкая газета, *Frankfurter Rundschau*, задалась очевидным и давно назревшим вопросом: а почему столь многие, прекрасно

знавшие о прошлом, например, генерального прокурора, все равно хранили молчание? И сама же дала на этот вопрос очевидный ответ: «Потому что они сами чувствовали себя преступниками».

Логика процесса над Эйхманом в том виде, в каком представлял его себе Бен-Гурион – упор на обобщающие понятия в ущерб юридической скрупулезности, – потребовала бы разоблачения участия всех немецких общественных и властных институтов в «окончательном решении»: всех госслужащих из всех министерств, всех регулярных армейских сил с их Генеральным штабом, всей юридической системы, всего делового мира. Но обвинение было построено господином Хаузнером таким образом, что все показания длинной череды свидетелей, какими бы ужасными и правдивыми они ни были, не имели или почти не имели никакого отношения к конкретным поступкам конкретного обвиняемого; обвинение тщательно избегало самого взрывоопасного вопроса – вопроса о почти поголовном соучастии в преступлении всего народа, а не только тех его представителей, которые были членами нацистской партии.

Перед началом процесса ходили слухи о том, что Эйхман в числе своих соучастников назвал сотни известных и занимающих высокие посты граждан Западной Германии, однако эти слухи были ложными. В своей вступительной речи господин Хаузнер заявил, что «пособниками преступления были не гангстеры и не представители криминального мира», и пообещал «назвать имена врачей и юристов, ученых, банкиров, экономистов – всех тех, чьи советы и рекомендации способствовали уничтожению евреев». Это обещание не было выполнено, да оно и не могло

быть выполнено – в том виде, в каком было сделано. Ибо не было никаких «советов и рекомендаций», и никакие «облаченные в мантии почтенные академики» никогда не приходили к решению об уничтожении евреев – они всего лишь совместными усилиями планировали шаги, необходимые для выполнения данного Гитлером приказа.

Впрочем, одно такое имя все-таки в суде прозвучало – имя доктора Ганса Глобке, одного из ближайших советников Аденауэра, который более чем двадцать пять лет назад участвовал в составлении печально известного комментария к Нюрнбергским законам. Это он несколько позднее высказал блистательную идею о том, что всем немецким евреям надо в обязательном порядке присвоить среднее имя «Израиль» или «Сара». Да и то имя господина Глобке – всего лишь имя – прозвучало во время слушаний в окружном суде из уст защиты в надежде, что это побудит правительство Аденауэра начать процесс экстрадиции Эйхмана. Во всяком случае бывший *Ministerialrat** из министерства внутренних дел, он же – нынешний *Staatssekretar*** канцлерства Аденауэра, сыграл в страданиях евреев при нацистском режиме куда большую роль, нежели бывший муфтий Иерусалима.

Но в центре процесса, как считало обвинение, стояла сама история. «На скамье подсудимых в этом историческом процессе находится не конкретный человек, и даже не нацист-

* *Ministerialrat* (нем.) – советник министерства.

** *Staatssekretar* (нем.) – статс-секретарь.

ский режим, но исторический антисемитизм». Таким был тон, заданный Бен-Гурионом, и господин Хаузнер ревностно ему следовал, начав свое вступительное обращение (оно продолжалось в течение трех заседаний) со времен египетских фараонов и декрета Амана «убить, погубить и истребить всех Иудеев». После чего он процитировал Иезекииля: «И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе: «В кровях твоих живи!»*», пояснив, что эти слова следует трактовать как «императив, перед которым стояла эта нация с самого первого своего появления на сцене истории». Это была не та история и дешевая риторика; что еще хуже, такая риторика, как бы предполагая, что Эйхман был лишь невинным исполнителем некоего таинственного предопределения, или, в данном контексте, – антисемитизма, который, получается, был просто необходим, чтобы осветить «залитую кровью дорогу, по которой бредет этот народ» к своему предназначению, противоречит всему, ради чего Эйхман предстал перед судом.

Через несколько заседаний, когда профессор из Колумбийского университета Сэйло У. Бэрн давал показания касательно недавней истории восточноевропейского еврейства, доктор Сервациус, более не в силах противиться искушению, все же спросил: «Так почему все эти несчастья выпали на долю еврейского народа?», а также: «Не думаете ли вы, что в основе судьбы этого народа лежат некие иррациональные мотивы, недоступные человеческому пониманию?» И нет ли во всем этом чего-то вроде «духа истории, который движет историю впе-

* Библия. Книга пророка Иезекииля. Гл. 16. Стих 6.

ред... без влияния и участия человека?» И не является ли господин Хаузнер последователем «школы законов истории» – тут мы видим намек на Гегеля, – и не продемонстрировал ли он нам, что «лидеры не всегда достигают целей, которых они намеревались достичь?.. Поскольку здесь мы видим цель – уничтожение еврейского народа, которая не была достигнута, а вместо этого появилось новое процветающее государство».

Этот аргумент защиты продемонстрировал опасную близость к новейшим антисемитским измышлениям о «мудрецах Сиона», несколькими неделями ранее на полном серьезе высказанными заместителем министра иностранных дел Египта Хусейном Зульфикаром Сабри на заседаниях Египетской национальной ассамблеи: Гитлер-де не виновен в уничтожении евреев, он сам стал жертвой сионистского заговора, «подтолкнувшего его к совершению преступлений, которые только помогли евреям достичь своей цели – создания государства Израиль». Высказывания доктора Сервациуса отличаются лишь тем, что на место «мудрецов Сиона» он поставил историю – но к подобным высказываниям его побудила прокурорская трактовка философии истории.

Вопреки намерениям Бен-Гуриона и всем усилиям прокурора на скамье подсудимых все-таки оставался человек из плоти и крови, и если Бен-Гуриона «не заботило, какой приговор будет вынесен Эйхману», единственной задачей суда в Иерусалиме был все-таки приговор.

ГЛАВА II

ОБВИНЯЕМЫЙ

Отто Адольфа, сына Карла Адольфа Эйхмана и Марии, в детстве Шефферлинг, схваченного в пригороде Буэнос-Айреса вечером 11 мая 1960 года, спустя девять дней доставленного в Израиль и представшего перед окружным судом города Иерусалима 11 апреля 1961 года, обвиняли по пятнадцати пунктам: «помимо всего прочего» он совершил преступления против еврейского народа, против всего человечества, ряд военных преступлений во время правления нацистского режима, и особенно во время Второй мировой войны. Судили его на основании Закона о нацистах и их пособниках от 1950 года, и согласно этому закону «совершивший одно из этих... преступлений... подлежит смертной казни». И на каждый из предъявленных ему пунктов Эйхман отвечал: «Не виновен по существу обвинения».

А по существу чего он считал себя виновным? Во время долгих перекрестных допросов обвиняемого – как он сам говорил, «самых длительных допросов в истории», – этого, каза-

лось бы, очевидного вопроса ему не задал никто – ни защитник, ни прокурор, ни один из трех судей.

Защитник Роберт Сервациус – его нанял Эйхман, но за услуги платило израильское правительство (следуя прецеденту, установленному Нюрнбергским процессом, когда защитников оплачивал сам трибунал победителей), так ответил на вопрос, заданный на пресс-конференции: «Эйхман считает себя виновным перед Господом Богом, но не перед законом», однако сам обвиняемый такого мнения ничем не подтвердил. Защитник – и это очевидно – предпочел бы, чтобы его клиент заявил о собственной невиновности на том основании, что согласно существовавшим при нацизме законам он не совершил ничего противозаконного, что его обвиняют не за преступления, а за «принятые в государстве законы», не подлежащие юрисдикции другого государства (*par in parem imperium non habet**), что его долгом было подчиняться этим законам и что, говоря словами Сервациуса, он совершил действия, «за которые, в случае победы, награждают, а в случае поражения – отправляют на виселицу». За пределами Израиля (на встрече в Католической академии Баварии, посвященной, как было сказано в *Rheinischer Merkur*, «щекотливому вопросу о возможностях и пределах рассмотрения исторической вины во время уголовных процессов») Сервациус пошел даже дальше и заявил, что «единственной законной проблемой при рассмотрении дела Эйхмана была юридическая оценка действий похитивших его израильтян, которая

* Точнее, это латинское положение звучит так: *par in parem non habet imperium* – «равный над равным права не имеет».

так до сих пор и не была сделана» – утверждение, вряд ли согласующееся с его широко цитируемыми высказываниями, сделанными в самом Израиле, когда он называл процесс «великим духовным достижением», сравнимым с Нюрнбергским процессом.

Подход самого Эйхмана был совсем иным. Прежде всего, он не был согласен с обвинением в убийстве: «Я не убивал евреев. Я не убил ни одного еврея и ни одного нееврея – я не убил ни одного человеческого существа. Я не отдавал приказа убить ни еврея, ни нееврея; я просто этого не делал». Или, как он уточнил позже: «Так уж произошло... что мне ни разу не пришлось этого делать» – ибо сомнений в том, что, доведись ему получить приказ убить собственного отца, он бы этот приказ выполнил, не оставалось. Как он неоднократно повторял (в частности в так называемых документах Сассена – в интервью, данном в 1955 году в Аргентине голландскому журналисту Сассену, также скрывавшемуся от правосудия бывшему эсэсовцу, – опубликованных уже после захвата Эйхмана американским журналом *Life* и немецким *Der Stern*), его можно было бы обвинять только в «пособничестве и подстрекательстве» к уничтожению евреев, которое он уже в Иерусалиме объявил «одним из величайших преступлений в истории человечества». Защита эту теорию Эйхмана во внимание не приняла, а обвинение потратило слишком много времени на безуспешные попытки доказать, что Эйхман хотя бы однажды убил еврея собственными руками (имелся в виду еврейский мальчик в Венгрии), и затратило еще больше времени – правда, с большим успехом – на замечание, которое Франц Радемахер, эксперт по евреям в германском министерстве иностранных дел, нацарапал на доку-

менте, касавшемся Югославии, – запись эта была сделана во время телефонного разговора, она гласила: «Эйхман предлагает расстрелы». Эта запись оказалась единственным «приказом об убийстве» – если он вообще был таковым, – по поводу которого имелся хоть какой-то намек на доказательства.

Улика была весьма сомнительной, хотя в данном случае судьи встали на сторону обвинения и не приняли во внимание категорические опровержения Эйхмана: его аргументы были крайне слабыми, поскольку он забыл об одном «кратком и не таком уж серьезном инциденте», как описал его доктор Сервацис, – под «инцидентом» подразумевались восемь тысяч человек.

Инцидент произошел осенью 1941 года, через полгода после немецкой оккупации сербской части Югославии. Здесь началась партизанская война, немало потрепавшая нервы немецкой армии, и военные изобрели решение двух проблем одним ударом: за каждого убитого немецкого солдата расстреливать сто евреев и цыган. Кстати, ни евреев ни цыган среди партизан не было, но, как выразился ответственный гражданский чиновник военного ведомства, некий государственный советник Харальд Турнер, «[во всяком случае] мы уже держали евреев в лагерях, они все равно были сербскими гражданами, и их все равно следовало уничтожить» (цитирую по книге Рауля Хилберга «Уничтожение европейских евреев», 1961 год).

Лагеря организовывал военный губернатор региона генерал Франц Бёме, и в них содержались только евреи мужского пола. Ни генерал Бёме, ни госсоветник Турнер нисколько не нуждались в одобрении Эйхманом расстрелов тысяч евреев и цыган.

Проблемы начались, когда Бёме, без консультаций с соответствующими полицейскими и эсэсовскими властями, ре-

шил «депортировать» всех своих евреев – видимо, дабы продемонстрировать: чтобы сделать Сербию *judenrein* – «свободной от евреев», – ни в каких иных силах, подчиняющихся другому командованию, необходимости нет. Об этом – поскольку вопрос касался депортации – доложили Эйхману, и он операции не одобрил, поскольку она помешала бы общему плану; и это не Эйхман, а Мартин Лютер из министерства иностранных дел напомнил генералу Бёме, что «на других территориях [имелась в виду Россия] другие военные командиры побеспокоились о куда большем количестве евреев, даже об этом не упоминая».

Во всяком случае, если Эйхман действительно «предложил расстрелы», то он только сказал военным, что вопрос с заложниками находится целиком в их компетенции, так что они могут продолжать начатое. То есть, если речь идет о мужчинах, то это целиком в армейской компетенции.

Непосредственное воплощение «окончательного решения» стартовало в Сербии почти шесть месяцев спустя, когда в передвижные газовые камеры начали отправлять женщин и детей. Во время перекрестного допроса Эйхман, как обычно, выбрал наиболее запутанное и наименее правдоподобное объяснение: Радемахер-де ради утверждения своего положения в министерстве иностранных дел нуждался в поддержке головного управления безопасности рейха, к которому принадлежал сам Эйхман, и потому подделал документ.

Сам Радемахер во время состоявшегося в Западной Германии в 1952 году суда объяснил эту историю куда убедительнее: «За порядок в Сербии отвечала армия, и она вынуждена была расстреливать взбунтовавшихся евреев». Это звучавшее более резонно

объяснение все равно было враньем: как мы – из самих нацистских источников – знаем, евреи не «бунтовали».

И если довольно трудно интерпретировать прозвучавшую в телефонном разговоре фразу как приказ, еще труднее поверить, что Эйхман был вправе отдавать приказы армейским генералам.

Мог ли Эйхман быть признан виновным, если бы его обвиняли в пособничестве убийству? Возможно, но в таком случае это создавало бы важный прецедент. То, что он совершил, было признано преступлением, так сказать, в ретроспективе, сам же по себе он всегда был законопослушным гражданином, поскольку приказы Гитлера, которые он исполнял с присущим ему рвением, имели в Третьем рейхе силу закона.

В поддержку этого тезиса Эйхмана защита могла бы процитировать свидетельство одного из самых известных экспертов в области конституционного права Третьего рейха Теодора Маунца, ныне министра культуры и образования Баварии, который в 1943 году в *Gestalt und Recht der Polizei* утверждал: «Приказ фюрера... является абсолютной основой существующего законного уложения».

Те, кто сегодня говорит Эйхману, что он мог бы поступать иначе, просто не знают или забыли о том, как обстояли дела. Он не желал быть одним из тех, кто сейчас делает вид, будто «всегда был против», при этом ревностно выполняя все, что им было велено. Однако времена изменились, и он, подобно

О Б В И Н Я Е М Ы Й

профессору Маунцу, «обрел иное видение». Что сделано – того не воротишь, и он отнюдь не намеревался этого отрицать; более того, он сам предложил «повеситься публично в назидание всем живущим на земле антисемитам». Но этим он отнюдь не намеревался сказать, что он о чем-то сожалеет: «Раскаяние – удел малолетних детей». (*Sic!*)

Эйхман не изменил своей позиции даже после настоятельных уговоров адвоката. Во время дискуссии по поводу сделанного Гиммлером в 1944 году предложения обменять миллион евреев на десять тысяч грузовиков и его роли в этом прожекте Эйхмана спросили: «Обвиняемый, в переговорах с вашим руководством выражали ли вы сочувствие к евреям и говорили ли, что существует возможность им помочь?» И он ответил: «Я поклялся и должен говорить правду. Я предложил этот обмен отнюдь не из жалости», – это примечательно, хотя «предложил» обмен отнюдь не Эйхман. И – теперь уже полностью придерживаясь истины – продолжил: «Я уже объяснил причины всего этого сегодня утром». Объяснение было следующим: Гиммлер послал своего представителя в Будапешт с поручением разобраться с еврейской эмиграцией. (Которая, так уж тогда получилось, стала выгодным бизнесом: венгерские евреи за огромные деньги могли покупать себе спасение. Эйхман, однако, об этом не упомянул.) Но тот факт, что «вопросы эмиграции были поручены человеку, который не принадлежал к силам полиции», весьма его возмутил, «потому что я должен был осуществлять депортацию и решать вопросы эмиграции, в чем я считал себя экспертом... Однако это было передано в ведение нового, постороннего человека... меня это разозлило... Я подумал, что должен сделать что-то, чтобы снова взять вопросы эмиграции в свои руки».

В течение всего процесса Эйхман, по большей части безуспешно, старался прояснить этот второй пункт своего заявления о «невиновности по сути предъявленных обвинений». В обвинении говорилось не только о преднамеренности его действий, чего он и не отрицал, но также о низменных мотивах и о полном понимании преступной сущности деяний. Что касается низменных мотивов, то он был полностью уверен в том, что не является *innereer schwainenhund*, то есть грязным ублюдком по натуре; что же касается совести, то он прекрасно помнил, что он поступал бы вопреки своей совести как раз в тех случаях, если бы не выполнял того, что ему было приказано выполнять – с максимальным усердием отправлять миллионы мужчин, женщин и детей на смерть.

И вот этот пункт его заявления как раз труднее всего поддавался простому человеческому пониманию. Полдюжины психиатров признали его «нормальным». «Во всяком случае, куда более нормальным, чем был я после того, как с ним побеседовал!» – воскликнул один из них, а другой нашел, что его психологический склад в целом, его отношение к жене и детям, матери и отцу, братьям, сестрам, друзьям «не просто нормально: хорошо бы все так к ним относились»; в довершение всего священник, который регулярно навещал Эйхмана в тюрьме после того как Верховный суд завершил слушание его апелляции, назвал Эйхмана «человеком с весьма положительными взглядами». Вся эта комедия с экспертами-душеведами потребовалась для доказательства неоспоримого факта: это не случай моральной и уж тем более юридической неадекватности.

Недавние откровения мистера Хаузнера в *Saturday Evening Post* о том, что «он не мог упоминать во время процесса», противо-

О Б В И Н Я Е М Ы Й

речат той – правда, неофициальной – информации, которая была распространена в Иерусалиме. Эйхман, как в ней говорилось, был признан психиатрами «человеком, одержимым опасной и неуправляемой тягой к убийству», «извращенным садистом». В таком случае его следовало отправить в психиатрическую лечебницу.

Что ужаснее всего, он совершенно очевидно не испытывал безумной ненависти к евреям, как не был и фанатичным антисемитом или приверженцем какой-то доктрины. Он «лично» никогда ничего против евреев не имел; напротив, у него имелась масса «личных причин» не быть евреененавистником. Чтобы подчеркнуть это, он даже сказал, что вот «некоторые из моих друзей действительно были антисемитами» – вроде Ласло Эндре, статс-секретаря по политическим (еврейским) вопросам министерства внутренних дел в Венгрии, которого повесили в Будапеште в 1946 году.

Увы, ему никто не поверил. Обвинитель не поверил, поскольку такая у него работа – не верить. Адвокат не обратил на эти заявления никакого внимания, потому что он в отличие от самого Эйхмана вопросами совести несколько озабочен не был. Судьи не поверили потому, что, будучи людьми порядочными и, возможно, слишком даже совестливыми для своей профессии, не могли и представить, что обыкновенный, «нормальный» человек – не слабоумный, не циничный и не жертва пропаганды – оказался абсолютно неспособным отличать добро от зла. Из-за того что Эйхман все-таки временами лгал, они предпочли видеть в нем лжеца – и потому упустили из виду самую главную в моральном и даже юридическом плане проблему всего дела.

Эйхман родился 19 марта 1906 года в Золингене, городе Рейнской области, знаменитом ножами, ножницами и хирургическими инструментами. Пятьдесят четыре года спустя, предаваясь своему любимому времяпрепровождению – написанию мемуаров, он так подавал это памятное событие: «Сегодня, через пятнадцать лет и один день после 8 мая 1945 года, я устремился мыслью к 19 мая года 1906-го, когда в пять часов утра явился я в жизнь существом человеческим». В соответствии с его религиозными взглядами, которые со времен нацизма изменений не претерпели (на процессе в Иерусалиме он объявил себя *GottlKubiger* – нацистское определение тех, кто порвал с христианством, – из-за чего отказался приносить присягу на Библии), этому событию приписывался «высший смысл», нечто идентичное «движению вселенной», которой подчиняется всякое человеческое существование, само по себе лишенное «высшего смысла».

Подобная терминология выбрана неспроста. Определение Бога как *Höheren Sinnesträger* лингвистически означает, что ему дается определенное место в военной иерархии, поскольку нацисты, указывая – подобно древним «носителям дурных вестей» – на груз ответственности и соответствующую значимость тех, кто должен был выполнять приказы, превратили армию из «адресата приказов», *Befehlsempfänger*, в «носителя приказов», *Befehlsträger*. Более того, Эйхман, как и все, кто был связан с «окончательным решением», официально считался «носителем тайны», *Geheimnisträger*, что само по себе имеет значение, которое нельзя недооценивать.

Далее Эйхман, не очень-то интересующийся метафизикой, хранит примечательное молчание по поводу иных интимных отношений между носителем смысла и носителем приказов, а в качестве возможной причины своего существования называет родителей: «Вряд ли они так радовались бы рождению своего первенца, если бы были способны узреть в тот миг, что Норна* печали, а не Норна удачи уже начала вплетать нити горя в мою жизнь. Но непроницаемая и потому благая завеса не позволяла моим родителям увидеть будущее».

Неприятности не заставили себя ждать: они начались уже в школе. У отца Эйхмана, прежде бухгалтера Электрической трамвайной компании в Золингене, а после 1913 года – служащего той же компании, но уже в Линце, в Австрии, было пятеро детей – четверо сыновей и дочь, но из них только Адольф, старший, оказался неспособным окончить школу: он не окончил даже профессионально-технического училища, в которое его запихнул отец. И всю свою жизнь Эйхман обманывал окружающих, указывая в качестве причины своих ранних «несчастий» банкротство отца – и верно, причина куда более благородная, нежели примитивная неуспеваемость.

Однако в Израиле, во время предварительных допросов, которые вел следователь полиции капитан Авнер Лесс – он провел в разговорах с Эйхманом 35 дней, результатом этих допросов стали 76 бобин магнитофонной пленки и 3546 машино-

* Богиня судьбы в скандинавской мифологии.

писных страниц их расшифровки, – Эйхман просто бурлил энтузиазмом «рассказать обо всем, что я знаю, совершенно откровенно...», он видел в этом уникальную возможность, с одной стороны, выложить все, что было у него на душе, с другой – заслужить звание самого сотрудничающего со следствием обвиняемого на свете.

Его энтузиазм несколько поутих – но все-таки не исчез полностью, – когда пришлось отвечать на конкретные вопросы, связанные с неопровержимыми документальными свидетельствами.

Лучшим доказательством его изначальной безграничной откровенности – не произведшим никакого впечатления на капитана Лесса – был тот факт, что он впервые в жизни признался в своих ранних неудачах, прекрасно понимая, что эти откровения противоречат записям в его официальных нацистских бумагах и анкетах.

Впрочем, несчастья оказались вполне банальными: поскольку он был «не самым трудолюбивым» школяром – или, как кое-кто мог бы добавить, и не самым одаренным, – отец сам забрал его сначала из школы, а затем и из Училища электротехники, машиностроения и строительства. Таким образом, профессия, которая была указана во всех его документах – «инженер-строитель», – не имела никакого отношения к действительности, как и его рассказы, что он-де родился в Палестине и бегло говорит на иврите и идише – это еще одна наглая ложь, которой Эйхман потчевал как своих собратьев по СС, так и жертв-евреев. Ложь и то, что, как он всегда утверждал, членство в национал-социалистической партии стоило ему работы

О Б В И Н Я Е М Ы Й

разъездного представителя австрийского отделения компании «Вакуум ойл»*.

Версия, которую он изложил капитану Лессу, была куда менее драматичной – хотя, возможно, также не до конца правдивой: его уволили из-за экономического спада, поскольку он тогда был не женат, а в первую очередь под сокращения попадали холостые работники.

Объяснение кажется удобоваримым только на первый взгляд, поскольку он потерял работу весной 1933 года, когда уже был в течение двух лет помолвлен с Вероникой, или Верой Либль, на которой впоследствии и женился. Почему же он не женился на ней раньше, когда у него еще была хорошая работа? Брак был заключен только в марте 1935 года – возможно потому, что в СС, как и в нефтеперерабатывающей компании, к холостякам относились предвзято: они были первыми кандидатами на увольнение и последними – на повышение.

Во всяком случае, из всего этого становится понятно, что одним из его главных грехов было бахвальство.

Пока юный Эйхман с трудом переходил из класса в класс, его отец оставил работу в Электрической трамвайной компании и начал свое дело. Он купил маленькую шахту и заставил своего бестолкового отпрыска трудиться на добыче горючих сланцев, но потом нашел ему работу в отделе продаж Верх-

* Американская компания, занимавшаяся поставками горючих и смазочных материалов.

неавстрийской электрической компании, где Эйхман застрял на два года. Ему уже исполнилось двадцать два, и никакие карьерные перспективы ему не светили; единственное умение, которое он за это время постиг, – умение продавать.

И после этого произошло то, что он сам называет своим первым прорывом – опять же на этот счет существуют две различные версии.

В собственноручно составленной биографии, которую он представил в СС в 1939 году с целью получить повышение по службе, этот прорыв описан следующим образом: «С 1925 по 1927 г. включительно я работал агентом по продажам в Верхнеавстрийской электрической компании. Ушел по собственному желанию, поскольку венское отделение компании «Вакуум ойл» предложило мне стать представителем в Верхней Австрии».

Ключевым словом здесь является «предложило»: как он поведал капитану Лессу в Израиле, никто ему ничего не предлагал. Родная мать Эйхмана умерла, когда ему было десять лет, и отец женился снова. И кузен мачехи (Эйхман называл его дядей) – президент австрийского автомобильного клуба, женатый на дочери еврейского коммерсанта из Чехословакии, – использовал свое знакомство с генеральным директором «Вакуум ойл», евреем по имени господин Вайсс, чтобы пристроить своего неудачливого родича на должность коммивояжера. Эйхман умел быть благодарным: наличие в собственной семье евреев было среди тех самых «личных причин», по которым он не испытывал к евреям ненависти. Как он вспоминал, даже в 1943–1944 годах, когда «окончательное решение» было в полном разгаре, «дочь от этого брака, по Нюрнбергским законам

О Б В И Н Я Е М Ы Й

считавшаяся наполовину еврейкой... обратилась ко мне с просьбой о разрешении на ее эмиграцию в Швейцарию. Естественно, я удовлетворил ее прошение, а тот самый дядя также попросил меня вмешаться в судьбу одной еврейской венской четы. Я упоминаю об этом лишь затем, чтобы продемонстрировать, что я не испытывал никакой ненависти к евреям, поскольку мать и отец воспитывали меня в традициях христианства; а взгляды моей матери, из-за того что у нее были еврейские родственники, коренным образом отличались от тех, которые были приняты в кругах СС».

Чтобы доказать это, он пошел еще дальше: он-де никогда не испытывал дурных чувств по отношению к своим жертвам, и даже больше – этих своих взглядов не скрывал. «Я объяснял это и доктору Лёвенгерцу [главе юденрата Вены], и доктору Кастнеру [вице-президенту сионистской организации Будапешта]; как мне кажется, я говорил об этом всем, об этом знали все мои подчиненные – рано или поздно я непременно об этом упоминал. В начальной школе, в Линце, у меня был друг-одноклассник – он приходил ко мне играть – из семьи Шебба. Наша последняя встреча произошла в том же Линце, мы вместе проšli по улицам – а я ведь уже был членом NSDAP [партии нацистов] и носил в петлице ее значок; он видел это, но ничего мне об этом не сказал».

То ли Эйхман был не слишком аккуратен в своем рассказе, то ли предварительный допрос (а полиция воздерживалась от проведения перекрестного допроса, видимо, чтобы его не спугнуть и добиться максимального сотрудничества) был не слишком пристрастным, но его «непредубежденность» могла быть продемонстрирована и другим способом.

Судя по всему, в Вене, где он добился таких выдающихся успехов в деле «принудительной эмиграции евреев», у него была любовница-еврейка – он знал ее и был влюблен в нее еще в Линце. *Rassenschande*, интимные отношения с еврейкой, были, пожалуй, самым страшным преступлением для членов СС, и хотя во время войны изнасилование евреек было самым распространенным на фронте развлечением, настоящая любовная связь с еврейкой – это было для высокого чина СС большой редкостью. Следовательно, неоднократные гневные выступления Эйхмана в адрес Юлиуса Штрейхера, полоумного и пошло-го издателя газеты *Der Stürmer* («Штурмовик»), и его порнографического антисемитизма были, возможно, продиктованы и личными мотивами, в этом также выразилось традиционное презрение «просвещенного» эсэсовца к низменным страстям мелких партийных сошек.

Пять с половиной лет, проведенных в «Вакуум ойл», были, наверное, самыми счастливыми в жизни Эйхмана. Во времена жестокой безработицы он довольно прилично зарабатывал, жил с родителями – разъезжая при этом по командировкам. День, когда эта идиллия подошла к концу – Троицын день 1933 года, – он запомнил навсегда. Вообще-то поворот к худшему наметился еще раньше. В конце 1932 года его, вопреки желанию, вдруг переводят из Линца в Зальцбург: «Я потерял всякое удовольствие от работы, мне больше не нравилось продавать, не нравилось звонить и предлагать товар».

Такими внезапными потерями *Arbeitsfreude* (трудового энтузиазма) Эйхман страдал всю жизнь. Самая болезненная случилась, когда ему передали приказ фюрера о «физическом уничтожении евреев», в котором он должен был сыграть такую

О Б В И Н Я Е М Ы Й

важную роль. Это также произошло неожиданно; сам он «никогда не думал... о решении путем насилия», он описал свою реакцию следующим образом: «Я утратил все, всю радость от работы, всю инициативу, весь интерес; из меня, образно говоря, словно воздух выпустили».

В 1932 году в Зальцбурге он также чувствовал, будто из него «выпустили воздух», и, судя по его собственным высказываниям, даже не удивился, когда ему сообщили об увольнении, так что верить, будто он «даже обрадовался» увольнению, вряд ли стоит.

Но какими бы ни были причины, 1932 год стал в его жизни поворотным. В апреле того года он вступил в национал-социалистическую партию и в СС – по предложению молодого юриста из Линца Эрнста Кальтенбруннера. Позже Кальтенбруннер стал шефом главного управления имперской безопасности (*Reichssicherheitshauptamt*, или РСХА, как я буду именовать его далее); в одном из его шести главных департаментов – в IV департаменте, которым командовал Генрих Мюллер, – Эйхман со временем и дослужился до начальника отдела В-4.

Во время суда Эйхман производил впечатление типичного представителя низшего среднего класса, впечатление, еще более подкреплявшееся каждым произнесенным или написанным им в тюрьме словом. Однако это не так: он был скорее деклассированным отпрыском солидной буржуазной семьи. Показателем его скольжения вниз по социальной лестнице был тот факт, что хотя его отец дружил со старшим Кальтенбруннером, который также был адвокатом в Линце, отношения между сыновьями были более чем прохладными: Кальтенбруннер-младший явно относился к Эйхману свысока. Эйхман доказал

свою общественную активность вступлением в партию и СС, и 8 мая 1945 года, официальная дата победы над Германией, имело для него значение главным образом потому, что с этого момента он переставал быть членом какой бы то ни было организации. «Я чувствовал, что мне предстоит трудная жизнь, жизнь индивидуума, у которого нет вождя, мне больше не от кого будет получать указания, больше мне не будут отдаваться приказы и команды, и больше не будет четких предписаний, с которыми я мог бы сверяться, – короче, передо мной лежала совершенно неизвестная и непонятная мне жизнь».

В детстве родители, люди совершенно далекие от политики, записали его в Общество христианской молодежи, из которого он затем вступил в немецкое молодежное движение *Wandervogel**. Во времена безуспешной борьбы за среднее образование он вступил в *Jungfrontkämpferverband*, молодежное отделение Германско-австрийского объединения фронтовиков, к которому австрийское правительство, вопреки его яростной прогерманской и монархической ориентации, относилось довольно терпимо.

Когда Кальтенбруннер предложил ему присоединиться к СС, он уже был на пороге вступления в совершенно иную организацию, «масонскую ложу Шлараффия» – «ассоциацию бизнесменов, врачей, актеров, гражданских служащих и т. д., которые собираются ради содействия радости и веселью... Каждый член время от времени выступает с лекциями, основным содержанием которых должен быть юмор, утонченный юмор». Каль-

* «Перелетная птица» – объединение юных туристов.

О Б В И Н Я Е М Ы Й

тенбруннер пояснил Эйхману, что ему придется оставить сообщество весельчаков, поскольку, будучи наци, он не может быть одновременно и масоном – между прочим, в то время Эйхман даже не знал, что означает это слово.

Выбор между СС и Шлараффией (это название происходит от *Schlaraffenland* – страны обжор и лентяев из немецких народных сказок) мог быть для него непростым, если бы его к тому моменту из Шлараффии не турнули – он совершил грех, который даже теперь, когда он рассказывал об этом в израильской тюрьме, заставлял его краснеть: «вопреки своему воспитанию, я попытался, хотя и был самым младшим среди членов ложи, пригласить их на стаканчик вина».

Вихрь времени перенес этот жалкий листочек из Шлараффии, сказочной страны волшебных столов, с которых жареные цыплята сами прыгали в рот – или, точнее, из компании уважаемых обывателей со степенями, надежными карьерами и «утонченным юмором», чьим самым страшным грехом было пристрастие к розыгрышам, – в марширующие колонны тысячелетнего рейха, который просуществовал ровно двадцать лет и три месяца. Во всяком случае, вступил он в партию отнюдь не по убеждению, да и вряд ли и потом стал убежденным партийцем – каждый раз, когда его спрашивали, почему он это сделал, он неловко повторял заезженные клише по поводу Версальского договора и безработицы; как он сказал во время процесса, его скорее «втянуло в партию – вопреки всем желаниям и абсолютно бессознательно. Все произошло очень быстро и внезапно». У него не было ни времени, ни желания получить полную информацию, он даже не знал партийной программы и никогда не читал «Майн Кампф». Просто Кальтенбруннер сказал:

«А почему бы тебе не вступить в СС?», и он ответил: «Действительно, почему бы не вступить?» Вот как все это произошло – просто и без раздумий.

Конечно же, не все было так просто. Во время перекрестного допроса в суде Эйхман не сказал, что он был амбициозным молодым человеком, которому до чертиков надоела работа коммивояжера в нефтеперерабатывающей компании – еще до того, как он сам надоел нефтеперерабатывающей компании. Из серой, лишенной значительности и перспектив жизни ветер перенес его в Историю, как он ее понимал, точнее, в Движение, которое развивалось и в котором подобные ему – неудачники в глазах его социального класса, его семьи и, следовательно, в своих собственных глазах – могли начать с нуля и сделать карьеру. И если ему не всегда нравилось то, что ему приходилось делать (например, отправлять людей целыми составами на верную смерть, вместо того чтобы принуждать их к эмиграции), если даже он достаточно рано начал понимать, что вся эта затея ничем хорошим не кончится, поскольку Германия явно проигрывала войну, если самые его сокровенные планы срывались (ссылка европейского еврейства на Мадагаскар, создание еврейской территории в регионе Ниско в Польше, эксперимент по строительству оборонительных укреплений вокруг его берлинской конторы – укреплений, которые должны были остановить русские танки), если – к его «величайшему сожалению» – ему так и не удалось получить чин выше, чем оберштурмбанфюрер СС (ранг, в армейской иерархии равный подполковнику), значит, жизнь его, за исключением одного венского года, была полна разочарований, и он об этом никогда не забывал. Не только в Аргентине, где он вел безрадостное суще-

О Б В И Н Я Е М Ы Й

ствование беженца, но и в зале иерусалимского суда, где ему предстояло закончить эту жизнь, он предпочел бы – если б его об этом спросили – быть повешенным как оберштурмбанфюрер в отставке, а не прожить долгую жизнь тихого и скромного коммивояжера нефтеперерабатывающей компании.

Начало новой жизни Эйхмана было не слишком обещающим. Весной 1933 года – тогда он был еще безработным – нацистская партия и ее подразделения были в Австрии запрещены, поскольку Гитлер рвался к власти. Но и без этого он вряд ли мог сделать там карьеру как наци: даже те из австрийцев, кто уже записался в СС, продолжали работать на своих прежних местах – Кальтенбруннер все еще оставался партнером в отцовской юридической фирме. И Эйхман решил перебраться в Германию, что было вполне естественно, поскольку его семья никогда не отказывалась от германского гражданства.

Данный факт в определенной степени повлиял на процесс. Доктор Сервациус обратился к западногерманскому правительству с просьбой потребовать экстрадиции обвиняемого, в чем ему было отказано; тогда он попросил оплатить его услуги в качестве защитника, и снова Бонн отказал, мотивируя тем, что Эйхман не является гражданином Германии, что есть абсолютная неправда.

В Пассау, на германской границе, он вдруг снова превратился в коммивояжера и, рапортуя о прибытии местному партийному лидеру, с энтузиазмом осведомился, не имеет ли тот «связей в баварской нефтеперерабатывающей компании». Этот рецидив не был таким уж странным явлением в его жизни:

когда его спрашивали о внезапных проявлениях нацистских взглядов в Аргентине и даже в иерусалимской тюрьме, он, извиняясь, повторял: «Да со мной всегда так...»

Но в Пассау его быстро от этого рецидива излечили, сообщив, что ему стоило бы записаться на курсы армейской подготовки: «хорошо, подумал я, почему бы мне не стать солдатом?» – и его послали сначала в один баварский тренировочный лагерь эсэсовцев, в Лехфельде, а вскоре – в лагерь в Дахау (к созданному здесь позже концлагерю этот лагерь никакого отношения не имел), где проходил обучение «австрийский легион в изгнании». Так он, вопреки своему германскому паспорту, снова стал австрийцем.

Он пробыл в лагерях с августа 1933 года до сентября 1934-го, дослужился до чина шарфюрера (капрала) и имел достаточно времени, чтобы переосмыслить свое желание сделать военную карьеру. Судя по его собственным словам, единственной дисциплиной, в которой он отличился в течение этих четырнадцати месяцев, была строевая подготовка, коей он предавался с необычайным рвением. И хотя именно этому рвению он был обязан своим первым продвижением по карьерной лестнице, чувствовал он себя тогда ужасно: «Я с трудом выносил однообразие военной службы, когда изо дня в день повторяется одно и то же, одно и то же».

Все это ему порядком осточертело, и когда он услышал о том, что служба безопасности рейхсфюрера СС (гиммлеровская *Sicherheitsdienst*, или СД, как я буду называть ее далее) объявила о наборе в свои ряды, он немедленно подал заявление.

ГЛАВА III

ЭКСПЕРТ ПО ЕВРЕЙСКОМУ ВОПРОСУ

В 1934 году, когда Эйхман подал свое заявление, СД была внутри СС сравнительно новым подразделением: ее создали за два года до этого в качестве внутривнутрипартийной службы безопасности, и теперь ее возглавлял Рейнхард Гейдрих, бывший офицер военно-морской разведки; как писал Джеральд Рейтлинджер («Окончательное решение», 1961 год), именно он стал «настоящим инженером “окончательного решения”». Изначально задачей службы было шпионить за членами партии, чтобы дать возможность СС подчинить себе рядовой партийный аппарат. Со временем у нее появились дополнительные обязанности, она стала информационным и исследовательским центром тайной государственной полиции, или гестапо.

Это были первые шаги по слиянию СС и полиции, однако до сентября 1939 года этого еще не произошло, хотя уже с 1936 года Гиммлер занимал как пост рейхсфюрера СС, так и шефа германской полиции.

Эйхман, естественно, предвидеть такого развития событий не мог, впрочем, подавая заявление о зачислении в СД, он понятия не имел, чем занималась эта организация – в этом не было ничего удивительного, так как все операции СД шли под грифом «совершенно секретно». Именно из-за своего непонимания и незнания он поначалу «испытал огромное разочарование. Потому что я думал, что это то, о чем я читал в *Münchener Illustrierten Zeitung*: когда высшие чины партии куда-нибудь ездили, их сопровождали вооруженные охранники, они стояли на подножках автомобилей... Короче говоря, я перепутал секретную службу рейхсфюрера СС с секретной службой рейха... и никто меня не поправил, и никто ничего не рассказал. Так что я и понятия не имел о том, что мне предстояло».

Правдивость этих его слов во время процесса неоднократно подвергалась сомнению, поскольку решено было уточнить, добровольно он занял свой пост или в результате принудительного призыва. Но его непонимание, если таковое имело место, было неудивительным: СС, или *Schutzstaffeln*, изначально создавалось как специальное соединение для обеспечения безопасности партийных лидеров.

Разочарование было вызвано в основном тем, что ему снова пришлось начинать все с самого начала, и утешало его лишь то, что подобную ошибку совершили многие. Его направили в отдел информации, и первым заданием было собрать всю информацию касательно франкмасонства (в ранней нацистской идеологической каше масонство каким-то образом попало в одну колоду с иудаизмом, католицизмом и коммунизмом) и помочь в создании музея масонства. Вот теперь-то он получил прекрасную возможность узнать, наконец, что означает то

странное слово, которое Кальтенбруннер произнес во время разговора о Шлараффии.

И в самом деле, тщательность, с которой составлялись музеи заклятых врагов, была одной из особых характеристик нацистов. Во время войны несколько служб яростно соревновались за право создания антиеврейского музея и библиотеки. Мы обязаны спасением многих культурных ценностей европейского еврейства именно этому странному выверту.

Но проблема заключалась в том, что ему снова было очень-очень скучно, и когда через четыре или пять месяцев копания в масонах его перевели в новенький отдел, занимавшийся евреями, он обрадовался. Именно это стало той первой ступенькой в карьере, которая завершилась в окружном суде Иерусалима.

Это случилось в 1935 году, когда Германия, вопреки условиям Версальского договора, ввела всеобщую воинскую повинность и открыто объявила о планах перевооружения, включая создание военно-воздушных и военно-морских сил. В том же году Германия – в 1933-м она вышла из Лиги Наций – отнюдь не тайно готовилась к оккупации демилитаризованной зоны Рейнской области. То было время, когда Гитлер токовал о мире: «Германия нуждается в мире и жаждет мира», «Мы видим в Польше родину великих людей, обладающих национальным самосознанием и гордостью», «Германия не намерена ни вмешиваться во внутренние дела Австрии, ни аннексировать Австрию, ни совершать *Anschluss*», но прежде всего то был год, когда нацистский режим завоевал всеобщее и, к сожалению, искреннее признание в самой Германии и за ее пределами, когда Гит-

лером повсеместно восхищались как великим государственным деятелем. В самой Германии это было время больших перемен. Благодаря грандиозной программе перевооружения была ликвидирована безработица, сопротивление рабочего класса было сломлено, а враждебность режима, которая первоначально была направлена против «антифашистов» – коммунистов, социалистов, интеллектуалов левого толка, евреев, занимающих высокие посты, или просто известных евреев, – еще не превратилась в преследование евреев как евреев.

Одним из первых шагов, предпринятых нацистским правительством еще в 1933 году, было изгнание евреев с государственной службы (что в Германии включало в себя все преподавательские должности, от начальной школы до университета, большинство отраслей индустрии развлечений, включая радио, театр, оперу и концертную деятельность) и вообще из всех государственных, муниципальных и общественных учреждений. Но до 1938 года евреев, работавших на частных предприятиях, занимавшихся медициной и юриспруденцией, не трогали, правда, им запретили сдавать государственные вступительные экзамены в университеты.

Эмиграция евреев в эти годы протекала отнюдь не ускоренными темпами и в основном по правилам, разработанным еще во времена Веймарской республики: ограничения на вывоз валюты затрудняли вывоз капитала, если таковой имелся, но отнюдь не делали его невозможным, и это касалось не только евреев, но и неевреев. Да, наблюдались случаи *Einzelaktionen*, то есть индивидуальных действий, заставлявших евреев за бесценок продавать собственность, но такое обычно случалось в маленьких городах, и за всем этим можно было разглядеть «лич-

ную» инициативу некоторых предприимчивых штурмовиков из СА, которые рекрутировались из представителей низших классов (командовали-то ими те, кто занимал на социальной лестнице более высокие позиции). Правда и то, что полиция не препятствовала подобным «эксцессам», хотя они и не нравились нацистским властям, поскольку из-за этого снижалась цена на недвижимость по всей стране.

Эмигрировали кроме явных политических противников в основном молодые люди, понимавшие, что в Германии для них будущего нет. А поскольку они вскоре выяснили, что и в других европейских странах им вряд ли уготовано будущее, то некоторые еврейские эмигранты в этот период даже возвращались на родину.

Когда Эйхмана спросили, как ему удалось совместить его личное отношение к евреям с явным и яростным антисемитизмом партии, к которой он принадлежал, он ответил пословицей: «Мне казалось, что черт не так страшен, как его малюют» – эта пословица была в те времена на устах многих евреев. Они жили в призрачном мире, в котором в течение нескольких лет даже Штрейхер говорил о «законном решении» еврейской проблемы. Для отрезвления понадобились погромы, случившиеся в ноябре 1938 года, так называемая *Kristallnacht*, «Хрустальная ночь», «Ночь разбитых витрин», когда были вдребезги разбиты витрины семи с половиной тысяч принадлежавших евреям магазинов, сожжены все синагоги, а двадцать тысяч евреев отправлены в концлагеря.

Те, кто пишет о том времени, часто забывают, что знаменитые Нюрнбергские законы, изданные осенью 1935 года, оказались не такими уж состоятельными. Показания трех свидетелей из самой Германии – эти люди были когда-то функцио-

нерами сионистской организации и эмигрировали в самый канун войны – не дают полной картины реального положения вещей в первые пять лет нацистского режима. Нюрнбергские законы лишали евреев политических, но не гражданских прав, отныне они не считались гражданами (*Reichsbürger*), но оставались под юрисдикцией германского государства (*Staatsangehörige*). И даже эмигрировав, они не становились автоматически людьми без государственной принадлежности. Сексуальные связи между евреями и немцами, а также смешанные браки были под запретом. Ни одна немка моложе сорока пяти лет не могла работать в качестве домашней прислуги или в любом ином статусе в еврейских семьях. Практически что-то значил только этот последний запрет – все остальные лишь легализовали существующую *de facto* ситуацию.

Таким образом, к Нюрнбергским законам даже относились как к фактору, стабилизирующему положение евреев в нацистской Германии. Уже с 30 января 1933 года они превратились, мягко говоря, в граждан второго сорта; их почти полное отделение от остального населения было делом нескольких недель или месяцев – в иных случаях путем террора, но по большей части за счет более чем явного отчуждения окружающих. «Между неевреями и евреями выросла стена, – свидетельствовал доктор Бенно Кон из Берлина. – Во время поездок по Германии мне ни разу не удалось поговорить ни с одним христианином». Но при этом евреи считали, что они обрели свои собственные законы, они более не были людьми вне закона. Если их заставили жить внутри своей собственной общины – а так было и прежде, – значит, они могут жить спокойно, никто к ним вторгаться не станет.

Как говорили в *Reichsvertretung* немецких евреев (национальной ассоциации всех общин и организаций, которая была создана в сентябре 1933 года по инициативе берлинской общины – а отнюдь не с подачи нацистов), целью Нюрнбергских законов было «определить платформу, на которой были возможны достойные взаимоотношения между немцами и евреями»; ко всему сказанному один из членов берлинской общины, радикальный сионист, добавил: «Жить можно при любых законах. А вот жизнь, когда совершенно не известно, что разрешено, а что запрещено, невозможна. Полезный для общества и уважаемый гражданин также может быть и членом меньшинства, окруженного большим народом» (Ганс Ламм, *Über die Entwicklung des deutschen Judentums*, 1951 год). И поскольку Гитлер после мятежа Рёма в 1934 году укоротил руки СА, штурмовикам-коричневорубашечникам, которые в основном и устраивали погромы и прочие безобразия, поскольку евреи пребывали в блаженном неведении относительно растущей мощи чернорубашечников – эсэсовцев, которые обычно дистанцировались от того, что Эйхман презрительно называл «методами *Stürmer*», евреи верили в возможность сохранения *modus vivendi*; они даже предложили свое сотрудничество «в решении еврейского вопроса».

Короче говоря, когда Эйхман начал заниматься евреями – а через четыре года он уже наладил первые контакты с еврейскими функционерами и стал признанным «экспертом», – в Германии все еще продолжались споры между сионистами и ассимиляционистами: и те и другие говорили о великом «еврейском возрождении», о «мощном конструктивном движении немецкого еврейства», ссорились по идеологическим вопросам и по вопросам терминологии, обсуждали вопрос о желательности

сти или нежелательности еврейской эмиграции – как будто этот вопрос от них зависел.

Рассказ Эйхмана во время полицейского допроса о том, как он начал работать в этом отделе – как всегда путаный, но отнюдь не обязательно лживый, – странным образом напомнил об этом времени призрачного счастья.

Прежде всего новый босс, некий фон Мильденштайн, которого и самого вскоре перевели к Альберту Шпееру в *Organisation Todt**, где он, будучи тем, кем так и не удалось стать Эйхману – профессиональным инженером, – отвечал за строительство шоссейных дорог, потребовал, чтобы Эйхман прочел книгу классика сионизма Теодора Герцля *Der Judenstaat* («Еврейское государство»): этот труд мгновенно превратил Эйхмана в убежденного сиониста.

С этого момента, как он неоднократно повторял, он не мог думать ни о чем, кроме как о «политическом решении» (в противовес появившемуся позднее «физическому решению»: первое решение означало изгнание, второе – физическое уничтожение), и о том, как сделать так, чтобы «у евреев появилась своя твердая почва под ногами». Ради этого он начал распространять среди коллег по СС свои взгляды, читал лекции, писал памфлеты. Вскоре он принялся изучать иврит, что дало ему возможность читать газеты на идише – не столь уж трудная задача,

* «Организация Тодта» – организация, занимавшаяся строительством важных военных объектов, железных дорог и скоростных автомагистралей. Возглавлял ее Фриц Тодт, который в 1940 году был назначен рейхсминистром вооружения и боеприпасов.

поскольку идиш – один из диалектов старогерманского языка, в основу письменности которого положен древнееврейский алфавит, и каждый немец, кто знал этот алфавит и несколько слов на иврите, прекрасно мог понимать и идиш. Он даже по собственной инициативе прочел еще одну книгу – «Историю сионизма» Адольфа Бёма (во время процесса он не раз путал ее с *Judenstaat* Герцля). Это было значительным достижением для человека, который, по его собственным словам, никогда ничего кроме газет не читал: в свое время отец сетовал, что юный Эйхман не заглядывал в семейную библиотеку. По Бёму он изучил организационное устройство сионистского движения, все его партии, молодежные организации и различные программы. Это еще не превратило его в «авторитетного знатока», но было достаточным для того, чтобы назначить его официальным лазутчиком в сионистских кругах: ему вменялось в обязанность посещать встречи сионистов и докладывать о том, что там творится; здесь мы должны особо подчеркнуть, что его знание еврейских проблем почти полностью было почерпнуто из сионистских источников.

Его первые контакты с еврейскими функционерами, известными и убежденными сионистами, оказались вполне плодотворными. В качестве причины, почему он был так очарован «еврейским вопросом», он выдвигал собственный «идеализм»: эти евреи в отличие от ассимиляционистов, которых он всегда презирал, и ортодоксов, которые его утомляли, также были «идеалистами». По Эйхману, «идеалист» – это не просто человек, который верит в «идею» или который не ворует и не берет взятку, хотя эти качества также необходимы. «Идеалист» – тот, кто живет ради своей идеи и потому не может быть дельцом, он

готов пожертвовать ради идеи всем, и особенно всеми. Когда во время полицейского допроса он заявил, что, если бы потребовалось, не дрогнув, послал бы на смерть собственного отца, он имел в виду не только степень своей готовности подчиняться приказам – тем самым он намеревался продемонстрировать свой «идеализм».

У настоящего «идеалиста», как и у всякого человека, могут быть личные чувства и пристрастия, но он никогда не позволит им мешать его действиям, если эти чувства и пристрастия вступают в конфликт с «идеей». Величайшим известным ему евреем-«идеалистом» Эйхман считал доктора Рудольфа Кастнера, с которым он вел переговоры по поводу депортации евреев из Венгрии: они пришли к соглашению, что он, Эйхман, разрешит «нелегальную» депортацию нескольких тысяч евреев в Палестину (поезда с ними шли под охраной немецкой полиции) в обмен на «спокойствие и порядок» в лагерях, откуда уже сотни тысяч были отправлены в Освенцим. Несколько тысяч спасенных этим соглашением видных евреев и членов молодежных сионистских организаций были, по словам Эйхмана, «лучшим биологическим материалом». Доктор Кастнер, как Эйхман это понимал, пожертвовал братьями ради «идеи», и это был благородный поступок.

Судья Бенъямин Халеви, один из трех судей на процессе Эйхмана, судил в Израиле и Кастнера, и тому пришлось защищаться от обвинений в сотрудничестве с Эйхманом и другими высокопоставленными нацистами; как сказал Халеви, Кастнер «продал душу дьяволу». Теперь на скамье подсудимых был сам дьявол, считающий себя «идеалистом» – вполне вероятно, что тот, кто продал ему свою душу, также видел себя «идеалистом».

Наконец, Эйхману представилась возможность на практике продемонстрировать то, что он познал за время своего ученичества. После аншлюса (включения Австрии в состав рейха) в марте 1938 года его послали в Вену разработать меры по организованной эмиграции – до того совершенно в Германии неведомой, поскольку до осени 1938 года здесь поддерживалось убеждение, что евреям дозволено, если они того пожелают, покидать страну, но их к этому никто не принуждает.

Среди причин, почему евреи верили в этот миф, была программа национал-социалистической партии, сформулированная еще в двадцатые годы, – как ни странно, ее, как и конституцию Веймарской республики, никто никогда официально не отменял, более того, Гитлер настаивал на «незыблемости» всех ее двадцати пяти пунктов. И действительно, если смотреть на нее с позиций сегодняшнего дня, ее антисемитизм был довольно безобидным: евреи не могли считаться полноправными гражданами, не могли трудиться на государственной службе, работать в прессе, а все, кто приобрел германское гражданство после 2 августа 1914 года – даты начала Первой мировой войны, – подлежали денатурализации, это означало, что они будут изгнаны из страны.

Что характерно, денатурализация была проведена практически мгновенно, но сама по себе высылка почти пятнадцати тысяч евреев, которых буквально за один день перекинули через польскую границу в Збажин и тут же отправили в лагеря, произошла только через пять лет, когда об ее угрозе уже все забыли.

Нацистские официальные лица никогда не принимали программу собственной партии всерьез: они гордились тем, что являются участниками Движения, а Движение не может быть ограничено никакими программами. Даже до прихода нацистов к власти эти двадцать пять пунктов были лишь уступкой общепринятой системе организации партий и предназначались для тех перспективных избирателей, которые были достаточно старомодными, чтобы интересоваться программой партии, к которой они намеревались присоединиться. Эйхман, как мы видим, был лишен этих устарелых предрассудков, и, говоря в иерусалимском суде о том, что он не знал программы Гитлера, он, скорее всего, говорил правду: «Партийная программа никакого значения не имела: вы знали, куда вы вступаете». Евреи же были достаточно старомодными и выучили эти двадцать пять пунктов наизусть: они в них верили, а все, что противоречило законному воплощению партийной программы, считали временными «революционными эксцессами», ответственность за которые лежала на недисциплинированных партийцах.

Но то, что началось в марте 1938 года в Вене, было уже совсем другой историей.

Задача Эйхмана была определена кратко: «принудительная эмиграция», и слова эти не оставляли никаких возможностей для разночтения: евреев, независимо от их желаний и гражданства, следовало заставить эмигрировать – на обычном языке это называлось изгнанием. Когда бы Эйхман ни оглядывался назад, на прожитую им жизнь, он всегда называл тот год в Вене, где он возглавлял центр эмиграции австрийских евреев, самым своим счастливым и успешным годом. Незадолго до этого его произвели в офицеры, он получил звание унтерштурмфюрера,

или лейтенанта, его регулярно хвалили «за глубокое знание методов организации и идеологии противника – еврейства».

Назначение в Вену было первой его ответственной должностью, карьера, которая до этого продвигалась крайне медленно, стала набирать темп. Он трудился изо всех сил, и труды его увенчались успехом: за восемь месяцев Австрию покинули сорок пять тысяч евреев – сравните с девятнадцатью тысячами, оставившими за тот же период Германию; менее чем за полтора года Австрия «очистилась» от почти ста пятидесяти тысяч человек, приблизительно половины своего еврейского населения, и все они уехали «легально». Даже после начала войны отсюда удалось уехать более чем шестидесяти тысячам евреев. Как он этого добился? Конечно, придумал всю схему не он, а Гейдрих – это он издал специальную директиву, это он послал Эйхмана в Австрию.

По части авторства Эйхман высказывался весьма туманно: он на него не претендовал, но, с другой стороны, и не отрицал; израильские власти настаивали, как было сказано в «Бюллетене» Яд ва-Шем*, на фантастическом тезисе «полной и включающей в себя все ответственности Адольфа Эйхмана» и даже на еще более фантастическом предположении, что за всем стоял «один [т. е. – его] ум», что помогло ему покрасоваться во взятых напрокат лаврах – а, как мы уже знаем, он был к этому весьма склонен.

* Яд ва-Шем – национальный Мемориал Катастрофы (шоа, то есть холокоста) и Героизма, расположенный в Иерусалиме. В Яд ва-Шем собрана информация о евреях – жертвах нацизма в 1933–1945 годах. Мемориал был основан в 1953 году по решению кнессета. Яд ва-Шем посещают ежегодно более миллиона человек.

Идея, как объяснил ее Гейдрих Герингу наутро после «Ночи разбитых витрин», была до гениальности проста: «с помощью еврейской общины мы не только отберем деньги у богатых евреев, пожелавших эмигрировать. Заплатив за себя и определенную сумму в валюте за евреев бедных, они дадут возможность уехать и беднякам. Наша задача – не только заставить убраться богатых евреев, но и избавиться от всей еврейской сволочи».

Но определенные проблемы все же оставались, и решить их можно было лишь в процессе, и вот тогда-то, в первый раз в своей жизни, Эйхман открыл в себе особые качества. Он умел хорошо, лучше, чем многие другие, делать две вещи: он умел организовывать, и он умел вести переговоры.

Сразу же по прибытии он начал процесс переговоров с представителями еврейской общины, которых он для начала освободил из тюрем и концлагерей, ибо «революционный пыл» в Австрии в значительной мере превосходил ранние немецкие «эксцессы», и в результате почти все видные евреи оказались в заключении. После этого Эйхману уже не понадобилось убеждать еврейских функционеров в желательности эмиграции. Скорее это они рассказывали ему об огромных связанных с этим трудностях. Помимо финансовых проблем, впрочем уже «решенных», потенциальный эмигрант должен был собрать невероятное количество бумаг. Каждая из этих бумаг была действительной ограниченное время, так что когда была наконец получена последняя, истекал срок первой.

Как только Эйхман понял, как работает система, точнее, понял, как она не работает, он «посоветался с самим собой» и «родил идею, которая могла удовлетворить обе сторо-

ны». Он представил себе «конвейер, в начале которого запускается первый документ, затем поступают другие бумаги, и в качестве конечного продукта выдается паспорт». Эту идею можно было реализовать только при том, что все задействованные организации – министерство финансов, налоговое управление, полиция, еврейские общины и так далее – размещались бы под одной крышей и выполняли свою работу на месте, в присутствии обратившегося, которому не пришлось бы бегать от учреждения к учреждению, к тому же такой конвейер исключал издевательства и поборы.

Когда все было готово и конвейер заработал быстро и без сбоев, Эйхман «пригласил» проинспектировать его еврейских функционеров из Берлина. Они были поражены: «Это напоминало хлебозавод вроде тех, где мельница соединена с пекарней. В здание входит еврей, у которого есть хоть какая-то собственность – фабрика, магазин или счет в банке, он движется по зданию от конторки к конторке, от кабинета к кабинету и выходит из здания без денег, без прав, но зато с паспортом, при вручении которого ему говорят: «Вы обязаны покинуть страну в течение двух недель. В противном случае вы будете отправлены в концлагерь».

Весьма правдивое описание всей процедуры, но правдивое не до конца. Евреи не могли остаться совсем уж «без денег» по той простой причине, что тогда бы ни одна страна их не приняла. Им требовалась – и выдавалась – *Vorzeigegeld*, сумма, которую они могли предъявить при получении визы и с которой могли пройти иммиграционный контроль принимающей страны. Сумма предполагалась в иностранной валюте, а рейх отнюдь не намеревался тратить валюту на евреев. Нельзя было ее снять и

с еврейских счетов за рубежом, во всяком случае это было затруднительно, так как в течение многих лет иметь счета в иностранных банках не дозволялось; поэтому Эйхман отправил еврейских функционеров за границу, чтобы они выпросили валюту у тамошних еврейских организаций – эта валюта затем перепродавалась местной еврейской общиной будущим эмигрантам, с большой притом выгодой – например, от 10 до 20 марок за доллар, в то время как рыночная стоимость доллара составляла 4,2 марки. Так местная община собирала деньги, необходимые для оплаты эмиграции неимущих евреев, а также средства для своей, теперь весьма насыщенной деятельности. Конечно, этот проект Эйхмана не мог не встретить противодействия со стороны министерства финансов, так как оно понимало, что такого рода транзакции ведут к девальвации марки.

Бахвальство – грех, который всегда вредил Эйхману. Ну разве это не фанфаронство – заявление, которое он сделал своим подчиненным в последние дни войны: «Я сойду в могилу, смеясь, поскольку тот факт, что на моей совести смерть пяти миллионов евреев [то есть «врагов рейха», как он их неоднократно называл], дарит мне необычайное удовлетворение». В могилу тогда он не сошел, а что касается совести, так смерть пяти миллионов евреев ее действительно не терзала, а мучила история с пощечиной, которую он отвесил главе венского еврейского совета доктору Йозефу Лёвенгерцу – позже он стал его любимым евреем. (Он сразу же извинился перед доктором в присутствии всех своих подчиненных, но этот инцидент продолжал его тревожить.)

Заявление об ответственности за гибель пяти миллионов евреев – а примерно столько и было уничтожено объединенными усилиями всех нацистских учреждений и официаль-

ных лиц – явное преувеличение, однако он повторял эту роковую сентенцию снова и снова. Окружающих, даже тех, кто слушал его с охотой, уже от нее просто тошнило, а он все долдонил – даже двенадцать лет спустя, даже в Аргентине, поскольку это утверждение «придавало ему вес в собственных глазах».

Бывший советник юстиции Хорст Грелль, свидетель защиты, знавший Эйхмана еще по Венгрии, считал, что тот попросту хвастался. Это было понятно каждому, кто слышал эту абсурдную фразу.

Он хвастался, когда заявлял, что именно он «изобрел» систему гетто или что это ему «пришла в голову идея» о переселении всех европейских евреев на Мадагаскар. Гетто в Терезиенштадте*, отцом которого Эйхман себя объявлял, было создано через несколько лет после того, как система гетто была введена на всех оккупированных восточных территориях, а специальные гетто для некоторых привилегированных категорий, как и вся система гетто, были детищем Гейдриха. Что же касается мадагаскарского проекта, то он был рожден в недрах министерства иностранных дел Германии, а вклад Эйхмана состоял в том, что он предложил своему любимому доктору Лёвенгерцу «составить черновой проект» того, как можно было бы по окончании войны вывезти из Европы четыре миллиона евреев – предположительно в Палестину, поскольку мадагаскарский проект носил гриф «совершенно секретно».

* Чешское название этого города в Богемии – Терезин.

Когда во время процесса ему зачитали проект Лёвенгерца, Эйхман авторства не отрицал – это был один из немногих моментов, когда он испытывал явную неловкость.

Именно склонность к бахвальству и привела к тому, что его в конце концов схватили: ему наскучило «быть безвестным странником между мирами» – эта склонность с годами только усилилась, и не только потому, что он был вынужден заниматься ничего не значащими для него делами, но и потому, что после войны на него свалилась неожиданная «слава».

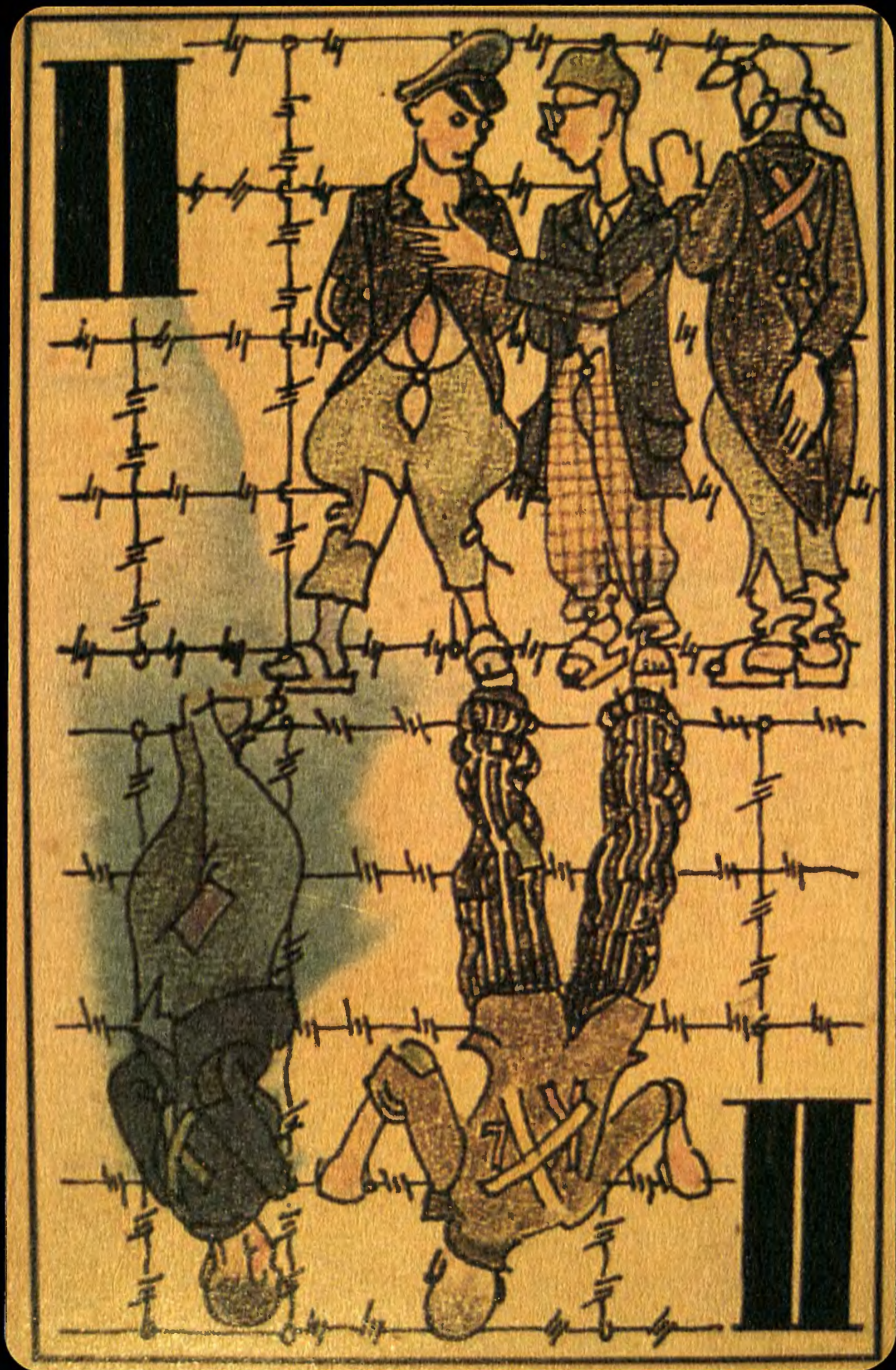
Однако бахвальство – грех весьма распространенный, а в характере Эйхмана присутствовал еще один более серьезный и имеющий большие для него последствия недостаток: полная неспособность взглянуть на что бы то ни было чужими глазами.

Этот недостаток ярче всего проявился в его рассказе о венском периоде. У его подчиненных сложились-де «очень близкие отношения» с евреями, и когда у еврейских функционеров возникали какие-то сложности, они все «бежали» к нему «со своими проблемами и горестями» и просили о помощи. Евреи «жаждали» эмиграции, и он, Эйхман, был тут как тут, дабы оказывать им максимальное содействие, поскольку – так уж получилось – именно в это время нацистские власти высказали пожелание, чтобы их рейх был *judenrein*. Оба желания совпали, и только он, Эйхман, мог «удовлетворить обе стороны». Во время процесса он продолжал описывать этот период в самых идиллических тонах, хотя и соглашался с тем, что теперь, «когда времена изменились», евреи вряд ли с такой же ностальгией вспоминали их «бли-

I



I





IV



VI

зость» и «совместную работу», и он ни в коей мере не желал бы «оскорблять их чувства».

Немецкоязычные распечатки магнитофонных записей, сделанных во время предварительного полицейского расследования (оно шло с 29 мая 1960 по 17 января 1961 года), каждая страница которых была прочитана, откорректирована и подписана Эйхманом, – настоящая золотая жила для психолога, достаточно мудрого, чтобы понимать, что ужасное может быть не только гротескным, но и просто смешным. Некоторые из комичных эпизодов переводу на английский не поддаются, поскольку юмор заключается в героической битве Эйхмана с немецким языком – битве, которую он упорно проигрывал. Забавно, когда он постоянно твердит о «крылатых словах» (*geflügelte worte* – немецкое выражение, означающее известные цитаты из классиков), имея в виду фразы-клише, *Redensarten*, или лозунги, *Schlagworte*. Забавно, когда во время перекрестного допроса по поводу документов Сассена, который вел на немецком судья-председатель, он использовал фразу *kontra geben* («сдача за сдачу»), описывая свое сопротивление попыткам Сассена сделать повествование более живописным: судья Ландау, пребывавший в явном неведении по части карточных игр, никак не мог понять, что Эйхман имел в виду, а тот никак не мог передать свою мысль другими словами. Зная об этом своем дефекте, который и мог стать причиной его школьной неуспеваемости – скорее всего, это была мягкая форма афазии, – он извинялся, говоря: «Бюрократический стиль (*Amtssprache*) – это единственный доступный мне язык». Но этот бюрократический стиль стал его языком потому, что он действительно не был способен произнести ни одной неклишированной фразы.

Так неужто именно эти клише психиатры сочли «нормальными» и даже «желательными»? И именно в них содержатся «позитивные идеи», которые священник мечтал найти в душах и сердцах остальных своих прихожан? Эйхман получил прекрасную возможность продемонстрировать эту свою позитивную сторону, когда юный иерусалимский полицейский, ответственный за душевное и психологическое здоровье подследственного, дал ему «для отдыха» почитать «Лолиту». Через два дня искренне возмущенный Эйхман вернул ему книгу со словами: «Чрезвычайно вредная книжонка» – *Das ist aber ein sehr unrefreuliches Buch.*

Так что судьи были совершенно правы, когда назвали все, что говорил обвиняемый, «пустопорожней болтовней» – ошибка их заключалась лишь в том, что они сочли эту пустопорожность уловкой, призванной скрыть чудовищные, но далеко не пустые мысли.

Подобное подозрение опровергается поразительной настойчивостью, с которой Эйхман, несмотря на свою плохую память, дословно повторял одни и те же клишированные фразы (если ему удавалось сконструировать свою собственную, «авторскую» фразу, он и ее повторял до тех пор, пока она не превращалась в клише). Что бы он ни писал в своих мемуарах в Аргентине и в Иерусалиме, что бы он ни произносил во время предварительного следствия и в суде, он использовал одни и те же слова. И чем дольше вы его слушали, тем становилось более понятным, что его неспособность выразить свою мысль напрямую связана с его неспособностью мыслить, а именно неспособностью оценивать ситуацию с иной, отличной от собствен-

ной точки зрения. Общение было для него невозможным, и не потому, что он лгал и изворачивался, а потому, что был окружен самой надежной защитой от слов и самого присутствия другого человека, а значит – от действительности как таковой.

Например, в течение всех восьми месяцев предварительного следствия, которое вел полицейский-еврей, Эйхман упорно и не испытывая ни малейших колебаний пояснял, почему ему не удалось дослужиться в СС до более высокого ранга, каждый раз добавляя, что это была не его вина. Он-то делал все от него зависящее, даже просился на фронт: «На фронте, сказал я себе, я скорее получу звание штандартенфюрера [полковника]». На суде, однако, он заявил, что просился на передовую, потому что хотел уйти от своих палаческих обязанностей. Он не особо настаивал на этом объяснении, и, как ни странно, ему в ответ не предъявили высказывания, сделанные им капитану Лессу, а ведь он даже заявлял тому, что надеялся на перевод в айнзацгруппы, мобильные соединения смерти, действовавшие на Востоке, поскольку к моменту их формирования, к марту 1941 года, его собственный отдел «ничем не занимался» – эмиграция прекратилась, а депортация еще не началась. Он также мечтал, чтобы его назначили шефом полиции в каком-нибудь немецком городке – но и из этого ничего не вышло.

Эти страницы допросов поистине смешны, потому что все его высказывания проникнуты стремлением обрести «простое человеческое» сочувствие к его неудачливости. «Что бы я ни запланировал, что бы ни подготовил – все шло прахом, как мои личные дела, так и мои многолетние попытки найти для евреев их землю. Не знаю, наверное, на меня наложено какое-то проклятие: злая судьба все время вмешивалась в мои мечты, же-

лания, планы. Разочарования ждали меня повсюду». Когда капитан Лесс попросил его высказаться по поводу показаний некоего бывшего полковника СС, Эйхман, заикаясь от ярости, воскликнул: «Я поражен, что этот человек вообще смог стать штандартенфюрером СС, я поистине поражен! Это невозможно, просто невозможно себе представить! Даже и не знаю, что сказать!» И говорил он так не из самозащиты, а потому что даже теперь старался соответствовать стандартам своей прошлой жизни. Слова «СС», «карьера» или «Гиммлер» (которого он неизменно величал его полным титулом: «рейхсфюрер СС, министр внутренних дел», хотя отнюдь не был от него в восторге) словно включали в нем некий механизм. И присутствие капитана Лесса, еврея из Германии, который вряд ли мог поверить в то, что для продвижения по карьерной лестнице СС требовались высокие моральные качества, ни на мгновение не нарушило исправной работы этого механизма.

Но вновь и вновь комедия превращалась в фильм ужасов, в рассказы, скорее всего вполне правдивые, чей черный юмор оставлял далеко позади все выверты сюрреалистов.

Таковой была рассказанная Эйхманом на предварительном следствии история невезучего в коммерции советника Шторфера из Вены, одного из деятелей еврейской общины. Эйхман получил телеграмму от Рудольфа Хёсса, коменданта Освенцима: туда доставлен Шторфер, который настоятельно просит о встрече с ним, Эйхманом. «Я сказал себе: хорошо, этот человек всегда вел себя прилично, так что... Я отправлюсь туда сам и посмотрю, в чем дело. И я пошел к Эбнеру [шефу гестапо Вены], и Эбнер сказал – не уверен, что именно этими словами, но смысл остается: “Если б только он не был таким глупым, а то

ведь он спрятался и попытался бежать”. Полиция его арестовала и отправила в концлагерь, а согласно приказам рейхсфюрера [Гимmlера] обратного пути оттуда не было. Так что никто – ни доктор Эбнер, ни я, ни кто-либо иной – ничего уже поделать не могли. Я отправился в Освенцим и попросил Хёсса о встрече со Шторфером. “Да, да, [сказал Хёсс], он в одной из рабочих бригад”. Потом мы встретились со Шторфером. Это была нормальная, человеческая встреча, все было нормально, по-человечески. Он поведал мне о своих бедах, я сказал: “Что ж, мой дорогой старый друг [*Ja, mein lieber guter Storfer*], я понимаю! Какая несчастливая судьба!” И я также сказал: “Послушайте, я действительно ничем не могу вам помочь, потому что согласно приказу рейхсфюрера отсюда не выпускают. Я не могу вытащить вас отсюда. И доктор Эбнер не может. Мне говорили, вы совершили ошибку – спрятались, попытались бежать, а уж вам-то совершенно не было нужды это делать”. [Эйхман хотел сказать, что Шторфер как еврейский функционер имел иммунитет от депортации.] Я уже забыл, что он на это ответил. Я потом спросил его, как он себя чувствует. И он сказал: а можно ли ему получить освобождение от работы, потому что ему досталась очень уж тяжелая работа. Я спросил у Хёсса: “Можно ли освободить Шторфера от работы?” Но Хёсс сказал: “Здесь все работают”. И я сказал: “Хорошо, – сказал я, – но нельзя ли сделать так, чтобы Шторфер получил новую работу – пусть он подметает дорожки”. Там было мало мощеных дорожек, и к тому же он имел право время от времени сидеть со своей метлой на скамейке. [А Шторферу] я сказал: “Такая работа подойдет, господин Шторфер? Вас такая работа устроит?” Он был очень доволен, мы пожали друг другу руки, так он получил метлу и право сидеть

на скамейке. А я испытал большую радость, повидав человека, с которым мне довелось работать бок о бок несколько лет, и побеседовав с ним». Через полтора месяца после этой нормальной, человеческой встречи Шторфера убили – правда, не газом. Его застрелили.

Имеем ли мы здесь классический случай лицемерия, или это проявление самообмана, замешанного на чудовищной глупости? Или это столь же примитивный пример нераскавшегося преступника, который не в состоянии взглянуть в лицо реальности, поскольку его преступление – это и есть часть реальности?

В своих дневниках Достоевский писал о том, что в Сибири, среди огромного множества убийц, насильников и грабителей, он никогда не встречал ни одного, позволившего признаться самому себе в том, что он совершил зло.

И все же случай с Эйхманом отличается от истории обычного преступника, который может укрыться от действительности внутри узкого круга подельников. Эйхману необходимо было постоянно вспоминать о прошлом не для того, чтобы проверять, достаточно ли он честен с окружающими и с самим собой, а потому что он сам и мир, в котором он жил, находились в полной гармонии. Немецкое общество, состоявшее из восьмидесяти миллионов человек, так же было защищено от реальности и фактов теми же самыми средствами, тем же самообманом, ложью и глупостью, которые стали сутью его, Эйхмана, менталитета. Эта ложь с годами видоизменялась, очень час-

то противоречила самой себе, более того, она была разной: одной для различных ветвей партийной иерархии и другой – для всего остального народа. Но практика самообмана была до такой степени всеобъемлющей, почти превратившейся в моральную предпосылку выживания, что даже теперь, через восемнадцать лет после падения нацистского режима, когда большинство специфических деталей его лжи уже забыты, порою трудно не думать, что лицемерие стало составной частью немецкого национального характера.

Во время войны самой убедительной ложью, которую проглотил весь немецкий народ, был лозунг: «Битва за судьбу немецкой нации» (*Der Schicksalskampf des deutschen Volkes*). Этот лозунг сочинил то ли Гитлер, то ли Геббельс, и были в нем три облегчавшие самообман составляющие: он предполагал, во-первых, что война – это вовсе не война, во-вторых, что развязали ее судьба, рок, а не сама Германия, и, в-третьих, это вопрос жизни или смерти для немцев, которые должны полностью уничтожить своих врагов, а то враги полностью уничтожат их самих.

Поразительная готовность, с которой Эйхман сначала в Аргентине, а потом и в Иерусалиме признавался в своих преступлениях, была рождена не столько свойственной всем преступникам склонностью к самообману, сколько духом лицемерия, который не просто пропитывал, но составлял всю атмосферу Третьего рейха. «Конечно», он участвовал в уничтожении евреев; конечно, если бы «он не обеспечивал их транспортировку, они бы не попали в руки палачей». «В чем, – вопрошал он, – мне ”признаваться”»? Но теперь, продолжал он, он «хотел бы помириться с бывшими врагами». Сентиментальное побуждение, которое испытывал не только он, но и Гиммлер – тот вы-

сказывался в таком же духе перед концом войны, и лидер рабочего фронта Роберт Лей (этот, незадолго до того как покончить с собой в Нюрнберге, предлагал создать «согласительный комитет», состоящий из нацистов, ответственных за массовые убийства, и выживших евреев); в это невозможно поверить, но подобные сантименты, выраженные похожими словами, посещали в конце войны многих немцев. Это чудовищное клише не было спущено им сверху, немцы сфабриковали его самостоятельно, и оно было столь же далеким от реальности, как и остальные клише, по которым они жили в течение двадцати лет: легко представить себе «радостный подъем» на лице того, с чьих уст оно срывалось.

Мозг Эйхмана был переполнен такого рода сентенциями до самого края. Память его по части разного рода событий была крайне ненадежной: однажды судья Ландау, выйдя из себя (обычно он такого себе не позволял), воскликнул: «Так что вы *можете* вспомнить?!» (если уж вы не помните дискуссию на так называемой Ванзейской конференции, на которой обсуждались различные методики убийств), – как и следовало ожидать, Эйхман ответил, что хорошо помнит поворотные пункты своей карьеры, которые не обязательно совпадали с поворотными пунктами в процессе уничтожения евреев или с поворотными пунктами самой истории. (Он всегда с трудом припоминал дату начала войны или нападения на Россию.) Но при этом следует отметить, что он не забыл ни одной из сентенций, которые в разное время дарили ему «радостный подъем». Поэтому когда во время перекрестных допросов судьи пытались достучаться до его совести, они каждый раз натыкались на этот самый «подъем», и неудивительно, что они сначала растерялись, а за-

тем разозлились, когда поняли, что в распоряжении обвиняемого имеется разнообразнейший набор клише на каждый момент его жизни и на каждый вид деятельности. Для него, для его сознания никаких противоречий между фразой «Я сойду в могилу, смеясь», которую он твердил в конце войны, и фразой, которую он твердил теперь – «Я готов повеситься публично в назидание всем живущим на земле антисемитам», – не было: обе он произносил с одинаковым «подъемом».

Эта его манера создавала во время процесса немалые трудности – не самому Эйхману, а тем, кто должен был его обвинять, защищать, судить, вести репортажи из зала суда. Для этого надо было принимать его всерьез, что было непросто – поэтому некоторые пошли по самому легкому пути разрешения противоречия между невыразимым ужасом деяний и несомненной серостью того, кто их совершил: они объявили его умным расчетливым лжецом – а он им не был. Его убежденность в собственной правдивости граничила с нескромностью: «Одним из немногих даров, которыми наделила меня судьба, была способность говорить правду о самом себе». Он настаивал на этом своем даре, когда обвинитель пытался приписать ему преступления, которые он не совершал. В набросках, которые он делал в Аргентине, готовясь к интервью с Сассеном – а ведь тогда он еще обладал, как он сам указывал, «полной физической и психологической свободой», – он начертил фантастический наказ «будущим историкам сохранять объективность, чтобы не сойти с проложенной этими записями дороги правды»: этот наказ фантастичен, поскольку каждая нацарапанная им строчка демонстрирует полнейшее невежество относительно всего того, что напрямую, технически и бюрократически, не касалось его

непосредственной работы, и вдобавок к этому – поразительно плохую память.

Вопреки стараниям обвинителя всем было видно, что этот человек – отнюдь не монстр, но трудно было не заподозрить в нем клоуна. Но поскольку такое подозрение могло стать роковым для всего предприятия, и поскольку невозможно было все время напоминать себе о страданиях, которые он и подобные ему причинили миллионам, непросто было и заметить худшую из его клоунад – о ней почти не писали. Что можно поделать с человеком, который сначала, и с большим пафосом, объявляет, что единственный урок, который он усвоил из своей никчемной жизни, – никогда ни в чем не клясться и никаких присяг не приносить.

«Сегодня ни один человек, ни один судья не сможет убедить меня поклясться или дать показание под присягой. Я отказываюсь от этого, я отказываюсь по соображениям морали. Весь мой жизненный опыт говорит о том, что если человек верен присяге, непременно наступит день, когда ему придется за это расплачиваться, и я пришел к выводу, что ни один судья в мире и ни один из тех, кто обладает властью, не смогут заставить меня поклясться или принести присягу, или дать заверенные присягой показания. Добровольно я на это не пойду, и никто не сможет меня к этому принудить».

Затем, когда ему ясно и четко пояснили, что он может давать показания в свою защиту «как под присягой, так и без оной», без всяких колебаний заявил, что предпочел бы присягу принести. И что можно сказать о человеке, который неодно-

ЭКСПЕРТ ПО ЕВРЕЙСКОМУ...

кратно и демонстрируя полнейшую искренность заверял суд, как до того заверял полицейского следователя, что для него самое ужасное – попытаться избежать ответственности, сражаться за жизнь, молить о пощаде, а затем, следуя совету адвоката, собственноручно подал прошение о помиловании?

Что ж, настроение у Эйхмана вполне могло меняться, но как только ему удавалось отыскать в памяти соответствующий «вдохновляющий» лозунг, он сразу же успокаивался, ни разу не задумавшись о том, что лозунг одного момента может полностью противоречить лозунгу момента следующего. И, как мы увидим, этот чудовищный дар – находить успокоение в затертых клише – не оставит его и в смертный час.

ГЛАВА IV

РЕШЕНИЕ ПЕРВОЕ: ИЗГНАНИЕ

Если бы то был обычный судебный процесс с обычным перетягиванием каната между обвинением и защитой с целью прояснить все факты и воздать по справедливости обеим сторонам, сейчас можно было бы переключиться на версию защиты и узнать, соответствовали ли реальности гротескные описания Эйхманом его деятельности в Вене, и правда ли то, что его искаженное видение действительности было не злонамеренным, что в этом не проявлялась свойственная ему лживость. Но факты, за которые Эйхмана должны были вздернуть, стали известными и «не подлежали никакому разумному сомнению» задолго до процесса, о них были осведомлены все, кто изучал нацистский режим. Обвинение пыталось установить некоторые дополнительные факты, но не все из них были приняты судом. Существуют также факты, «не подлежащие никакому разумному сомнению», которые должна была бы представить защита. И дело Эйхмана, если не сам процесс, не может быть полным,

если не обратить внимания на некоторые из тех фактов, которые доктор Сервациус решил проигнорировать.

Особенно важно это при анализе путаницы во взглядах и идеологии Эйхмана относительно «еврейского вопроса». Во время перекрестного допроса он заявил председателю суда, что во время своего пребывания в Вене он «относился к евреям как к оппонентам в том плане, что мы должны были выработать взаимоприемлемое и справедливое решение... В качестве такого решения я видел предоставление им твердой почвы под ногами, их собственного места, их собственной земли. И с радостью трудился ради достижения такого решения. Я охотно и с удовольствием сотрудничал с ними, потому что это был тот вариант решения, который одобрялся движениями внутри самого еврейского народа, и я считал такое решение самым приемлемым». Вот почему они «трудились бок о бок», вот почему их работа была «основана на взаимопонимании». Это же было в интересах евреев – убраться из страны, жаль только, не все евреи это понимали: «Кто-то должен был им помогать, кто-то должен был помогать этим функционерам в их работе, и я это делал». Если еврейские функционеры были «идеалистами», то есть сионистами, он их уважал, «относился к ним как равным», выслушивал все их «требования и жалобы и просьбы о поддержке» и выполнял по мере возможности свои «обещания»: «Люди склонны сейчас об этом не вспоминать». Кто как не он, Эйхман, спас сотни тысяч евреев? Что как не его рвение и организаторский дар позволили им вовремя уехать? Да, это правда, в то время он не мог предвидеть наступления «окончательного решения», но он спасал их – «это же факт».

Р Е Ш Е Н И Е П Е Р В О Е : И З Г Н А Н И Е

Во время процесса сын Эйхмана дал в США интервью: он тоже постоянно об этом говорил. Это, должно быть, стало семейным преданием.

В некотором смысле можно понять, почему защитник не настаивал на эйхмановской версии взаимоотношений с сионистами. Эйхман признавал – он говорил об этом в интервью Сассену, – что встретил свое назначение «с энтузиазмом, не как телок, отправленный на заклание», что он весьма отличался от своих коллег, «которые никогда не читали главную книгу [то есть *Judenstaat* Герцля], не трудились над ней, не прониклись ее духом», и потому «в их работе отсутствовало внутреннее понимание». Они были «всего лишь бюрократами», для них все ограничивалось «параграфами и приказами, ничем больше они не интересовались», короче говоря, они были «винтиками» – такими же, каким, по словам защитника, был и сам Эйхман.

Если говорить о безоговорочном подчинении приказам фюрера, то «винтиками» были все без исключения – даже Гиммлер: его массажист Феликс Керстен рассказывал, что и Гиммлер относился к «окончательному решению» без большого восторга; на полицейском следствии Эйхман уверял, что его собственный босс Генрих Мюллер никогда бы не предложил ничего столь «грубого», как «физическое уничтожение».

Но Эйхмана теория «винтика» явно не удовлетворяла. Конечно же, он не был такой величиной, каким его пытался представить господин Хаузнер – в конце концов он не Гитлер, да и в «решении» еврейского вопроса его значимость несравнима с тем же Мюллером, или Гейдрихом, или Гиммлером: Эйх-

ман не был мегаломаньяком. Но он и не был таким неприметным «винтиком», каким хотел представить его защитник.

Свойственные Эйхману искажения действительности приводили в ужас потому, что сама действительность была чудовищной, но в принципе они мало чем отличаются от всего, что происходит ныне в постгитлеровской Германии.

Возьмем, к примеру, недавнюю предвыборную кампанию на пост канцлера страны и то, как вел ее Франц-Йозеф Штраус, бывший министр обороны, противником которого был нынешний мэр Берлина Вилли Брандт – после прихода к власти Гитлера Брандт скрывался в Норвегии. В прессе много писали о вопросе, который Штраус задал Брандту: «Что вы делали в течение двенадцати лет, которые провели за пределами Германии? Мы-то здесь, в Германии, знали, что делали». Вопрос этот был задан, что называется, «на голубом глазу»: Штрауса за него не только не порицали – он принес ему даже успех у потенциальных избирателей. И никто не подсказал члену боннского правительства, что то, что немцы делали в Германии в те годы, хорошо известно во всем мире.

Ту же «наивность» можно заметить в недавнем замечании, брошенном неким уважаемым в Германии литературным критиком – нет, этот критик не был членом нацистской партии, однако, обзревая научный труд, посвященный литературе времен Третьего рейха, он как бы невзначай заметил: «Автор его – из числа тех интеллектуалов, которые, не дрогнув, бросили нас с приходом эпохи варварства». Автор, естественно, был евреем, его изгнали нацисты – то есть это немцы его «бросили», такие немцы, как сам господин Хайнц Бекманн из *Rheinischer Merkur*. Да и само слово «варварство», которым сейчас частенько называ-

ют в Германии период гитлеровского правления, также служит искажению действительности: словно бы интеллектуалы, евреи и неевреи, удрали из страны, потому что она стала для них недостаточно «культурной», «рафинированной».

Эйхман – естественно, куда менее рафинированный и культурный персонаж, нежели государственные деятели и литературные критики, – все же мог бы упомянуть некоторые неоспоримые факты, подтверждающие его рассказ, однако у него была очень плохая память, а защитник ему вовремя не помог. Поскольку, как пишет Ганс Ламм, «нет никаких сомнений, что на первых этапах своей еврейской политики национал-социалисты считали уместным принять просионистский подход» – именно в этот период Эйхман и приобрел свои «еврейские познания». И он не единственный, кто всерьез воспринял этот «просионизм»: сами немецкие евреи считали, что если заменить идею «ассимиляции» идеей «диссимиляции», то все будет в порядке, и отрядами вступали в сионистское движение.

Надежной статистики на этот счет не существует, но известно, что в первые месяцы гитлеровского режима тираж сионистского еженедельника *Die Jüdische Rundschau* вырос с пяти-семи тысяч до почти сорока тысяч. Известно также, что сионистские фонды получили в 1935–1936 годах в три раза больше средств, чем в 1931–1932 годах, при том что еврейское население за это время значительно сократилось и обнищало.

Это отнюдь не означало, что евреи в массовом порядке жаждали эмигрировать в Палестину – скорее это было вопросом гордости. «Носи ее с гордостью, желтую звезду!» – вот са-

мый популярный лозунг тех лет, придуманный главным редактором *Die Jüdische Rundschau* Робертом Вельтшем, и он передавал царившую в то время эмоциональную атмосферу. Полемический запал лозунга, сформулированного как ответ на День бойкота* (1 апреля 1933 года, то есть за шесть лет до того, как наци заставили всех евреев носить нашивку – желтую шестиконечную звезду на белом фоне), был направлен против «ассимиляционистов» и тех, кто отказывался примкнуть к новому «революционному направлению», тех, кто «застрял в прошлом» (*die ewig Gestrigen*). На процессе этот лозунг вспоминали свидетели из Германии, и вспоминали весьма эмоционально. Но они забыли упомянуть о том, что сам Роберт Вельтш, выдающийся журналист, сказал недавно, что если б он мог предвидеть развитие событий, он бы этот лозунг не выдвинул никогда.

Но если отвлечься от лозунгов и идеологических разногласий, следует вспомнить, что в те годы сионисты были единственными, у кого имелся шанс вести переговоры с немецкими властями, по той простой причине, что их идеологические противники – Центральная ассоциация немецких граждан, придерживающихся иудаизма, к которой принадлежали девяносто пять процентов организованного еврейского населения Германии, внесла в устав в качестве основной задачи «борьбу против антисемитизма»; тем самым она в одночасье превратилась во «враждебную государству» организацию и могла, если б попыталась действовать в соответствии с собственными декларациями, стать объектом преследований по закону – впрочем, дело до этого так и не дошло.

* На этот день в Германии был назначен бойкот всех еврейских предприятий.

Первые несколько лет гитлеровского режима виделись сионистам всего лишь «существенным поражением ассимиляционистов». И в этот период сионисты действительно вели с нацистами совместную деятельность, которую вряд ли можно признать преступной: сионисты тоже верили в «диссимиляцию» и считали «взаимоприемлемым решением» эмиграцию в Палестину еврейской молодежи и, как они надеялись, еврейских капиталистов.

В то время подобных взглядов придерживались и многие немецкие официальные лица. Конечно, известные наци по этому поводу никогда публично не высказывались: нацистская пропаганда была яростно, откровенно и бескомпромиссно антисемитской, а население, не обладавшее опытом отсеивать зерна от плевел в потоке тоталитарной пропаганды, считало, что власти говорят именно то, что и думают.

В те годы существовало удовлетворявшее обе стороны соглашение между нацистскими властями и еврейским Палестинским агентством – *Ha'avarah*, или трансферное соглашение, согласно которому эмигрант в Палестину мог перевести свои средства в сделанные в Германии товары, а по прибытии обменять их на фунты стерлингов. Вскоре это стало для евреев единственным законным способом вывоза капитала (в качестве альтернативы предусматривалось открытие особого заблокированного счета, который можно было закрыть за рубежом за счет потери от пятидесяти до девяноста пяти процентов находящейся на нем суммы). И в результате в тридцатые годы, когда американское еврейство прилагало огромные усилия к бойкоту немецких производителей, по иронии судьбы именно Палестина была наводнена всевозможными товарами с биркой «сделано в Германии».

Особенную ценность для Эйхмана представляли эмиссары из самой Палестины, которые по собственной инициативе, без санкций со стороны немецких сионистов и еврейского Палестинского агентства, вступали в контакт с гестапо и СС. Они прибыли, чтобы заручиться поддержкой нелегальной иммиграции евреев в находящуюся под управлением Британии Палестину, и гестапо и СС в этой поддержке им не отказали. В Вене они вели переговоры с Эйхманом, который, согласно их отчетам, был «вежливым», «не повышал голоса», он даже предоставил им фермы и другие производственные площади для организации временных тренировочных лагерей для будущих иммигрантов.

«В одном случае он эвакуировал из монастыря группу монахинь, чтобы передать эти земли для создания образцовой фермы, на которой молодые евреи могли бы обучаться ведению сельского хозяйства», в другом случае он «выделил специальный состав, который сопровождали нацистские официальные представители», чтобы группа эмигрантов, направлявшаяся на учебные фермы в Югославии, могла спокойно пересечь границу.

Как писали Джон и Дэвид Кимчи (*«Тайные пути: “нелегальная” миграция народа: 1938–1948 гг.»*, Лондон, 1945), «основные действующие лица этой истории пришли к полному взаимопониманию»: евреи из Палестины говорили на языке, почти ничем от эйхмановского не отличавшемся. В Европу их послали поселенцы, и в операциях по спасению евреев они заинтересованы не были: «Это была не их работа». Их работой было отобрать «подходящий материал», а главным врагом – правда,

это было еще до программы уничтожения – не те, кто сделал пребывание евреев на их старой родине, в Германии и Австрии, невыносимым, а те, кто ставил барьеры на пути к родине новой, то есть не Германия, а Британия. Они на самом деле могли разговаривать с нацистскими властями почти на равных, что было невозможно для местных евреев, поскольку находились под покровительством государства-мандатория; возможно, они были первыми евреями, открыто заявившими о взаимных интересах, и уж точно были первыми евреями, получившими право «отбирать молодых еврейских пионеров» среди заключенных концлагерей. Естественно, они не понимали всей чудовищности этого соглашения – это понимание пришло позже, но они тоже считали, что сами евреи должны проводить селекцию, решать, каких именно евреев следует выбирать для дальнейшего выживания. В этом и заключалась основная ошибка, которая привела к тому, что в результате у большинства евреев – тех, кого не выбрали, – появились два врага: нацистские власти и еврейские власти. И если говорить о венском периоде, то заявления Эйхмана о том, что он спас тогда сотни тысяч евреев, которые в суде подняли на смех, на самом деле получили неожиданную поддержку со стороны уважаемых еврейских историков, братьев Кимчи: «Это был один из самых парадоксальных эпизодов начального периода нацистского правления: человек, который затем вошел в историю как один из главных убийц еврейского народа, попал в список самых активных деятелей спасения евреев из Европы».

Проблема Эйхмана заключалась в том, что он не был в состоянии припомнить ни одного из хотя бы как-то документально зафиксированных фактов, которые могли бы подтвер-

дить его невероятную историю, а его высокоученый защитник и не предполагал, что подзащитному было о чем вспомнить.

В качестве свидетеля защиты доктор Сервациус мог бы пригласить бывших агентов Алия Бет – организации, в чью задачу входила нелегальная иммиграция в Палестину: они наверняка еще помнят Эйхмана и наверняка живут в Израиле.

Эйхман запоминал только то, что имело непосредственное отношение к его карьере. Так, он запомнил визит, который нанес ему в Берлине один палестинский функционер, рассказавший о жизни в кибуцах: Эйхман дважды приглашал его на обед, а по окончании визита получил официальное приглашение в Палестину, где евреи показали бы ему всю страну. Он был в полном восторге: больше никто из нацистских официальных лиц не имел возможности съездить «в эту далекую страну», а ему еще и выдали разрешение на поездку! Суд пришел к выводу, что он был послан «с разведывательной миссией», это, конечно же, было правдой, однако ни в коей мере не противоречит тому, что Эйхман рассказал на полицейском дознании.

Из поездки ничего не вышло. Эйхман, которого сопровождал работавший на его отдел журналист, некий Герберт Хаген, добрался лишь до Египта, где британские власти отказали ему в разрешении на въезд в Палестину. Как говорил Эйхман, в Каире его посетил «человек из Хаганы» – еврейской военной организации, ставшей затем ядром израильской армии, и то, что этот человек им рассказал, стало темой «резко отрицательного отчета» Эйхмана и Хагена: начальство из пропагандистских со-

ображений приказало им составить именно такой отчет, который затем был опубликован.

Но помимо этих мелких триумфов память Эйхмана удержала только общий настрой и клише, которыми он был способен его описать: поездка в Египет состоялась в 1937 году, до перевода в Вену, а из венского периода он помнит только испытанное им «воодушевление». Помня об уникальной неспособности Эйхмана отказываться от не соответствующих нынешнему моменту клише, описывающих его конкретные настроения в каждый конкретный период прошлого – а во время полицейского расследования он неоднократно демонстрировал эту свою уникальность, – испытываешь искушение верить в его искренность, когда он описывает свое пребывание в Вене чуть ли не как идиллию. И из-за полной непоследовательности его мыслей и сантиментов в эту искренность продолжаешь верить, даже зная, что именно в тот его венский год, с весны 1938-го по март 1939-го, нацистский режим начал прекращать заигрывания с сионизмом. Природа нацистского движения была таковой, что оно продолжало развиваться и становилось все радикальнее и радикальнее, в то время как его члены постоянно отставали – это было их основополагающей психологической характеристикой, они не были способны шагать в ногу с движением, или, как сказал об этом сам Гитлер, не могли «перепрыгнуть через собственную тень».

Но опаснее всех самых объективных фактов для Эйхмана была его собственная дырявая память. Некоторых венских евреев он помнил очень живо – того же доктора Лёвенгерца или коммерции советника Шторфера, – но они не были

теми палестинскими эмиссарами, которые могли бы подтвердить его рассказ.

После войны доктор Лёвенгерц написал очень интересные воспоминания о своих переговорах с Эйхманом (это был один из немногих выплывших на процессе новых документов, записки частично показали Эйхману, и он был полностью согласен с основными их положениями): Лёвенгерц был первым еврейским функционером, действительно превратившим юденрат в институт на службе у нацистской власти. И он был одним из очень немногих подобных функционеров, который действительно был за свою службу вознагражден: ему разрешили оставаться в Вене до самого конца войны, затем он эмигрировал сначала в Великобританию, потом в Соединенные Штаты, где в 1960 году, незадолго до захвата Эйхмана, и скончался.

Судьба Шторфера, как мы уже знаем, была более жестокой, но в том действительно вины Эйхмана не было. По заданию Эйхмана Шторфер сменил в деле нелегальной транспортировки евреев в Палестину палестинских эмиссаров, которые стали слишком уж независимыми. Шторфер сионистом не был и до захвата нацистами Австрии еврейскими делами не интересовался. Однако с помощью Эйхмана ему все же удалось в 1940 году, когда половина Европы уже была оккупирована нацистами, вывезти три с половиной тысячи евреев, старался он наладить и отношения с палестинцами.

Видимо, именно это и имел в виду Эйхман, когда в рассказе о встрече со Шторфером в Освенциме сделал загадочную ремарку: «Шторфер никогда не предавал иудаизма, ни единым словом, только не Шторфер».

И третьим евреем, которого Эйхман все-таки помнил и о котором говорил, рассказывая о своей деятельности до войны, был доктор Пауль Эппштейн, отвечавший за эмиграцию в Берлине в последние годы существования *Reichsvereinigung* – созданной нацистами Центральной еврейской организации (ее не стоит путать с созданной самими евреями *Reichvertretung*, распущенной в июле 1939 года). Эйхман назначил доктора Эппштейна *Judenältester* (еврейским старейшиной) Терезина, где в 1944 году его и расстреляли.

Другими словами, Эйхман запомнил только тех евреев, которые были целиком в его власти. Он забыл не только палестинских эмиссаров, но также и своих ранних берлинских знакомцев, тех, кого он знал по своей «шпионской» деятельности, когда еще не обладал никакой властью.

Например, он не упоминал доктора Франца Мейера, бывшего члена исполнительного совета сионистской организации Германии, который выступал на процессе свидетелем обвинения – он рассказывал о своих контактах с обвиняемым с 1936 по 1939 год. Доктор Мейер подтвердил рассказ Эйхмана: в Берлине еврейские функционеры могли «предъявлять жалобы и требования», и между ними было нормальное сотрудничество. Иногда, по словам Мейера, «мы о чем-то его просили, бывали времена, когда он от нас чего-то требовал»; в этот период Эйхман «действительно к нам прислушивался и искренне пытался понять ситуацию»; его поведение было «вполне корректным»: «Он всегда обращался ко мне «господин» и всегда предлагал сесть». Но в феврале 1939 года все изменилось. Эйхман вызвал всех лидеров немецкого еврейства в Вену и рассказал им о новых методах «принудительной эмиграции». Они явились к не-

му, в огромный кабинет на первом этаже дворца Ротшильда, но теперь перед ними был совсем иной человек: «Я сразу же сказал друзьям, что совершенно его не узнаю. Перемена была чудовищной... Передо мной был человек, который вел себя подобно верховному судии, который мог решать вопросы жизни и смерти. Он принял нас с холодностью и даже грубо. Не разрешил приблизиться к своему столу. Все это время мы стояли».

И обвинение, и судьи были согласны в одном: как только Эйхман получил пост, на котором он мог проявить власть, его личность претерпела коренные изменения. Но во время процесса стало ясно, что и в этот период он переживал свои «рецидивы» и что все на самом деле несколько сложнее.

Так, например, существуют показания свидетеля, который рассказал о беседе с Эйхманом, состоявшейся в марте 1945 года в Терезине, – в ее ходе Эйхман снова продемонстрировал свой глубокий интерес к сионизму. По словам этого свидетеля, который был членом сионистской молодежной организации и имел на руках сертификат на въезд в Палестину, «Эйхман вел разговор спокойно и уважительно». (Странно, что адвокат не упомянул показания этого свидетеля в своей защитительной речи.)

Но какими бы разными ни были впечатления об изменениях, которые претерпела личность Эйхмана во время его пребывания в Вене, несомненно одно: это назначение действительно стало первой ступенькой в его карьере. В период между 1937 и 1941 годами его четырежды повышали в звании: за первые четырнадцать месяцев он превратился из унтерштурмфюрера в гауптштурмфюрера (из лейтенанта в капитана), а еще через полтора года стал оберштурмбанфюрером (подполковни-

ком). Это произошло в октябре 1941 года, вскоре после того как ему была поручена та роль в «окончательном решении», которая и привела его в окружной суд Иерусалима. И в этом чине он, к его великому сожалению, «застрял»: он считал, что в том секторе, в котором он работал, более высокого чина не выслужишь. Но, естественно, в первые три года карьеры, когда он, к собственному изумлению, так резво взбирался наверх, он этого предвидеть не мог.

В Вене он продемонстрировал свою ретивость, теперь его считали не только экспертом по «еврейскому вопросу», знатоком разного рода еврейских организаций и сионистских партий, но также и «авторитетом» в деле эмиграции и эвакуации, «специалистом», знающим, как выпихивать людей с насиженных мест.

Время его величайшего триумфа наступило вскоре после «Хрустальной ночи», «Ночи разбитых витрин», в ноябре 1938 года, когда немецкие евреи уже горели желанием уехать из страны. Геринг, вероятно по инициативе Гейдриха, решил создать в Берлине рейхцентр еврейской эмиграции, и в своем директивном письме особо упоминал венский отдел Эйхмана как модель устройства головного офиса. Но в начальники головного офиса предназначался не Эйхман, а Генрих Мюллер, еще одно из кадровых открытий Гейдриха – позже Мюллер станет для Эйхмана обожаемым боссом. Незадолго до этого Гейдрих отозвал Мюллера с его поста в полиции Баварии (Мюллер даже не был членом партии) и перевел в гестапо в Берлин, поскольку Мюллер слыл знатоком милицейской системы СССР. Для Мюллера это также было первой ступенькой в карьере, хотя начинать ему пришлось со сравнительно невысокой должности.

Мюллер, отнюдь не склонный, подобно Эйхману, к бахвальству, был знаменит своей «сфинксоподобной» загадочностью: в конце концов он вообще бесследно исчез. Никто не знает, где он обретается: ходят слухи, будто он живет в Восточной Германии, которая нашла применение его знаниям советской милиции.

В марте 1939 года Гитлер вторгся в Чехословакию и установил протекторат над Богемией и Моравией. Эйхмана тут же переводят в Прагу, где он должен создать еще один еврейский эмиграционный центр. «Поначалу мне не хотелось уезжать из Вены, ведь если вам удалось создать здесь такое отделение и вы видели, что все идет гладко и должным образом, вам не захочется все это покидать».

Прага и вправду разочаровывала, хотя все здесь было устроено по венскому образцу: «Функционеры чешских еврейских организаций посещали Вену, люди из Вены ездили в Прагу, так что мне даже не надо было ни во что вмешиваться. Венскую модель просто скопировали и перенесли в Прагу, дело двигалось чисто автоматически». Но пражский центр был гораздо меньше, и, «к моему сожалению, здесь не было людей калибра и энергии доктора Лёвенгерца». Но субъективные разочарования не шли ни в какое сравнение со все возраставшими сложностями иного, целиком объективного характера. За несколько последних лет свои страны покинули сотни тысяч евреев, и столько же ждали возможности уехать, потому что правительства Польши и Румынии в своих официальных заявлениях не оставляли сомнений в том, что они также желали бы избавиться от евреев. Они не понимали, с чего это весь мир возмущается тем, что они жаждут пойти по стопам «великой и культурной нации».

Р Е Ш Е Н И Е П Е Р В О Е : И З Г Н А Н И Е

Насколько велика армия потенциальных беженцев, стало ясно летом 1938 года во время Эвианской конференции, призванной решить проблему немецких евреев на межправительственном уровне. Эта конференция потерпела оглушительное фиаско и нанесла немецким евреям большой вред.

Пути для эмиграции за пределы Европы были теперь перекрыты, а возможности для спасения в самой Европе исчерпаны ранее, и даже при лучшем раскладе – если б не началась война, разрушившая все его программы, – Эйхману вряд ли удалось бы повторить в Праге «венское чудо».

Он понимал это очень хорошо, поскольку действительно стал экспертом в вопросах эмиграции, и потому вряд ли при известии о новом назначении от него стоило ждать большого энтузиазма. В сентябре 1939 года началась война, и месяц спустя Эйхмана отозвали в Берлин: он должен был сменить Мюллера на посту главы рейхцентра еврейской эмиграции. Если б такое произошло годом раньше, это можно было бы считать продвижением по службе, но теперь момент был явно неудачным. Только полный безумец мог по-прежнему видеть решение еврейского вопроса в принудительной эмиграции: помимо сложностей, сопряженных с переброской людей из страны в страну в военное время, Третий рейх, захватив Польшу, получил себе на голову еще от двух до двух с половиной миллионов евреев. Правда, гитлеровское правительство по-прежнему желало «отпустить своих евреев» (распоряжение прекратить еврейскую эмиграцию поступило спустя два года, осенью 1941-го), и если к тому времени оно уже и дозрело до «окончательного решения», никаких приказов на этот счет пока еще не поступало, хо-

тя на Востоке евреев уже собирали в гетто и команды ликвидаторов – айнзацгруппы – уже трудились вовсю. Так что было совершенно естественным, что эмиграция, как бы гладко и здесь, в Берлине, она ни была организована – «подобно конвейеру», – прекратилась сама по себе.

Эйхман так описывал ситуацию: «Это был вялотекущий процесс с обеих сторон. С еврейской стороны, потому что возможностей для эмиграции, которые стоило бы обсуждать, действительно не было, с нашей же стороны потому, что больше не было ни суеты, ни спешки, ни людей, снующих туда-сюда. И мы сидели в зияющем пустотой большом и помпезном здании». Было совершенно очевидно, что если его конек – еврейский вопрос – упрется в эмиграцию, то вскоре он останется без работы.

ГЛАВА V

РЕШЕНИЕ ВТОРОЕ: КОНЦЕНТРАЦИЯ

Надо сказать, что до начала войны, до 1 сентября 1939 года, гитлеровский режим еще не был открыто тоталитарным и явно преступным. Одним из наиболее значимых шагов в этом направлении, с организационной точки зрения, был подписанный Гиммлером декрет о создании службы безопасности, или СС, в которой с 1934 года служил и Эйхман: это был орган партии вкупе с регулярной полицией государственной безопасности, в которую входила и тайная государственная полиция, или гестапо. Результатом этого слияния было создание Главного управления имперской безопасности (РСХА), первым главой которого стал Рейнхард Гейдрих. После смерти Гейдриха в 1942 году этот пост занял давний знакомец Эйхмана по Линцу доктор Эрнст Кальтенбруннер. Все полицейские чины, не только из гестапо, но также из криминальной полиции и из регулярной полиции, получили эсэсовские звания, соответствующие их прежним званиям, – вне за-

висимости от того, были они или не были членами партии, а это означало, что буквально в одночасье наиболее значительная часть прежних государственных служб была включена в самое радикальное подразделение нацистской иерархии. Насколько мне известно, никто не протестовал и никто не подал прошения об отставке.

Хотя Гиммлер, глава и создатель СС, с 1936 года был и шефом германской полиции, два аппарата до той поры действовали порознь.

Но РСХА было лишь одним из двенадцати главных управлений СС, а в данном контексте для нас куда более интересным становится главное управление регулярной полиции, которым руководил генерал Курт Далюге: оно отвечало за сбор евреев, и главное административно-хозяйственное управление (*SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt*, или ВВХА) под руководством Освальда Поля: в его ведении были концлагеря, а позднее – «экономическая» составляющая уничтожения.

Такой «целесообразный» подход – когда о концентрационных лагерях говорилось как о вопросе «административном», а о лагерях смерти как о вопросе «экономическом» – был типичным для эсэсовской ментальности, и даже во время процесса было заметно, что Эйхману он пришелся по душе. С помощью такой «целесообразности» (*Sachlichkeit*) СС отгораживалась от «эмоциональных» персонажей вроде Штрейхера, этого «трескучего дурака», а также от тех «партийных шишек, которые казались себе облаченными в рогатые шлемы и звериные шкуры тевтонскими героями».

Эйхман восхищался Гейдрихом, потому что тот не терпел подобной чепухи, а вот Гиммлер ему совсем не нравился, потому что хоть и был рейхсфюрером СС и шефом полиции и руководил всеми эсэсовскими главными управлениями, позволял себе «долгое время предаваться подобным настроениям».

Однако во время процесса настоящий пример «целесообразности» и «объективности» продемонстрировал отнюдь не обвиняемый, бывший оберштурмбанфюрер СС, а доктор Сервациус, специалист по налоговому и коммерческому праву из Кельна. Он никогда не был членом нацистской партии, но преподал суду такой урок отсутствия «эмоциональности», который каждый присутствовавший не забудет никогда. Момент, один из немногих поистине выдающихся на этом процессе, имел место во время чтения им краткой защитительной речи, после которой суд удалился на четыре месяца для вынесения приговора. Сервациус заявил, что его подзащитный не виновен в пунктах обвинения, касающихся его ответственности за «сбор скелетов*, стерилизацию, умерщвление с помощью газа и аналогичные *медицинские процедуры*». В этот момент судья Халеви прервал его: «Доктор Сервациус, я полагаю, что вы оговорились, назвав умерщвление с помощью газа *медицинской процедурой*». На что доктор Сервациус возразил: «Но это действительно было *медицинской процедурой*, поскольку проводилась она врачами; *это была процедура умерщвления, а умерщвление так-*

* В Страсбурге, в Управлении по вопросам наследственности, составлялась по поручению Гиммлера коллекция скелетов и черепов всех рас и народов. Об этой «научной работе» гитлеровцев стало известно на Нюрнбергском процессе.

же является и медицинской процедурой». И, возможно, для пущей уверенности в том, чтобы судьи в Иерусалиме не забывали, как немцы – обычные немцы, не эсэсовцы и даже не члены нацистской партии – и по сей день относятся к акту, который в других странах называется убийством, он повторил эту фразу в своих «Комментариях к решению суда первой инстанции» – «Комментарии» сопровождали передачу дела в Верховный суд; там он снова подчеркнул, что отнюдь не Эйхман, а один из его подчиненных Рольф Гюнтер «всегда занимался медицинскими процедурами».

Доктор Сервациус хорошо знаком с «медицинскими процедурами» Третьего рейха. В Нюрнберге он защищал доктора Карла Брандта, личного врача Гитлера, рейхскомиссара по здравоохранению и санитарии и руководителя программы эвтаназии.

Во время войны каждое из главных управлений СС состояло из нескольких департаментов и отраслевых подразделений, и в РСХА входили семь главных департаментов. Департаментом IV – гестапо – руководил группенфюрер (генерал-майор*) Генрих Мюллер – это эсэсовское звание соответствовало его званию в полиции Баварии. В его задачу помимо прочих входила борьба со «злостными противниками государства», которые делились на две категории и которыми занимались два соответствующих подразделения: в ведении подразде-

* Здесь у автора неточность: звание группенфюрера соответствовало воинскому званию генерал-лейтенанта, а не генерал-майора.

ления IV-A находились те, кто обвинялся в коммунизме, саботаже, либерализме и политических покушениях, в ведении подразделения IV-B находились «секты»: католики, протестанты, франкмасоны (пост руководителя этого отдела оставался незаполненным) и евреи. Каждой из подкатегорий в этих подразделениях соответствовал свой отдел, обозначавшийся арабскими цифрами, так что когда в 1941 году Эйхмана в конце концов перевели в РСХА, он возглавил отдел IV-B-4. Поскольку его непосредственным начальником, руководителем подразделения IV-B был человек, которого все считали «пустым местом», настоящим боссом Эйхмана всегда был сам Мюллер. Шефом же Мюллера сначала был Гейдрих, затем – Кальтенбруннер, оба они получали приказы от Гимmlера, который, в свою очередь, получал приказы от самого Гитлера.

В дополнение к этим двенадцати главным управлениям Гимmlер руководил совершенно другим административным устройством, которое также сыграло огромную роль в осуществлении «окончательного решения». Это была сеть высших чинов СС и полиции, которые командовали региональными организациями; цепь инстанций не связывала их с РСХА, они отвечали непосредственно перед Гимmlером и всегда превосходили по рангу Эйхмана и его подчиненных. С другой стороны, *айнзацгруппы* находились под командованием Гейдриха и РСХА, однако это не означало, что Эйхман обязательно вступал с ними в контакт. Командиры айнзацгрупп также имели более высокие, нежели Эйхман, звания.

Технически и бюрократически пост Эйхмана был не таким уж высоким, он стал важным только из-за еврейского вопроса, который по идеологическим причинам с каждым днем, неде-

лей, месяцем войны обретал все большее значение, пока с началом поражения – с 1943 года – не разросся до фантастических пропорций. Когда это произошло, его отдел по-прежнему оставался единственным, который официально занимался исключительно «противником-еврейством», но фактически он утратил монополию, поскольку в «решении проблемы» были задействованы отделы и аппараты государства, партии, армии и СС.

Даже если мы сосредоточимся исключительно на полицейском механизме и оставим без внимания все остальные учреждения, картина все равно будет до абсурда сложной, поскольку нам придется приплюсовать к айнзацгруппам и высшие эшелоны СС, и полицейские подразделения, и инспекторов полиции безопасности, и службу безопасности. У каждой из этих служб была своя цепь инстанций, во главе которых неизменно стоял Гиммлер, но между собой они были равны, и никто из принадлежавших к одной группе не обязан был подчиняться старшему по чину из другой группы.

Следует признать, что обвинению было трудно разобратся в этом лабиринте параллельных институтов, но ему приходилось этим заниматься каждый раз, когда оно хотело пригвоздить Эйхмана по какому-то конкретному вопросу.

Если бы процесс состоялся сегодня, эта задача была бы намного легче благодаря книге Рауля Хилберга «Уничтожение европейских евреев», в которой он дал первоклассное описание этого чрезвычайно сложного механизма истребления.

Следует также помнить, что все эти организации, обладавшие огромной властью, яростно конкурировали друг с дру-

гом – от чего их жертвам было нисколько не легче, потому что у всех была одна цель: уничтожить как можно больше евреев. Этот дух конкуренции, естественно, порождает преданность именно своей «конторе». Эта преданность пережила войну, только теперь она была направлена в обратную сторону: каждый старался «обелить свое подразделение» за счет других.

Именно такое объяснение дал Эйхман, когда ему зачитали мемуары Рудольфа Хёсса, коменданта Освенцима, в которых Эйхман обвинялся в том, чего он – по его словам – никогда не совершал и чего он просто в силу своего положения совершить не мог. Эйхман на удивление легко согласился с замечанием, что у Хёсса не могло быть никаких личных мотивов для ложных обвинений, поскольку они относились друг к другу вполне по-дружески, но заметил, что, видимо, Хёсс хотел снять вину со своего собственного подразделения, главного административно-хозяйственного управления, и переложить всю ответственность на РСХА. Что-то подобное произошло и в Нюрнберге, где обвиняемые разыгрывали отвратительный спектакль, перекладывая ответственность друг на друга – но при этом ни один не возлагал вину на Гитлера! И происходило это отнюдь не потому, что кто-то хотел спастись за чужой счет: те, кто сидел на скамье подсудимых на этом процессе, представляли совершенно разные службы, давно и упорно друг с другом враждовавшие. Упомянувшийся уже доктор Ганс Глобке, который во время Нюрнбергского процесса выступал свидетелем обвинения, пытался обелить свое министерство внутренних дел за счет министерства дел иностранных. Эйхман же все время старался прикрыть Мюллера, Гейдриха и Кальтенбруннера, хотя последний относился к нему очень даже плохо.

Одной из самых серьезных ошибок обвинения на процессе в Иерусалиме было то, что дело в большой степени строилось на показаниях бывших нацистских бонз (к тому времени уже покойных или еще живых): обвинение не видело, или, возможно, и не могло видеть, насколько сомнительны эти документы в фактологическом плане. Даже суд в своем заключении, оценивая показания обвинявших Эйхмана других нацистских преступников, отметил (процитировав слова одного из свидетелей защиты), что «во время судов над военными преступниками обвиняемые традиционно пытались переложить как можно больше ответственности на тех, кто либо скрылся, либо считался покойным».

Когда Эйхман вступил в свою новую должность в IV департаменте РСХА, перед ним по-прежнему стояла неприятная дилемма: с одной стороны, официальной формулой решения еврейского вопроса оставалась «принудительная эмиграция», с другой же, эмиграция более была невозможной. В первый (и практически последний) раз его жизни в СС обстоятельства вынуждали его проявить инициативу, «родить идею», а это ну никак не получалось.

Как он утверждал на полицейском дознании, за все время его осенили три глобальных идеи. И все три, признавал он, оканчивались крахом, все его начинания ни к чему не приводили – последний удар он получил, когда вынужден был «оставить» свою берлинскую крепость, даже не попытавшись противостоять русским танкам. Тяжкая история неудачника...

Неистоцимым источником проблем, по его словам, было то, что его и его людей постоянно теребили, не давали нормально работать, поскольку все остальные государственные и

партийные учреждения также хотели поучаствовать в «решении», в результате объявилась огромная армия «экспертов по евреям», которые жаждали успеть первыми и наступали друг другу на пятки в стремлении выслужиться на поприще, о котором они и понятия не имели. Всю эту публику Эйхман глубоко презирал, отчасти потому, что они были выскочками, отчасти потому, что стремились к личному обогащению, а отчасти потому, что были невежами, ибо не прочли ни одного из «основополагающих трудов».

Все его три идеи были вдохновлены «основополагающими трудами», но, как выяснилось, две из них были вовсе и не его идеями, что же касается третьей, то – да, «я уже даже и не знаю, кто из нас – Шталекер [его начальник в Вене и Праге] или я были ее прародителями, во всяком случае, эта идея возникла». Эта последняя идея хронологически была самой первой: крах «идеи Ниско» стал для Эйхмана самой явной демонстрацией зла, которое несет любое постороннее вмешательство. (В этом случае в крахе был виноват Ганс Франк, генерал-губернатор Польши.) Чтобы понять суть этого плана, нам следует вспомнить, что после захвата Польши и до нападения на Россию территория Польши была поделена между СССР и Германией; немецкая часть состояла из западных областей, присоединенных к рейху, и так называемой восточной зоны, получившей название «генерал-губернаторство»: к ней относились как к оккупированной территории. Поскольку решение еврейского вопроса все еще видели в «принудительной эмиграции», призванной сделать Германию *judenrein*, в качестве совершенно естественного развития событий представлялось переселение польских евреев из присоединенных областей, а также евреев,

еще остававшихся в Германии, в генерал-губернаторство, которое не считалось частью рейха. Переселение началось в декабре 1939 года, и в генерал-губернаторство стали прибывать первые из почти миллиона евреев – шестьсот тысяч из присоединенных областей и около четырехсот тысяч из самого рейха.

Если эйхмановская версия авантюры с Ниско верна – а оснований не доверять ей нет, – то он, или скорее его пражский и венский начальник бригаденфюрер Франц Шталекер, на несколько месяцев опередил развитие событий. Этот *доктор Шталекер*, как Эйхман неукоснительно его величал, был, по его мнению, замечательным человеком, образованным, разумным, «свободным от ненависти и любого рода шовинизма» – например, в Вене он не гнушался пожимать руки еврейским функционерам. Через полтора года, весной 1941-го, этот образованный господин был назначен командиром айнзацгруппы А и менее чем за год умудрился лично расстрелять двести пятьдесят тысяч евреев (его самого прикончили в 1942 году*) – о чем он лично докладывал Гиммлеру, хотя командовал айнзацгруппами, которые считались полицейскими соединениями, шеф полиции безопасности и СД Рейнхард Гейдрих.

Но все это произошло потом, а сейчас, в сентябре 1939-го, когда немецкие войска все еще продвигались по территории Польши, Эйхман и доктор Шталекер принялись «втайне» ломать голову над тем, каким образом служба безопасности

* По разным источникам, Франц Вальтер Шталекер, бригаденфюрер СС и генерал-майор полиции, был застрелен в Гатчине советскими патриотами; там же, в Гатчине, погиб в бою с партизанами; погиб в партизанской засаде в Эстонии.

сможет ухватить свой сектор влияния на Востоке. Все, что им было для этого необходимо, – «отрезать от территории Польши по возможности больший кусок, на котором можно было бы создать автономное еврейское государство под протекторатом Германии... Вот это было бы настоящее решение». И они по собственной инициативе, не согласовав с вышестоящими инстанциями, отправились на рекогносцировку. Они поехали в Радомское воеводство, на реку Млечна – оно располагалось неподалеку от советской границы, – где увидели «обширную территорию, деревни, рынки, городки» и «сказали себе: вот что нам нужно, почему бы для разнообразия не переселить отсюда поляков, раз уж людей и так повсюду переселяют»; это «было бы решением еврейского вопроса» – предоставлением им своей собственной земли, хотя бы на какое-то время.

Поначалу все шло как по маслу. Они обратились к Гейдриху, и Гейдрих дал добро. Так уж получилось – в Иерусалиме Эйхман об этом и не вспомнил, – что их проект идеально соответствовал планам самого Гейдриха на тогдашней стадии решения еврейского вопроса. 21 сентября 1939 года он собрал на совещание «глав всех департаментов» РСХА и командующих айнзацгруппами (уже действующими на территории Польши), на котором дал директивы на ближайшее будущее: концентрация евреев в гетто, создание советов еврейских старейшин – юденратов, а также депортация всех евреев в генерал-губернаторство. Эйхман присутствовал на этом совещании и докладывал об устройстве «еврейских центров эмиграции», что было доказано на суде с помощью протоколов, которые «Бюро Об» израильской полиции откопало в Национальном архиве в Вашингтоне.

Следовательно, инициатива Эйхмана – или Шталекера – оказалась не более чем конкретным планом по воплощению указаний Гейдриха. И вскоре тысячи людей, в основном из Австрии, были в срочном порядке депортированы в Богом забытое место, которое, как объяснил им офицер СС, «было землей, обетованной им фюрером, новой родиной евреев. Здесь нет жилищ, здесь нет домов. Но если вы построите их, у вас будет собственная крыша над головой. Здесь нет воды, колодцы заражены холерой, дизентерией и тифом. Но если вы постараетесь, вы найдете воду, и у вас будет вода». Ну разве не «замечательно все это выглядело»? За исключением того, что эсэсовцы выдергивали некоторых евреев из этого рая и перекидывали их через русскую границу, а у некоторых хватило здравого смысла бежать самим. Но тогда, печалился Эйхман, «нам начал чинить препятствия Ганс Франк», которого они забыли проинформировать, хотя то была «его» территория. «Франк пожаловался в Берлин, и началась тяжба. Франк хотел самостоятельно решать свой еврейский вопрос. Он не желал, чтобы в генерал-губернаторство приезжали новые евреи. А тем, кто уже приехал, следовало немедленно исчезнуть». И они исчезали: иных даже репатриировали, такого больше не случалось ни до ни после, а те, кого вернули в Вену, были зарегистрированы в полиции как «вернувшиеся из центров обучения»: мы вновь наблюдаем любопытный рецидив просионистской стадии «решения».

Энтузиазм Эйхмана по части приобретения «его» евреями своей территории хорошо понятен, если вспомнить его карьеру. План Ниско был рожден во время его стремительного карьерного роста, и он, скорее всего, уже видел себя будущим генерал-губернатором вроде Ганса Франка в Польше или буду-

щим протектором вроде Гейдриха в Чехословакии своего «еврейского государства». Однако полное фиаско всего предприятия должно было бы преподать ему урок по поводу возможности и желательности «личных» инициатив. А поскольку они со Шталекером действовали в рамках директив Гейдриха и при полном его одобрении, эта уникальная репатриация евреев – совершенно очевидно ставшая временным поражением СС и полиции – также должна была продемонстрировать, что рост авторитета его отдела отнюдь не предполагает будущего всевластия, что министерства и партийные институты готовы во всеоружии защищать свою власть.

Следующей попыткой Эйхмана «дать евреям твердую почву» был Мадагаскарский проект. План эвакуировать четыре миллиона европейских евреев на принадлежавший Франции остров у юго-западного побережья Африки – 227 678 квадратных миль его скудных земель населяли 4 миллиона 370 тысяч человек – родился в недрах министерства иностранных дел и был затем передан РСХА, поскольку, по словам доктора Мартина Лютера, который отвечал на Вильгельмштрассе за еврейский вопрос, только полиция «обладала опытом и техническими возможностями осуществить массовую эвакуацию евреев и гарантировать соответствующий за ними надзор». Это «еврейское государство» должно было управляться полицай-губернатором и находиться под юрисдикцией Гимmlера.

У этого проекта довольно странная история. Эйхман, перепутав Мадагаскар с Угандой, всегда заявлял, что у него была «мечта, навеянная мечтой протагониста еврейской государственности Теодора Герцля», но эту мечту до Эйхмана вынашивали и другие – сначала польское правительство, которое в

1937 году уже рассматривало такой вариант, но поняло, что перевезти около трех миллионов своих евреев означало их убить; немногим позже такую же мечту вынашивал министр иностранных дел Франции Жорж Бонне: планы его были скромнее – он собирался отправить в эту французскую колонию двести тысяч евреев, не имевших французского гражданства. В 1938 году он даже консультировался по этому поводу у своего немецкого коллеги, Иоахима фон Риббентропа. Во всяком случае летом 1940 года, когда процесс эмиграции практически сошел на нет, Эйхману предложили разработать детальный план эвакуации четырех миллионов евреев на Мадагаскар, и он был занят этой задачей почти весь следующий год вплоть до нападения на Россию.

Четыре миллиона – поразительно низкая цифра: вывоз четырех миллионов евреев не мог сделать Европу *judenrein*. В это число явно не были включены три миллиона польских евреев, которых, как теперь известно, принялись уничтожать с первых же дней войны.

Вряд ли кто-либо, кроме Эйхмана и еще кучки мелких чиновников, принимал этот проект всерьез, потому что – кроме того, что эта территория была явно неподходящей, не говоря уж о том, что принадлежала она все-таки Франции – план предполагал наличие морского транспорта для четырех миллионов человек, да еще в разгар войны, когда Атлантику контролировал Британский военный флот! Мадагаскарский план был изначально призван служить завесой, за которой могла бы идти подготовка к физическому уничтожению всех западноевропейских евреев (для уничтожения польских евреев такой завесы

даже не потребовалось!), а его великим достижением для армии проверенных антисемитов, которые, как они ни тщились, всегда на шаг отставали от фюрера, была «прививка» мысли о том, что для решения еврейского вопроса никакое из предварительных действий – будь то специальные законы, или «диссимляция», или создание гетто – не годится, а годится исключительно тотальная эвакуация. И когда годом позже Мадагаскарский проект стал, как было объявлено, «устарелым», все уже были психологически, или скорее логически, готовы к следующему шагу: поскольку территории, на которую можно «эвакуировать», не существует, единственным «решением» является полное уничтожение.

Но Эйхман, этот «пророк грядущих поколений», вряд ли когда-либо подозревал о существовании столь далеко идущих намерений. По его мнению, на осуществление Мадагаскарского проекта просто не хватило времени, того драгоценного времени, которое было потрачено на борьбу с нежеланным вмешательством других инстанций. В Иерусалиме и полиция, и суд пытались избавить его от этой самоуспокоенности. Они предъявили ему два документа, касавшиеся упоминавшегося выше совещания 21 сентября 1939 года: одно из них было переданным по телетайпу письменным распоряжением самого Гейдриха, в котором содержались некоторые указания айнзацгруппам. В нем впервые проводилось различие между «окончательной целью, требующей длительного периода времени» – ее следовало держать «в полном секрете» – и «стадиями достижения окончательной цели». Термин «окончательное решение» еще не появился, и в документе о сути «окончательной цели» ничего не говорится.

Так что Эйхман был в полном праве заявить, что под «окончательной целью» имелся в виду его Мадагаскарский проект, который в это время перебрасывали из одной инстанции в другую, и что необходимой предварительной «стадией» полной эвакуации евреев была их концентрация. Однако внимательно прочтя документ, Эйхман сразу же заявил: он уверен, что под «окончательной целью» подразумевалось только «физическое уничтожение», и пришел к выводу, что «эта идея уже укоренилась в умах высшего руководства, или тех, кто был на самом верху».

Это вполне могло быть правдой, но тогда ему пришлось бы признать, что Мадагаскарский проект был не более чем мистификацией. А он этого не сделал: он никогда не менял своих показаний относительно Мадагаскара, возможно, он просто и не мог их изменить. Такое впечатление, что эта история была записана в его мозгу на другую пленку, и именно такая память, содержащая отдельные «записи», именно такой тип мышления мог стать лучшим доказательством неспособности самостоятельно мыслить, аргументировать, анализировать информацию и что-либо предвидеть.

Эта память подсказывала ему, что в период между началом войны (в своей речи в рейхстаге 30 января 1939 года Гитлер «предсказывал», что война приведет к «истреблению всей еврейской расы в Европе») и нападением на Россию в гонениях на евреев Западной и Центральной Европы наступило затишье. Нет, конечно же, даже тогда различные ведомства в самом рейхе и на оккупированных территориях изо всех сил старались устранить «противника-еврейство», но единой политики еще не существовало: такое впечатление, что у каждой службы име-

лось собственное «решение», которое ему дозволялось воплощать в жизнь и которым они могли бахвалиться перед конкурентами, также имевшими свои «решения».

Решением Эйхмана было создание полицейского государства, а для этого ему требовалась обширная территория. Все его «попытки проваливались из-за отсутствия понимания среди тех, кого это касалось», из-за «соперничества», споров, мелких склок, поскольку каждый «стремился к главенству». А потом время для такого решения ушло: война против России «разразилась внезапно, словно гром среди ясного неба». Это было концом его мечты, так как наступил конец «эре поиска решения, удовлетворявшего обе стороны». Как он признавал в своих мемуарах, которые писал в Аргентине, наступил также и конец «эры, в которой существовали законы, указы, декреты о том, как обходиться с каждым конкретным евреем». Но более того, это означало и конец его карьеры, и как бы глупо это ни звучало в свете его нынешней «славы», нельзя отрицать, что он был прав. Поскольку его отдел, прежде осуществлявший «принудительную эмиграцию», или, говоря другими словами, воплощавший его «мечту» о еврейском государстве под протекторатом нацистов, а потому бывший конечной инстанцией во всех еврейских делах, «теперь отошел на второй план: «окончательное решение еврейского вопроса» было поручено другим подразделениям, а переговоры вело другое главное управление под командованием бывшего рейхсфюрера СС и шефа немецкой полиции».

Под «другими подразделениями» подразумевались отборные группы убийц, которые действовали в армейском тылу на Востоке и в обязанности которых вменялась резня местного гражданского населения, и особенно евреев; под другим глав-

ным управлением подразумевалось главное административно-хозяйственное управление (ВВХА) Освальда Поля, к которому Эйхман должен был обращаться за информацией о конечном пункте назначения каждого транспорта с евреями. Такие пункты определялись в соответствии с «поглощающей способностью» различных фабрик убийств, а также в соответствии с потребностью в рабском труде множества промышленных предприятий, которые сочли выгодным создать свои отделения поблизости от некоторых лагерей смерти.

Разного рода предприятия, созданные самими эсэсовцами, большого значения для экономики не имели, в отличие от таких знаменитых фирм, как IG Farben, Krupp Werke и Siemens-Schuckart Werke, которые построили цеха в Освенциме и рядом с лагерем смерти в Люблине. Сотрудничество между СС и предпринимателями было весьма плодотворным: Хёсс из Освенцима свидетельствовал о сердечных взаимоотношениях с представителями IG Farben. Что касается условий работы, то они были просты: работать следовало до смерти. Как писал Хилберг, из приблизительно тридцати пяти тысяч евреев, работавших на одном из заводов IG Farben, умерли по меньшей мере двадцать пять тысяч человек.

Для Эйхмана же было важным то, что депортация и эвакуация больше не были конечными стадиями «решения». Его отдел стал всего лишь инструментом. Так что когда Мадагаскарский проект положили на полку, у него были все поводы испытывать «горечь и разочарование»; единственным утешением было то, что в октябре 1941 года ему присвоили звание оберштурмбанфюрера.

Как помнил Эйхман, последнюю попытку проявить хоть какую-то инициативу он предпринял в сентябре 1941 года, через три месяца после нападения на Россию. Это произошло после того как Гейдрих, по-прежнему шеф полиции безопасности и службы безопасности, стал протектором Богемии и Моравии. В честь этого события он созвал пресс-конференцию, на которой пообещал, что уже через два месяца протекторат станет *judenrein*. После конференции он встретился с теми, кто должен был претворять его обещание в жизнь – с Францем Шталекером, который к тому времени стал начальником полиции безопасности в Праге, и со статс-секретарем Карлом Германом Франком, бывшим лидером судетских немцев, который вскоре после гибели Гейдриха сменил его на посту имперского протектора.

Франк, по мнению Эйхмана, был низким типом, евреененавистником «Штрейхеровского образца», который «ничего не понимал в политических решениях», один из тех людей, которые «деспотично и, как говорят, в опьянении властью просто раздавали приказы и команды». В какой-то степени эта встреча была показательной. На ней Гейдрих впервые «показал себя с человеческой стороны» и с изумительной откровенностью признал, что «позволил себе сказать лишнее» – «что не было большим сюрпризом для тех, кто знал Гейдриха», «человека амбициозного и импульсивного», который часто «сначала говорил, а потом думал». Итак, Гейдрих заявил: «У нас тут неприятности, и что мы собираемся делать?» На что Эйхман сказал: «Если вы не хотите взять назад свои обещания, у нас есть только одна возможность. Предоставьте нам территорию, достаточную для того, чтобы мы могли свезти туда всех евреев из

протектората, которые сейчас рассеяны». (Землю для евреев, на которой можно собрать всех изгнанников диаспоры.) И тогда, к несчастью, евреененавистник «Штрейхеровского образца» Франк сделал конкретное предложение: такая территория может быть найдена в Терезине. На что Гейдрих, возможно уже достаточно опьяненный властью, просто приказал немедленно эвакуировать все чешское население Терезина, чтобы освободить место для евреев.

Эйхмана послали туда наблюдать за процессом. Его ждало огромное разочарование: старинный богемский городок на реке Эгер был слишком маленьким, в лучшем случае он мог стать пересылочным лагерем для некоторой части из девяноста тысяч проживавших в Богемии и Моравии евреев.

Для пятидесяти тысяч чешских евреев, которые были отправлены в Освенцим, Терезин действительно стал пересылочным лагерем – еще двадцать тысяч были отправлены в Освенцим напрямую.

Из источников более надежных, чем дырявая память Эйхмана, мы знаем, что Гейдрих с самого начала намеревался устроить в Терезине специальное гетто для определенных категорий евреев, в основном, но не исключительно из Германии – еврейских функционеров, видных деятелей, имевших награды ветеранов Первой мировой войны, инвалидов, еврейских партнеров смешанных браков и немецких евреев старше шестидесяти пяти лет (за что его и прозвали «стариковским гетто», *Altersghetto*). Но городок оказался слишком маленьким даже для этих избранных категорий, и потому в 1943 году, через год пос-

де создания гетто, начался процесс «прореживания», или «отделения осадка» (*Ausflockung*), который регулировал проблему перенаселенности путем отправления регулярных транспортов в Освенцим. Но в одном отношении память Эйхмана не подвела: Терезин оказался единственным лагерем, неподвластным ВВХА, до самого конца лагерь оставался в его ведении. Им командовали его подчиненные; это был единственный лагерь, в котором он обладал хоть какой-то властью, хотя обвинение в Иерусалиме пыталось приписать ему и другие властные полномочия.

Память Эйхмана, с легкостью перепрыгивавшая через годы – рассказывая на полицейском дознании о Терезине, он на два года опередил последовательность событий, – хоть и не придерживалась хронологического порядка, но и не была такой уж неупорядоченной. Она была подобной складу, забитому историями самого худшего типа. Когда он рассказывал о Праге, он и вспомнил о том случае, когда ему представилась возможность пообщаться с великим Гейдрихом, «показавшим себя с человеческой стороны». Еще через несколько допросов он упомянул о своей поездке в Братиславу, в Словакию – она произошла как раз в то время, когда Гейдрих был убит. Он помнил только, что был гостем Шанё Маха, министра внутренних дел созданного немцами марионеточного Словацкого правительства.

Это было яростно антисемитское католическое правительство, в котором Мах исповедовал антисемитизм германского толка: он отказывался делать исключения даже для крещеных евреев и был одним из тех, кто нес основную ответственность за депортацию словацкого еврейства.

Эйхман запомнил это, потому что не часто получал приглашения от членов правительств – для него это было честью. Мах, как вспоминал Эйхман, был замечательным веселым человеком, который пригласил его на выпивку. Неужели в середине войны у него в Братиславе не было никаких иных дел, кроме как напиваться в компании министра внутренних дел? Нет, абсолютно никаких дел: он помнит все очень хорошо – как они выпивали, и что напитки сервировали незадолго до того, как до них дошла весть о покушении на Гейдриха. Через четыре месяца и сорок пять бобин пленки капитан Лесс, израильский полицейский, который вел допрос, вернулся к этому моменту, и Эйхман повторил рассказ практически теми же словами, добавив лишь, что тот день стал для него «незабываемым», потому что «было совершено покушение на моего руководителя». Однако в этот раз ему предъявили документ, в котором говорилось, что его послали в Братиславу на переговоры по поводу состояния «эвакуационных действий в отношении словацких евреев». Он сразу же признал свою ошибку: «Понятно, понятно, таков был приказ из Берлина, конечно же, они послали меня туда не пьянствовать».

Так что ж получается, он дважды, и весьма последовательно, солгал? Вряд ли. Эвакуация и депортация евреев стали привычным делом, потому в памяти у него и удержались лишь пирушка, то, что он был гостем министра, и известие о нападении на Гейдриха. И для его типа памяти совершенно характерно, что он, как ни старался, не мог вспомнить, в каком именно году случился этот знаменательный день, день, когда чешские патриоты подстрелили «вешателя».

Если б память у него была получше, он бы никогда не вдавался в подробности терезинской истории. Поскольку все

Р Е Ш Е Н И Е В Т О Р О Е : К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И Я

это происходило уже тогда, когда времена «политического решения» сменялись эрой «окончательного решения», когда – и это он в другом контексте признавал свободно и без всяких подсказок со стороны – он уже был проинформирован о соответствующем приказе фюрера. Превращение страны в *judenrein* в то время, когда Гейдрих пообещал сделать это в отношении Богемии и Моравии, могло означать исключительно концентрацию и депортацию евреев в те пункты, из которых их легко было отправлять на фабрики смерти. Тот факт, что Терезин на самом деле стал служить иной цели – он превратился в образцово-показательный лагерь для всего остального мира, это было единственное гетто, в которое допускались представители Международного Красного Креста, – было уже совсем иной темой, о которой на тот момент Эйхман определенно ничего не знал и которая была полностью за пределами его компетенции.

ГЛАВА VI

РЕШЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ: УБИЙСТВО

22 июня 1941 года Гитлер напал на Советский Союз, а через полтора-два месяца Эйхмана вызвали в берлинский офис Гейдриха. 31 июля Гейдрих получил письмо от рейхсмаршала Германа Геринга, главнокомандующего военно-воздушными силами, министра-президента Пруссии, уполномоченного по четырехлетнему плану и, наконец, но далеко не в последнюю очередь, второго после Гитлера человека в государственной (отличной от партийной) иерархии. Этим письмом Гейдриху поручалось подготовить «общее решение [*Gesamtlösung*] еврейского вопроса в зонах германского влияния в Европе» и представить «общие предложения... по осуществлению желаемого окончательного решения [*Endlösung*] еврейского вопроса». К моменту получения Гейдрихом этих инструкций ему – как он объяснял верховному армейскому командованию в письме от 6 ноября 1941 года – «уже в течение нескольких лет была поручена подготовка к окончательному решению еврейского вопроса» (Рейт-

линджер), а с начала войны с Россией он отвечал за массовые убийства, которые совершали на Востоке айнзацгруппы.

Гейдрих начал свой разговор с Эйхманом «с краткой речи об эмиграции» (которая к тому времени практически прекратилась, хотя формальный приказ Гиммлера о запрете всей еврейской эмиграции, за исключением особых случаев, о которых следовало докладывать ему лично, поступил лишь несколько месяцев спустя), а затем сказал: «*Фюрер издал приказ о физическом уничтожении евреев*». После чего, «что было для него не характерно, надолго замолчал, словно хотел удостовериться во впечатлении, которое произвели его слова. В первый момент я был не способен постичь значение того, что он сказал, потому что он очень тщательно выбирал слова, а потом я понял, но ничего не сказал, потому что говорить больше было не о чем. Ибо я никогда не думал о таком, о решении путем насилия. Я потерял все, всю радость от работы, всю инициативу, весь интерес; из меня, образно говоря, словно воздух выпустили. А потом он сказал: “Эйхман, вы отправитесь на встречу с Глобочником [один из высших чинов СС при Гиммлере и шеф полиции Люблина в генерал-губернаторстве], рейхсфюрер [Гиммлер] уже отдал ему соответствующие приказы, посмотрите, что ему за это время удалось сделать. Я полагаю, он использует для ликвидации евреев русские противотанковые рвы”. Я все еще помню эти его слова, я буду помнить их до конца своих дней, эти его слова, сказанные уже в самом конце беседы».

На самом деле – как Эйхман все еще помнил в Аргентине, но позабыл в Иерусалиме, что нанесло ему немалый вред, так как имело значение для установления его собственных пол-

помочий непосредственно в деле истребления, – Гейдрих сказал нечто большее: он сообщил Эйхману, что все предприятие «передано под руководство главного административно-хозяйственного управления СС» – то есть отнято у его РСХА, – а также что официальное кодовое название уничтожения – «окончательное решение».

Несомненно, Эйхман был одним из первых, кто узнал о намерении Гитлера. Мы уже видели, что Гейдрих в течение нескольких лет работал в этом направлении (предположительно с начала войны), а Гиммлер утверждал, что ему сказали об этом «решении» (против которого он тогда протестовал) сразу после поражения Франции в августе 1940 года. К марту 1941 года, примерно за полгода до разговора Гейдриха с Эйхманом, «в высших партийных кругах уже все знали о том, что евреи будут уничтожаться» – об этом свидетельствовал на Нюрнбергском процессе Виктор Брак из канцелярии Гитлера. Но Эйхман, как он тщетно пытался объяснить в Иерусалиме, к высшим партийным кругам не принадлежал: ему никогда не говорили больше, чем требовалось знать для выполнения конкретной задачи. Но правда и то, что он был одним из первых представителей низшего эшелона, которого проинформировали насчет «строго секретного» дела – оно оставалось под этим грифом и когда известие уже распространилось по всем партийным и государственным учреждениям, по всем предприятиям, использовавшим рабский труд, по меньшей мере по всему армейскому офицерскому корпусу. Те, кому в открытую передали приказ фюрера, стали не просто «носителями приказов» – они продвинулись вверх, стали «носителями тайн», в соответствии с чем ими была принесена особая присяга.

Все сотрудники службы безопасности – а Эйхман числился в ней с 1934 года – в любом случае приносили присягу о соблюдении тайны.

Более того, при переписке на данную тему следовало соблюдать строгие «языковые нормы», поэтому документы, в которых встречаются такие слова, как «уничтожение», «ликвидация» или «убийство», обнаруживаются нечасто – подобные слова попадают только в донесениях айнзацгрупп. Предписанными кодовыми обозначениями убийств были «окончательное решение», «принудительное переселение» (*Aussiedelung*) и «специальная обработка» (*Sonderbehandlung*); депортация – если это не касалось евреев, направленных в Терезин, в «стариковское гетто» для привилегированных евреев, в каком случае это именовалось «сменой места жительства», – получила названия «переселение» (*Umsiedlung*) и «наряд на работу на Востоке» (*Arbeitseinsatz im Osten*). Определенный смысл в этих последних терминах все-таки был, поскольку евреев зачастую действительно временно размещали в гетто, и часть из них действительно использовалась как рабочая сила.

При определенных обстоятельствах нормы этого языка требовали некоторых изменений. Так, например, высокопоставленный чин министерства иностранных дел предложил, чтобы в переписке с Ватиканом убийства евреев именовались «радикальным решением»: это был оригинальный ход, поскольку марионеточное католическое правительство Словакии, на которое Ватикан имел влияние, не было, на взгляд нацистов, «достаточно радикальным» в своем антиеврейском законодательстве, так как совершило «серьезную ошибку», исключив креще-

ных евреев. И лишь между собой «носители тайн» могли говорить свободно, и то вряд ли они это делали на своих рабочих местах – поскольку там присутствовали стенографисты и прочий персонал.

Какими бы ни были причины введения этих норм, они оказались неоценимым подспорьем для сохранения порядка и нормального рассудка среди тех, кто трудился во множестве различных служб, задействованных на данном поприще. Да и сама формулировка «языковые нормы» (*Sprachregelung*) была своего рода кодовым обозначением того, что на нормальном языке называлось ложью. Потому что когда «носителю тайн» приходилось встречаться с кем-то из внешнего мира – так, например, когда Эйхмана послали в Терезин, чтобы он поводил по гетто представителей Красного Креста из Швейцарии, – он получал помимо приказов и свой набор «языковых норм»: в том конкретном приказе Эйхману содержалась рекомендация выдать представителям Красного Креста откровенное вранье о якобы разразившейся в лагере Берген-Бельзен эпидемии тифа, поскольку благородные джентльмены намеревались съездить и туда.

Смысл такой языковой системы заключался не в том, чтобы исполнители не понимали, чем им следует заниматься, а в том, чтобы отучить их сравнивать «языковые нормы» с их прежним, «нормальным» пониманием того, что есть убийство и что есть ложь. Огромная восприимчивость Эйхмана к клише и расхожим фразам вкупе с его неспособностью к речи обычной превратила его в идеального носителя «языковых норм».

Но система, однако, не была полностью защищена от реальности, в чем вскоре убедился и сам Эйхман. Он отправился в Люблин на встречу с бригаденфюрером Одило Глобчниц-

ком, бывшим гаулейтером Вены, но отнюдь не для того, чтобы, как утверждало обвинение, «лично передать ему секретный приказ о физическом уничтожении евреев», поскольку Глобочник знал об этом и до Эйхмана: в разговоре Глобочник, словно пароль, призванный показать, что он «из своих», использовал словосочетание «окончательное решение».

Аналогичное утверждение обвинения, демонстрировавшее, до какой степени оно заблудилось в бюрократическом лабиринте Третьего рейха, касалось и Рудольфа Хёсса, коменданта Освенцима, – обвинение полагало, что Хёсс получал приказы фюрера также через Эйхмана. Эту ошибку использовала защита, заявив, что у таких обвинений нет «подкрепляющих улик». На самом деле во время своего процесса Хёсс показал, что в июне 1941 года он получал приказы непосредственно от Гимmlера и добавил, что Гимmlер сообщил ему: Эйхман прибудет, чтобы обсудить с ним некоторые «детали». Детали, писал Хёсс в своих мемуарах, касались использования газа – и этот факт Эйхман упорно отрицал. Возможно, он и не лгал, потому что другие источники противоречат этим воспоминаниям Хёсса, утверждая, что устные или письменные распоряжения об уничтожении всегда поступали в лагеря через ВВХА и отдавались либо шефом этого управления, обергруппенфюрером Освальдом Полем, либо бригаденфюрером Рихардом Глюксом, непосредственным начальником Хёсса. А к использованию газа Эйхман вообще никакого отношения не имел. «Детали», которые ему приходилось регулярно обсуждать с Хёссом, касались «убийстваемости» лагеря – сколько транспортов в неделю он может принять – и, возможно, планов расширения.

Глобочник вел себя с Эйхманом весьма любезно и вместе с одним своим подчиненным показал ему окрестности Любмина. Они ехали по дороге через лес, справа от которого находились обычные дома, в которых жил рабочий класс. Капитан регулярной полиции (возможно, то был криминалкомиссар Кристиан Вирт, который под патронажем канцелярии фюрера отвечал за техническую сторону умерщвления газом «смертельно больных людей» в самой Германии) вышел их поприветствовать, проводил в несколько небольших деревянных домиков и принялся «грубым, хамским голосом» объяснять, «как он все замечательно устроил – там поставили мотор от русской подводной лодки и он будет работать и подавать угарный газ внутрь домов и убивать евреев. Для меня это звучало чудовищно. Я не такой мужественный, чтобы переносить подобные вещи без реакции... Если мне сегодня покажут зияющую рану, я, наверное, не смогу на нее смотреть. Такой вот я человек, мне поэтому часто говорили, что я никогда не смог бы стать врачом. Я до сих пор помню, как я себе это представил, и мне стало физически плохо, как если бы я пережил большое волнение. Такое со всяким может случиться, и потом у меня все внутри тряслось».

Что ж, ему повезло, потому что он видел только, как подготавливаются к будущей работе камеры-душегубки Треблинки, одного из шести лагерей смерти на Востоке, в котором должны будут умереть несколько сотен тысяч человек. Вскоре, осенью того же года, его непосредственный начальник Мюллер отправил его с инспекцией центра смерти, расположенного в Вартегау, в вошедших в состав рейха западных областях Польши. Этот лагерь смерти располагался в Кульме (или, по-польски, в Хелмно), там в 1944 году было уничтожено до трех-

сот тысяч евреев со всей Европы, поначалу «переселенных» в гетто Лодзи. Здесь работа уже кипела вовсю, но метод был другим: вместо газовых камер использовались специальные автомашины-фургоны – людей травили выхлопным газом. Вот что увидел Эйхман: евреев согнали в большое помещение, приказали раздеться донага, затем прибыл фургон, который остановился прямо у входа, и обнаженным евреям приказали в него лезть. Двери за ними закрылись, и грузовик отъехал. «Я не могу сказать [сколько именно евреев влезло в фургон], я не мог на это смотреть. Не мог, не мог, мне было плохо. Эти крики и... Я очень расстроился и все такое, как я потом и доложил Мюллеру, но большого толка от моего доклада не было. Я потом поехал вслед за фургоном и увидел самое ужасающее зрелище, такого я в своей жизни еще не видел. Грузовик подъехал к разрытому рву, двери открылись, и начали вываливаться тела, казалось, они еще живые, потому что они были мягкие. Их сбросили в ров, и я до сих пор вижу какого-то гражданского, который щипцами выдергивал зубы. Больше я выдержать не мог, я вскочил в машину и долгое время молчал. В тот раз я несколько часов просидел рядом с моим водителем, но не мог открыть рта. Я больше не мог. Мне было плохо. Я только помню, что врач в белом халате предложил мне заглянуть в окошко в грузовике, пока они еще были там. Я отказался. Я не мог. Мне надо было срочно уехать оттуда».

Но вскоре ему пришлось увидеть нечто еще более ужасное. Это случилось, когда его послали в Минск, в Белоруссию – отправлявший его Мюллер сказал: «В Минске они евреев расстреливают. Я хочу, чтобы вы подготовили мне отчет о том, как это происходит».

И он поехал, и поначалу ему вроде как повезло, потому что ко времени его прибытия, так уж получилось, «дело практически было завершено», что несказанно его обрадовало. «Только несколько молодых стрелков все еще стреляли в головы лежавших во рву людей». Но и «этого было для меня достаточно, я вдруг увидел женщину, руки у которой были заброшены назад, у меня подогнулись колени и я потерял сознание».

По дороге обратно он решил сделать остановку во Львове – это показалось ему хорошей идеей, поскольку Львов (или Лемберг) когда-то был австрийским городом, и здесь он «впервые после всех этих ужасов увидел приятную картину. Там был вокзал, построенный в честь шестидесятой годовщины правления Франца-Иосифа» – этот период Эйхман всегда «обожал», потому что еще в родительском доме слышал рассказы о том, какая тогда была замечательная жизнь и как родственники его мачехи (при этом он дал понять, что имелись в виду еврейские родственники) обрели высокий социальный статус и сколотили хорошее состояние. Вид вокзала настолько порадовал глаз, что он позабыл обо всех ужасах. Вокзал он запомнил в мельчайших деталях – например, что на нем была выгравирована дата строительства. Но потом, во время своего пребывания в очаровательном Львове, он совершил большую ошибку. Он посетил начальника местного СС и сказал ему: «Это ужасно, то, что здесь происходит: я видел молодых людей, превращенных в садистов. Как можно такое делать? Просто стрелять в женщин и детей? Это невозможно. Наши люди сойдут с ума, спятят, наши собственные люди». Но проблема заключалась в том, что во Львове творилось то же самое, что и в Минске, и местное начальство горе-

ло желанием «показать достопримечательности», хотя Эйхман и пытался вежливо отказаться. И там он снова увидел «ужасное зрелище. Здесь тоже был ров, и он тоже был заполнен до отказа, тела уже забросали землей, и из-под земли фонтанами била кровь. Такого я раньше никогда не видел. Я был по горло сыт своей командировкой, вернулся в Берлин и доложил группенфюреру Мюллеру».

Но и это был еще не конец. Хотя Эйхман сказал Мюллеру, что он «недостаточно мужественен» для таких зрелищ, что он никогда не был солдатом, никогда не был на фронте, никогда не участвовал в бою, что он не может спать и его мучают кошмары, через девять месяцев Мюллер снова послал его в Люблинское воеводство, где пылавший энтузиазмом Глобочник уже закончил свои приготовления. Эйхман снова говорил о том, что такого ужасного зрелища он еще никогда в жизни не видел. Прибыв на место, он его поначалу не узнал – деревянные домики исчезли. Вместо них тот же самый человек с хамским голосом подвел его к железнодорожной станции, на которой было написано «Треблинка». Она выглядела точь-в-точь, как любая немецкая станция – с теми же зданиями, указателями, часами, сооружениями, но это была великолепная имитация. «Я старался держаться как можно дальше, я не мог заставить себя разглядывать это. Но все равно я видел, как колонна обнаженных евреев вошла в большой зал, и там их должны были отравить газом. Там их и убили, как мне сказали, чем-то, что называлось циановой кислотой».

На самом деле Эйхман видел не многое. Он действительно неоднократно бывал в Освенциме, самом большом и самом известном из лагерей смерти, но все-таки Освенцим, зани-

мавший в Верхней Силезии огромную площадь в восемнадцать квадратных миль, служил не только лагерем уничтожения: это было огромное заведение с более чем сотней тысяч заключенных, среди которых были и неевреи, и те, кто был занят рабским трудом, а их уничтожать не предполагалось. Там было легче избегать столкновений с «ужасающими зрелищами», а Хёсс, с которым у него сложились вполне дружеские отношения, на этом и настаивал. Эйхман никогда не присутствовал на массовых расстрелах, он на самом деле никогда не видел самого процесса убийства газом или отбора тех, кто годен для работы – в среднем для работы отбиралась четверть всех направленных в Освенцим. Но он видел достаточно, чтобы ясно представлять себе, как работала машина смерти, чтобы понимать, что существуют два метода – расстрелы и умерщвление газом, что расстрелы осуществлялись айнзацгруппами, а газом убивали в лагерях – в газовых камерах или в фургонах-душегубках, и что в лагерях предпринимали все меры, чтобы жертвы до самого конца не понимали, что их ждет.

Полицейские записи, цитаты из которых я привела, звучали в зале суда во время десятого из ста двадцати одного заседания, на девятый день, – а процесс длился почти девять месяцев. Ничего из того, что произносил обвиняемый странно бестелесным голосом, который звучал из магнитофона – вдвойне бестелесным, поскольку тело, которому принадлежал голос, присутствовало здесь же, но из-за толстого окружавшего его стекла кабинки казалось пустой оболочкой, – ни он, ни его защитник доктор Сервациус не опровергали: доктор Сервациус лишь заметил, что «позже, когда защите будет дозволено выска-

заться», он также представит суду некоторые из показаний, данных обвиняемым во время полицейского расследования. Однако доктор Сервациус этого так и не сделал.

Думалось, что защитник мог бы высказаться сразу же, поскольку уголовное судопроизводство против обвиняемого на этом «историческом процессе» казалось завершенным, а версия обвинения – установленной. Факты по делу, то есть то, что было совершено Эйхманом – хотя далеко не все из того, что вменялось ему в вину, он действительно совершил, – обсуждению никогда не подвергались, они были установлены задолго до начала процесса, и он снова и снова в них признавался. Фактов, за которые его следовало бы вздернуть, было более чем достаточно, и он сам однажды на это указал. («Разве вам не достаточно?» – возразил он, когда следователь-полицейский пытался приписать ему возможности, которыми он никогда не располагал.) Но поскольку он был задействован в транспортировке, а не в самих убийствах, вопрос оставался – юридический, формальный, в конце концов, вопрос: а ведал ли он, что творил? Существовал еще один, дополнительный вопрос: позволяло ли его положение судить о масштабе его действий – то есть, нес ли он ответственность по закону, поскольку с медицинской точки зрения он был признан вменяемым? На оба вопроса были получены утвердительные ответы: он видел те места, в которые отправлял транспорты, и то, что он видел, донельзя его шокировало. Но оставался один, последний вопрос, самый тревожащий, и судьи, особенно судья-председатель, задавали его снова и снова: шло ли убийство евреев вразрез с его совестью? Однако это был вопрос морали, и ответ на него вряд ли мог быть юридически релевантным.

Но если факты по делу установлены, возникают два других юридических вопроса. Первый: может ли он быть освобожден от уголовной ответственности, если, как предусматривает статья 10 закона, в соответствии с которым его судят, он совершал все эти поступки «ради спасения себя от угрозы немедленной смерти»? И второй: мог ли он сослаться на смягчающие обстоятельства, как они перечислены в статье 11 того же закона – сделал ли он «все от него зависящее, чтобы уменьшить серьезность последствий преступления» или «чтобы предотвратить последствия, более серьезные, чем те, которые последовали»?

Очевидно, статьи 10 и 11 Закона о наказании и преследовании нацистских преступников и их пособников от 1950 года принимались в расчете на еврейских «пособников». Еврейские зондеркоманды (специальные команды) использовались повсеместно, но они совершали преступления «ради спасения себя от угрозы немедленной смерти», а еврейские советы и старейшины сотрудничали для того, «чтобы предотвратить последствия, более серьезные, чем те, которые последовали». В своих показаниях Эйхман дал ответы на оба вопроса, и оба были четко отрицательными.

Однажды он сказал, что единственной альтернативой для него могло быть лишь самоубийство, но это неправда, так как мы знаем, с какой поразительной легкостью члены занимавшихся уничтожением подразделений могли уйти в отставку или перевестись – безо всяких для них последствий; да он и сам на этой своей единственной альтернативе не настаивал, для него это была очередная фигура речи. Он прекрасно сознавал, что его положение отличается от «трудного положения» солдата, «которого, если он не выполнит приказа, могут расстрелять по приговору во-

енного суда, а если выполнит, его повесят по приговору суда присяжных», как выразился Дайси* в его знаменитом «Конституционном праве»: как член СС Эйхман не подлежал юрисдикции военного суда – судить его мог только трибунал СС и полиции.

В своем последнем заявлении Эйхман признал, что мог бы под тем или иным предлогом – как поступали другие – устраниваться. Но он всегда считал такой поступок «недопустимым» и даже сейчас не находил в нем ничего «достойного восхищения», поскольку это означало всего лишь переход на другую высокооплачиваемую работу. Послевоенные рассказы об открытом неповиновении – не более чем сказочки: «В тех обстоятельствах подобное поведение было невозможным. И никто так не поступал». Это было «немыслимо». Вот если бы ему пришлось стать комендантом лагеря смерти, подобно его хорошему другу Хёссу, тогда бы он точно покончил с собой, поскольку был не способен на убийство.

Хёсс совершил убийство еще в юности. Он «казнил» некоего Вальтера Кадова, человека, предавшего Лео Шлагетера* – националиста-террориста из Рейнской области, которого фашисты впоследствии сделали национальным героем: Кадов передал

* Альберт Венн Дайси (1835–1922) – знаменитый британский юрист и теоретик конституционного права.

** Альберт Лео Шлагетер (1894–1923) – один из главных «мучеников» в нацистском мартирологе. Был членом «Добровольческого корпуса» на территории Рура, оккупированного французами после Первой мировой войны. Арестован французскими властями, обвинен в шпионаже и саботаже и казнен.

Шлагетера французским оккупационным властям; за это «политическое убийство» немецкий суд приговорил Хёсса к пяти годам тюремного заключения. В Освенциме же Хёссу своими руками никого убивать не приходилось.

Однако весьма сомнительно, что Эйхману когда-либо предложили бы подобный пост, поскольку те, кто отдавал приказы, «прекрасно знали пределы каждого человека». Нет, перед ним не стояла «угроза немедленной смерти», а поскольку он с большой гордостью заявлял, что всегда «выполнял свой долг», подчинялся всем приказам, как того требовала от него присяга, то, конечно, он изо всех сил старался увеличить «серьезность последствий преступления», а не уменьшить их. Единственным «смягчающим обстоятельством», которое он мог привести, было стремление при выполнении своей работы «по возможности избегать ненужных мучений»: задаваться вопросом, правдиво ли это утверждение и действительно ли он следовал своему стремлению, даже и не нужно, поскольку в данном конкретном случае смягчающим обстоятельством это вряд ли можно назвать – в стандартных директивах, которые он получал, значилось и указание «по возможности избегать ненужных мучений».

Таким образом, после того как суду были представлены магнитофонные записи, смертный приговор был вполне очевидным даже с юридической точки зрения, хотя можно было бы попытаться смягчить его на основании того, что преступные деяния совершались по приказу свыше – такая возможность также предоставлялась статьей 11 упоминавшегося израильского закона. Однако ввиду масштабности преступления эта возможность представлялась маловероятной.

Важно помнить, что защита говорила не о приказах свыше, а об «актах государственной власти», и на этом основании просила об освобождении от ответственности – такую стратегию доктор Сервациус уже безуспешно пытался применять в Нюрнберге, когда защищал Фрица Заукеля – уполномоченного по нормам выработки в ведомстве Геринга, отвечавшего за выполнение четырехлетнего плана. На его совести – уничтожение десятков тысяч польских евреев, занятых рабским трудом, за что он и был должным образом повешен в 1946 году. «Акты государственной власти», которые в немецкой юриспруденции еще более выразительно называются *gerichtsfreie* или *justizlose Hoheitsakte*, опираются на «применение суверенного права» (см. И.С.С. Уэйд в «Британском ежегоднике международного права», 1934) и, следовательно, полностью находятся вне правовой сферы, в то время как все приказы и команды, по крайней мере теоретически, все-таки находятся под юридическим контролем. Если то, что совершал Эйхман, было «актами государственной власти», тогда никто из его руководителей, даже Гитлер, глава государства, не могли бы быть осуждены ни одним судом. Теория «актов государственной власти» так удачно согласовывалась со взглядами доктора Сервациуса, что не удивительно, что он снова попытался ее применить; удивительно, что он не стал использовать аргумент о приказах свыше как смягчающее вину обстоятельство после того как было зачитано заключение суда и перед тем как был вынесен приговор.

Конечно, в данном случае можно было только порадоваться, что этот процесс отличался от обычного, во время которого любые показания, не имеющие отношения к данному уго-

ловному преследованию, должны быть отброшены как не относящиеся к делу и несущественные. Совершенно очевидно, все было не так просто, как могли представить себе те, кто формулировал законы, и хотя в юридическом плане вопрос о том, сколько времени требуется обыкновенному человеку, чтобы подавить свое врожденное отвращение к преступлению, и что именно происходит с ним, когда он достигает перелома, не имеет большого значения, в плане политическом он представляет огромный интерес. И вряд ли какое иное дело, кроме дела Адольфа Эйхмана, может дать на этот вопрос ответ, более ясный и недвусмысленный.

В сентябре 1941 года, вскоре после первых официальных визитов в центры умерщвления на Востоке, Эйхман, в соответствии с «пожеланием» Гитлера, который приказал Гимmlеру как можно скорее сделать рейх *judenrein*, организовал первые массовые депортации из Германии и протектората. Первым транспортом были отправлены двадцать тысяч евреев из Рейнской области и пять тысяч цыган. С этим транспортом произошла странная история. Эйхман, который никогда не принимал самостоятельных решений, который всегда стремился прикрыться приказами, который – и это подтверждалось показаниями практически всех, кто с ним работал, – никогда не проявлял инициативы и всегда требовал «директив», сейчас, «в первый и последний раз», инициативу проявил, при этом она противоречила приказам: вместо того чтобы отправить этих людей на захваченные у России территории, в Ригу или Минск, где айнзацгруппы мгновенно бы их расстреляли, он направил транспорт в гетто Лодзи, где, как он знал, еще никакой работы

по подготовке к уничтожению не велось – только потому, что отвечавший за это гетто начальник окружного управления, некий Убельгер, нашел способ извлекать из «своих евреев» значительную выгоду.

Фактически лодзинское гетто было первым из созданных и последним из уничтоженных – те его обитатели, которых пощадили болезни и голод, дожили до 1944 года.

Это решение принесло Эйхману немало проблем. Гетто и так было переполнено, и господин Убельгер не желал принимать вновь прибывших, и уж тем более как-то их размещать. Он до такой степени рассвирепел, что нажаловался Гиммлеру: Эйхман-де обманул его и его людей своими «конокрадскими приемчиками, которым научился у цыган». Но Гиммлер, как и Гейдрих, благоволил Эйхману, и эта ошибка вскоре была прощена и предана забвению.

В первую очередь забыл о ней сам Эйхман, который ни разу не упомянул об этой истории ни во время полицейского дознания, ни в своих мемуарах. Когда он давал показания в суде и его адвокат показал ему соответствующие документы, он просто сказал, что у него был «шанс»: «В первый и последний раз у меня появился шанс... Я имею в виду Лодзь... Если бы в Лодзи возникли сложности, этих людей отправили бы дальше на Восток. А поскольку я уже видел, как ведется подготовка, я твердо решил сделать все от меня зависящее, чтобы послать этих людей в Лодзь».

Защитник пытался представить этот инцидент таким образом, чтобы показать: Эйхман по мере своих возможностей пытался спасти евреев – но это было явной ложью. Обвини-

гель, который в связи с этим инцидентом подверг Эйхмана перекрестному допросу, в свою очередь пытался продемонстрировать, будто Эйхман самостоятельно определял пункты назначения отправляемых им транспортов и тем самым решал, какой из транспортов будет уничтожен – и это тоже не соответствовало истине. Сам Эйхман пояснил, что он вовсе не ослушался приказа, а всего лишь воспользовался «шансом», и это тоже оказалось неправдой: он отлично знал, что в Лодзи непременно возникнут проблемы, поэтому его приказ можно читать так: пункт назначения – Минск или Рига. Но хотя Эйхман обо всем этом позабыл, все равно этот пример – единственный, когда он действительно попытался спасти евреев.

Однако три недели спустя Гейдрих созвал в Праге совещание, на котором Эйхман заявил, что «в лагерях, используемых для задержания [русских] коммунистов [а эту категорию айнзацгруппы должны были ликвидировать на месте], могут также содержаться и евреи» и что он «достиг соглашения» по этому вопросу с местными комендантами; там также припомнили историю с лодзинским гетто, и в результате было решено послать пятьдесят тысяч евреев из рейха (включая Австрию, Богемию и Моравию) в центры в Риге и Минске, где действовали айнзацгруппы.

Таким образом, мы можем ответить на вопрос судьи Ландау – вопрос, над которым размышляли все присутствовавшие на процессе: есть ли у обвиняемого совесть? Да, у него есть совесть, и его совесть подсказывала ему в течение четырех недель одни решения, а потом начала подсказывать решения прямо противоположные.

Но даже в течение тех четырех недель, когда его совесть функционировала, как и положено совести, у деятельно-

сти ее имелись странные ограничения. Мы должны вспомнить, что еще до того как его проинформировали о приказе фюрера, Эйхман уже знал об убийствах, которые совершали айнзацгруппы на Востоке; он знал, что в немецком тылу сразу же начинались массовые расстрелы всех русских функционеров («коммунистов»), всех польских профессионалов и всех местных евреев. Более того, в июле того же года, за несколько недель до вызова к Гейдриху, он получил меморандум от одного эсэсовского чина из Вартегау, в котором тот сообщал, что «в предстоящую зиму евреев нечем будет кормить», и представлял к рассмотрению предложение: «не гуманнее ли было бы убить евреев, которые не способны самостоятельно и быстро решить эту проблему. Это, во всяком случае, куда гуманнее, чем оставить их умирать от голода». В сопровождавшем меморандум письме, адресованном «дорогому камраду Эйхману», автор писал, что «эти предложения могут порою казаться фантастическими, однако они вполне выполнимы». Эта фраза указывает на то, что автору был пока неведом куда более «фантастический» приказ фюрера, но что такие идеи уже витали в воздухе.

Эйхман никогда не упоминал этого письма, возможно потому, что он ни в малой степени не был им шокирован. Поскольку это предложение касалось исключительно *местных евреев*, а отнюдь не евреев из рейха или других западных стран. Его совесть не протестовала против убийства евреев вообще, ему претило убийство немецких евреев.

«Я никогда не отрицал, что знал, что айнзацгруппам было приказано убивать, но я не знал, что та же участь ожидала эвакуированных на Восток евреев из рейха. Этого я не знал».

Та же петрушка произошла и с совестью некоего Вильгельма Кубе, старого партийца и генерального комиссара оккупированной Белоруссии, который был возмущен, когда на «специальную обработку» в Минск прислали немецких евреев, да еще награжденных Железным крестом. Поскольку Кубе умел лучше выражать свои мысли, нежели Эйхман, по тому, что писал он, мы можем судить о том, что творилось в голове у самого Эйхмана и что именно терзало его совесть: «Я человек мужественный и я готов содействовать решению еврейского вопроса, – писал Кубе своему руководству в декабре 1941 года, – но люди, которые прибыли из нашей культурной среды, несомненно, отличаются от местных звероподобных орд».

Этот тип совести, которая если и протестовала, то против убийства людей «из нашей культурной среды», пережила гитлеровский режим: среди сегодняшних немцев существует упорное «заблуждение», что вырезали «исключительно» *Ostjuden*, восточноевропейских евреев.

Этот вопрос совести, столь волнующий всех присутствовавших на процессе в Иерусалиме, ни в коей мере не тревожил нацистский режим. Напротив, ввиду величайшей редкости высказываний, подобных высказываниям Кубе, и ввиду того факта, что вряд ли кто из участников антигитлеровского заговора июля 1944 года вообще упоминал о массовых убийствах на Востоке в своей переписке или в заявлениях, которые они подготовили на случай, если попытка убить Гитлера окажется успешной, можно прийти к выводу, что нацисты слишком уж переоценили практическое значение проблемы.

Среди худших эпитетов, которыми награждали Гитлера его высокосознательные оппоненты, были слова «мошенник», «дилетант», «безумец» (заметьте, происходило это на последних

стадиях войны) и – время от времени – «демон», «воплощение зла»: в Германии такими эпитетами порою награждают уголовных преступников. И никто из них не назвал его убийцей. Его преступления состояли в том, что он «вопреки совету специалистов пожертвовал целыми армиями»; порою упоминались концлагеря в Германии, куда ссылались политические противники, но практически никогда не упоминались лагеря смерти и айнзацгруппы – а ведь в заговоре участвовали те самые люди, которые лучше других знали о том, что происходило на Востоке. Эти люди, которые осмелились восстать против Гитлера, заплатились своими жизнями, и их смелость достойна восхищения, но их поступок был рожден не кризисом совести или знанием того, на какие муки были обречены другие: их подтолкнула к этому поступку исключительно убежденность в грядущем поражении и крахе Германии.

Такие люди, как философ Карл Ясперс* из Гейдельберга, или писатель Фридрих П. Рек-Маллечевен**, который был убит в концлагере незадолго до конца войны, были редким исключением, и в антигитлеровском заговоре они не участвовали. В своем почти неизвестном «Дневнике отчаявшегося человека» (*Tagebuch eines Verzweifelten*, 1947) Рек-Маллечевен писал об «уничтожении целых народов», а когда он узнал о провале покушения на жизнь Гитле-

* Карл Теодор Ясперс (1883–1969) – немецкий философ, психолог и психиатр, один из главных представителей экзистенциализма. В 1937 году Ясперс был лишен звания профессора и фактически постоянно находился под угрозой ареста вплоть до окончания Второй мировой войны.

** Фридрих Рек-Маллечевен погиб в Дахау в феврале 1941 года.

ра, о чем он, конечно, сожалел, он написал о тех, кто готовил покушение: «Теперь, когда банкротство уже невозможно скрыть, они предали этот разрушающийся дом, чтобы создать себе политическое алиби – это были те же люди, которые перед этим предали все на своем пути к власти», – он не испытывал на их счет никаких иллюзий. Самой объективной и содержащей самое большое количество документов работой по этому вопросу является неопубликованная докторская диссертация «Кризис политического управления в немецком сопротивлении нацизму – его природа, происхождение и последствия», которую написал Джордж К. Ромоузер (Чикагский университет, 1958), она подтверждает суждение Рек-Маллечевена, за исключением нескольких незначительных определений, касающихся идеологических вопросов.

И хотя определенные нарекания и слышались, в особенности от членов «кружка Крайзау*» – в нем говорили о том, что главенство закона «растоптано сапогами», – по черновику письма, адресованного бывшим бургомистром Лейпцига, а затем главой заговорщиков Карлом Фридрихом Гёрделером**

* «Кружок Крайзау» получил свое название от поместья Крайзау, где собирался узкий круг политических единомышленников. Кружок состоял из сравнительно молодых аристократов. Его глава – владелец Крайзау, граф Гельмут Мольтке, – был экспертом по международному праву в Генеральном штабе и одновременно агентом военной разведки.

** Карл Фридрих Гёрделер был обер-бургомистром Лейпцига в 1930–1937 годах. В 1944 году возглавил Июльский заговор. После провала покушения на Гитлера 20 июля 1944 года был арестован и казнен.

фельдмаршалу фон Клюге, мы можем судить, что преступления не особо беспокоили противников Гитлера. В этом документе, датированном летом 1943 года, когда возглавляемая Гиммлером программа уничтожения достигла своего максимального размаха, Гёрделер предлагал считать Геббельса и Гиммлера потенциальными союзниками, «поскольку эти двое уже поняли, что ставку на Гитлера они проиграли». Гёрделер обращался к «голосу совести» Клюге, но это всего лишь означало, что даже вояка должен понимать, что «продолжать войну, не имея ни одного шанса на победу, – это явное преступление».

Совесть как таковая в Германии явно куда-то пропала, причем настолько бесследно, что люди о ней почти и не вспоминали и не могли даже представить, что внешний мир не разделяет этот удивительный «новый порядок немецких ценностей». А чем еще можно объяснить тот факт, что из всех людей именно Гиммлер в последние годы войны возмечтал о блистательной роли переговорщика от имени пораженной Германии с силами союзников? Потому что Гиммлера, кем бы он ни был, идиотом все-таки считать нельзя.

Из всех бонз в нацистской иерархии самым искушенным в решении возникавших перед совестью вопросов был именно Гиммлер. Именно он придумывал лозунги вроде знаменитого лозунга СС, выданного из речи, произнесенной Гитлером перед ее членами в 1931 году: «Моя честь – моя преданность» – одно из тех клише, которые Эйхман называл «крылатыми словами», а судьи – «пустопорожней болтовней». Как вспоминал Эйхман, Гиммлер обычно одаривал ими в конце каждого года – что-то вроде рождественского бонуса.

Эйхман запомнил лишь один из таких лозунгов и постоянно его повторял: «Существуют сражения, которые будущим поколениям уже не придется вести» – этот лозунг явно намекал на «сражения» с женщинами, детьми, стариками и другими «лишними ртами».

А вот примеры других фраз, с которыми Гиммлер обращался к командирам айнзацгрупп и высшим чинам СС и полиции: «Держаться до конца, невзирая на слабости человеческой природы, сохранять сдержанность – вот что составляет нашу силу. Эта страница в нашей истории еще никогда не была написана и больше не будет написана никогда». Или: «Приказ решить еврейский вопрос – самый устрашающий приказ из всех, который может получить любая организация». Или: «Мы понимаем, что мы ожидаем от вас “сверхчеловеческого”, что вы будете “сверхчеловечески бесчеловечными”». И, надо сказать, его ожидания были оправданы.

Однако стоит отметить, что Гиммлер редко прибегал к идеологическим формулировкам, а если и прибегал, то такие лозунги быстро забывались. В мозгах этих людей, превратившихся в убийц, застревала лишь мысль о том, что они участвуют в чем-то историческом, грандиозном, не имеющем равных («великая задача, решать которую приходится лишь раз в две тысячи лет»), и потому трудновыполнимом. Это важно, потому что эти убийцы не были садистами по своей природе, напротив, руководство предпринимало систематические усилия по избавлению от всех, кто получал от своих действий физическое удовлетворение. Айнзацгруппы набирались из подразделений СС армейского типа, военных соединений, имевших на своем счету ничуть не больше преступлений, чем регулярные

подразделения немецкой армии, а их командирами Гейдрих назначал представителей элиты СС, людей с университетским образованием. И проблему представляла не их совесть, а обычная жалость нормального человека при виде физических страданий. Трюк, который использовал Гиммлер – а он, очевидно, и сам был подвержен таким инстинктивным реакциям, – был одновременно и прост, и высокоэффективен: он состоял в развороте подобных реакций на 180 градусов, в обращении их на самих себя. Чтобы вместо того, чтобы сказать: «Какие ужасные вещи я совершаю с людьми!», убийца мог воскликнуть: «Какие ужасные вещи вынужден я наблюдать, исполняя свой долг, как тяжела задача, легшая на мои плечи!»

Дырявая память Эйхмана на гиммлеровские «крылатые фразы» может служить показателем того, что существовали и другие, более эффективные способы решения проблемы совести. Одним из самых действенных, как и предвидел Гитлер, был сам факт войны. Эйхман снова и снова настаивал на «другом личном взгляде» на смерть, когда «кругом можно было видеть мертвецов» и когда каждый с равнодушием взирал на свою собственную смерть: «Нас не волновало, умрем ли мы сегодня или только завтра, и порою мы проклинали утро, потому что все еще были живы».

Особенно эффективным в этой атмосфере насильственной смерти был тот факт, что «окончательное решение» в своих поздних стадиях осуществлялось не расстрелами, то есть через прямое насилие, а путем умерщвления газом, что было тесно связано с «программой эвтаназии», запущенной Гитлером в первые же недели войны и применявшейся ко всем душевнобольным вплоть до начала войны с Россией. Программа



V



A

VII



III



вничтожения, стартовавшая осенью 1941 года, шла двумя совершенно разными путями. Один вел в газовые камеры, а второй – к айнзацгруппам, чьи операции в тылу армии, особенно в России, осуществлялись под предлогом войны с партизанами, поскольку их жертвами были не только евреи. Помимо реальных партизан айнзацгруппы расстреливали русских функционеров, цыган, преступников, душевнобольных и евреев. Евреи считались «потенциальными врагами», и, к сожалению, прежде чем русские евреи это поняли, прошли месяцы, а тогда бежать было уже слишком поздно.

Старшее поколение помнило Первую мировую войну, когда немецкую армию встречали как освободительницу; ни молодежь, ни старики ничего «не слышали о том, как к евреям относились в Германии или в Варшаве»; как доносила из Белоруссии немецкая разведка, они были «замечательно плохо информированы» (Хилберг). Что еще примечательнее, иногда в этих районах появлялись евреи из Германии, которых присылали сюда в роли «пионеров» Третьего рейха.

Эти мобильные отряды смерти, а их было четыре, каждый размером с батальон, то есть всего в них числилось не более трех тысяч человек, нуждались в поддержке вооруженными силами – и они ее получали; взаимоотношения между ними были обычно «превосходными», а в иных случаях и «сердечными» (*herzlich*). Генералы демонстрировали «удивительно разумный подход к евреям»; они не только передавали евреев в руки айнзацгрупп, но и часто ссужали в помощь мясникам своих людей, обычных солдат. Общее число жертв среди евреев оценивается

Хилбергом почти в полтора миллиона человек, и это – не результат приказа Гитлера о физическом уничтожении всего еврейского народа. Это результат предыдущего приказа, отданного Гитлером Гиммлеру в марте 1941 года: подготовить СС и полицию «к выполнению особых задач в России».

Истоки приказа фюрера об уничтожении всех, а не только русских и польских, евреев уходят в более ранние времена. Он родился не в недрах РСХА и не в других подведомственных Гейдриху или Гиммлеру учреждениях: он был рожден в канцелярии фюрера, в личном кабинете Гитлера. Он не имел ничего общего с войной и никогда в качестве предлога не использовал военную необходимость. Одним из главных достоинств труда Джеральда Рейтлинджера «Окончательное решение» является доказательство, подкрепленное несомненными документальными свидетельствами, что программа уничтожения с помощью газовых камер выросла из гитлеровской программы эвтаназии, и очень жаль, что процесс над Эйхманом, столь озабоченный «исторической правдой», не обратил внимания на эту реальную связь. А это пролило бы некоторый свет на жарко обсуждавшийся вопрос, принимал ли Эйхман, или РСХА, участие в *Gasgeschichten*. Не похоже, что принимал, пусть даже один из его подчиненных, Рольф Гюнтер, по своей собственной инициативе и мог этим заинтересоваться. Например, Глобочник, который построил газовые установки в районе Люблина (тот, которого посещал Эйхман), когда ему требовался дополнительный персонал, обращался не к Гиммлеру или к какому иному полицейскому или эсэсовскому начальству, а к Виктору Браку из канцелярии фюрера, а тот передавал требование Гиммлеру.

Первые газовые камеры были сконструированы в 1939 году в ответ на декрет Гитлера от 1 сентября того же года, в котором говорилось, что «неизлечимым больным должна быть гарантирована милосердная смерть».

Возможно, именно это «медицинское» происхождение и породило поразительное убеждение доктора Сервациуса в том, что умерщвление газом есть «медицинская процедура».

Сама же идея куда старше. Еще в 1935 году Гитлер заявил уполномоченному по народному здоровью рейха Герхарду Вагнеру, что «если начнется война, вопрос об эвтаназии легче будет поднять и выполнить, потому что это проще сделать в военное время». Декрет Гитлера был немедленно приведен в исполнение в отношении душевнобольных, и между декабрем 1939 и августом 1941 года с помощью угарного газа было уничтожено около пятидесяти тысяч немцев – обитателей клиник для умалишенных, где газовые камеры были замаскированы точно так же, как потом это было сделано в Освенциме – под душевые и ваннные комнаты. Но программа с треском провалилась. Было невозможно удержать убийство газом в тайне от немецких граждан, со всех сторон раздавались протесты людей, которые еще не усвоили «целесообразные» взгляды на суть медицины и задачу врача. Умерщвление газом на Востоке – или, говоря языком нацистов, «гуманный метод» убийства, «гарантирующий людям милосердную смерть», – началось почти в тот же день, когда оно прекратилось в самой Германии. Люди, которые выполняли программу эвтаназии в Германии, были теперь посланы на Восток для строительства новых сооружений для

уничтожения целых народов – и эти люди подчинялись либо канцелярии Гитлера, либо министерству здравоохранения рейха и только теперь были переданы под административное начало Гиммлера.

Ни одна из многочисленных «языковых норм», тщательно сконструированных ради обмана и маскировки, не имела более решающего влияния на менталитет убийц, нежели замена слова «убить» на фразу «гарантировать милосердную смерть», произведенная в этом первом военном декрете Гитлера. Когда следователь полиции спросил Эйхмана, не кажется ли ему, что директива о том, что следует избегать «ненужных мучений», звучит несколько иронично, ввиду того что людей ждала неминуемая смерть, тот даже не понял вопроса: настолько крепко в его мозгу засело представление о том, что не убийство является непростительным грехом, а причинение ненужной боли.

Во время процесса Эйхман демонстрировал безошибочные признаки искреннего возмущения, когда свидетели говорили о жестокостях и зверствах, чинимых офицерами СС, хотя суд и большинство присутствовавших просмотрели эти признаки – поскольку его незатейливая попытка сохранять самоконтроль их обманула, они сочли его «несгибаемым» и равнодушным; и в настоящее волнение его привело не обвинение в том, что он послал на смерть миллионы человек, а обвинение (отвергнутое судом), которое сделал один из свидетелей – в том, что Эйхман однажды до смерти забил еврейского мальчика. Не забудем также, что он посылал людей и в те регионы, где действовали айнзацгруппы, которые отнюдь не «гарантировали милосердной смерти», а попросту расстреливали, но потом, на поздних стадиях операции, он, возможно, испытал облегчение:

больше в этом необходимости не было, так как производительность газовых камер значительно выросла. Он наверняка полагал, что новый метод указывает на значительное улучшение подхода нацистского правительства к евреям, потому что с самого начала программы умерщвления газом утверждалось, что преимуществами эвтаназии должны пользоваться истинные германцы.

По мере того как продвигалась война, как все больше было ужасных, жестоких смертей – на русском фронте, в песках Африки, в Италии, на побережье Франции, в руинах немецких городов, – газовые камеры Освенцима и Хелмно, Майданека и Бельцека, Треблинки и Собибора действительно представляли «благотворительными медицинскими учреждениями», как называли их спецы по милосердной смерти. Более того, начиная с февраля 1942 года осуществлявшие эвтаназию команды действовали и на Восточном фронте, дабы «оказывать помощь смертельно раненым среди льдов и снега», и хотя убийства раненых солдат содержались в строгом секрете, о них было известно многим, в том числе и тем, кто осуществлял «окончательное решение».

Неоднократно указывалось, что умерщвление газом душевнобольных было прекращено в Германии благодаря протестам со стороны населения и некоторых мужественных деятелей церкви, однако когда программа переключилась на евреев, никаких протестов не прозвучало, хотя некоторые из центров убийств находились на территории, которая тогда была немецкой, и вокруг них проживали немцы. Правда, в самом начале войны кое-кто все же пытался возражать, но с ходом войны отношение к «безболезненной смерти от газа» из-

менилось – сыграло свою роль и «образование в области эвтаназии». Такого рода вещи доказать трудно: на этот счет нет никаких документов, поскольку все предприятие было окутано завесой тайны, об этом не говорили ни военные преступники, ни адвокаты на «процессе над врачами» в Нюрнберге, хотя в их распоряжении были выдержки из научной литературы со всего света. Возможно, они забыли, каким было общественное мнение в те времена, когда они убивали, возможно, они никогда о нем и не думали, поскольку считали – ошибочно считали, – что их «объективный и научный» подход куда более прогрессивен, чем мнение обычных людей. И все же существует несколько бесценных правдивых свидетельств, которые можно отыскать в дневниках достойных доверия людей, прекрасно сознававших, что их реакцию, их шок не разделяет более никто из окружающих, и эти свидетельства пережили моральный крах целой нации.

Рек-Маллечевен, о котором я уже упоминала, рассказывает о некоей даме-«лидерше», которая летом 1944 года явилась в Баварию, чтобы «подбодрить» тамошних крестьян. Она не тратила времени на разговоры о «чудо-оружии» и победе, а сразу же честно и откровенно перешла к перспективе поражения, по поводу коего добрым немцам вовсе не следует беспокоиться, поскольку фюрер *«в случае если война окончится несчастливо, в великой милости своей подготовил для всех немцев легкую смерть путем отравления газом»*. Автор добавляет: «О нет, я ничего не придумаю, эта милая дама вовсе не мираж, я видел ее собственными глазами: особа под сорок, с желтым цветом лица и с безумными глазами... И что же произошло потом? Может, баварские крестьяне хотя бы сбросили ее в местный пруд, дабы охладить

Р Е Ш Е Н И Е О К О Н Ч А Т Е Л Ь Н О Е . . .

пылкую готовность к смерти? Ничего подобного. Они просто отправились по домам, молча покачивая головами».

Моя следующая история даже более показательна, поскольку в ней говорится не о «лидере» – ее герой, скорее всего, даже не был членом партии. Она произошла в Кёнигсберге, в Восточной Пруссии – совершенно ином уголке Германии, – в январе 1945 года, за несколько дней до того, как русские разрушили город, заняли его и аннексировали всю провинцию. Эту историю в своем *Ostpreussisches Tagebuch* (1961) рассказал граф Ганс фон Лендорф. Он был врачом и оставался в городе, чтобы ухаживать за ранеными солдатами, которых невозможно было эвакуировать; однажды его вызвали в один из огромных центров беженцев из сел, уже занятых Красной армией. Там к нему пристала какая-то женщина, которая показала варикозную вену – эта расширенная вена была у нее давно, но она решила именно сейчас заняться ее лечением, поскольку именно сейчас у нее появилось время. «Я попытался объяснить ей, что для нее сейчас куда важнее выбраться из Кёнигсберга и что лечением можно заняться и потом. Куда бы вы хотели уехать? – спросил я ее. Она не знала, однако она была уверена, что их всех непременно перевезут в рейх. А потом вдруг добавила: *“Русские нас никогда не получают. Фюрер этого не допустит. Скорее он нас всех отравит газом”*. Я украдкой огляделся: это заявление никому не показалось чем-то из ряда вон выходящим».

Эта история, как мне кажется, подобно всем правдивым историям, выглядит незавершенной. По-хорошему, из толпы должен был бы раздаваться еще один голос, предпочтительно женский, который бы с тяжким вздохом произнес: «Но весь этот чудесный дорогой газ потратили на евреев!»

ГЛАВА VII

ВАНЗЕЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ИЛИ ПОНТИЙ ПИЛАТ

Мои заметки по поводу совести Эйхмана строились до сих пор на уликах, о которых сам он позабыл. В его собственном изложении поворот случился не четыре недели, а четыре месяца спустя, в январе 1942 года, во время конференции статс-секретарей (помощников министров), как называли ее сами наци, или Ванзейской конференции, как теперь ее принято называть, поскольку Гейдрих пригласил вышеозначенных господ на виллу в пригороде Берлина. Как указывает формальное название конференции, эта встреча была необходима, потому что «окончательное решение» в масштабах всей Европы явно требовало гораздо большего, нежели молчаливое согласие госаппарата рейха: оно нуждалось в активном сотрудничестве всех министерств и всех государственных служб.

Прошло уже девять лет после прихода Гитлера к власти, и все министерства возглавляли старые партийцы – ими заменили даже тех, кто с самого начала старался «приспособиться» к

режиму. И все-таки не все из них пользовались полным доверием, поскольку не все, подобно Гиммлеру или Гейдриху, были обязаны своими карьерами нацистам, а с теми, кто пользовался, вроде министра иностранных дел Иоахима фон Риббентропа, бывшего торговца шампанским, не особенно считались. Куда более серьезную проблему создавали высокопоставленные госчиновники, разного рода заместители и советники министров, поскольку этих людей, основу основ любого правительства, заменить не так-то просто – и Гитлер был вынужден их терпеть, как вынужден их терпеть Аденауэр, хотя они и скомпрометировали себя выше всякой меры. А поскольку статс-секретари, юридические и другие советники различных министерств часто даже не были членами партии, сомнения Гейдриха в том, что ему удастся заручиться активной поддержкой этих людей в деле массовых убийств, были вполне понятными. Как говорил Эйхман, Гейдрих «предвкушал большие сложности». Что ж, он ошибался.

Целью конференции была координация всех усилий, направленных на осуществление «окончательного решения». Поначалу дискуссия развернулась вокруг «сложных юридических вопросов», таких как отношение к евреям наполовину и на четверть, – следует ли их тоже уничтожать или достаточно только стерилизовать? За этим последовала откровенная дискуссия по поводу «различных типов возможного решения проблемы», что означало различные способы убийств, но и по этому вопросу Гейдриха ждало более чем «удачное согласие части участников»; «окончательное решение» было встречено «огромным энтузиазмом» всех присутствующих, в особенности доктора Вильгельма Штукарта, статс-секретаря министерства внутренних дел, который был известен достаточно сдержан-

ным отношением к «радикальным» мерам партии и являлся, согласно нюрнбергским показаниям доктора Ганса Глобке, упрямым ревнителем законности.

Но были все же и некоторые трудности. Так, статс-секретарь Йозеф Бюхлер, второй человек в генерал-губернаторстве Польши, был раздосадован перспективой эвакуации всех евреев с запада на восток, потому что в Польше стало бы еще больше евреев, – и он предложил отложить эвакуацию до тех пор, пока «окончательное решение» начнется в самом генерал-губернаторстве, в этом случае не возникнет проблем с транспортировкой. Господа из министерства иностранных дел выступили с тщательно составленным меморандумом, в котором выражали «пожелания и мысли министерства иностранных дел в отношении полного решения еврейского вопроса в Европе», однако на этот меморандум никто внимания не обратил. Самым главным, как правильно отметил Эйхман, было то, что различные ветви государственного аппарата не только выражали свои мнения, но и делали вполне конкретные предложения.

Конференция продлилась не более часа-полтора, после чего были поданы напитки и закуски – «скромное светское мероприятие», призванное укрепить необходимые личные контакты. Для Эйхмана это было очень важным событием, потому что ему еще никогда не приходилось общаться со столь многими «высокопоставленными лицами» – несомненно, из всех присутствовавших он имел самый низкий чин и социальный статус. Его задачей было рассылать приглашения и готовить некоторый статистический материал (полный невероятных ошибок) для вступительной речи Гейдриха, ведь было необходимо уничтожить одиннадцать миллионов евреев – согласитесь, задача,

требовавшая немалого размаха, – ему также было поручено подготовить протокол. Короче говоря, он выступал в роли секретаря конференции. Вот почему, после того как благородные господа удалились, он был допущен посидеть у камелька со своим непосредственным шефом Мюллером и с Гейдрихом, «и тогда я впервые узнал, что Гейдрих курит и выпивает». Они «не говорили о делах, но наслаждались отдыхом после долгих часов работы», поскольку испытывали глубокое удовлетворение и – в особенности Гейдрих – пребывали в приподнятом состоянии духа.

Эта конференция стала для Эйхмана незабываемым событием еще по одной причине. Хотя он вносил свой трудовой вклад в дело «окончательного решения», его все еще одолевали сомнения об уместности «такого кровавого решения путем насилия», но теперь эти сомнения были рассеяны. «Здесь, на этой конференции, выступали выдающиеся люди, столпы Третьего рейха». И теперь он своими глазами увидел и своими ушами услышал, что не только Гитлер, не только Гейдрих и «сфинкс» Мюллер, не только СС и партия, но и элита старой доброй государственной службы сражалась за честь возглавить этот «кровавый» процесс. «В этот момент я почувствовал то, что чувствовал Понтий Пилат, я был свободен от вины». *Ну кто он такой, чтобы осуждать?* Ну кто он такой, «чтобы иметь собственное мнение по этому делу»? Что ж, он не первый и не последний, кто пострадал от чрезмерной скромности.

Как помнил Эйхман, последовавшие события развивались более-менее гладко и вскоре превратились в рутину. Он быстро стал экспертом по «принудительной эвакуации» – таким же авторитетным, каким он был в деле «принудительной эмиграции». В каждой из стран евреи сначала должны были за-

регистрироваться, затем их обязывали надеть желтые значки, нашивки, повязки, чтобы проще было опознавать, затем их собирали вместе и депортировали. Транспорты с евреями отправлялись в различные центры уничтожения на Востоке – в зависимости от пропускной способности на данный момент. Когда груженный евреями состав прибывал в пункт назначения, проводилась селекция – одних, кто посильнее, отправляли на работу, в том числе обслуживать установки для уничтожения, других, кто послабее, убивали сразу. Случались, конечно, и сбои, но не часто.

Министерство иностранных дел было в контакте с властями тех стран, которые были либо оккупированы, либо присоединились к нацистам по доброй воле, дабы оказывать на них необходимое давление, если те медлили с депортацией своих евреев, либо, а такое случалось, не допускать, чтобы они отправляли евреев на Восток по собственной инициативе, не в должном порядке или без учета пропускной способности центров смерти. (Как вспоминал Эйхман, дело это было непростым.)

Специалисты по юриспруденции писали законы, необходимые для лишения жертв гражданства, что было важным по двум причинам: во-первых, это лишало страны возможности наводить справки об их судьбе, а во-вторых, позволяло странам, откуда их вывозили, на полном законном основании конфисковать их собственность.

Министерство финансов и рейхсбанк подготовили площадки для приемки могучего потока ценностей, хлынувшего со всей Европы, включая наручные часы и золотые зубы, – все это сортировалось в недрах рейхсбанка и затем отправлялось на Прусский государственный монетный двор.

Министерство транспорта без сбоев – даже когда подвижного состава не хватало – предоставляло необходимое количество железнодорожных вагонов, обычно товарных, и неукоснительно следило за тем, чтобы спецсоставы не нарушали расписания других поездов.

Юденраты получали от Эйхмана или его подчиненных информацию, сколько евреев требовалось для наполнения очередного состава, и составляли списки на депортацию. Евреи регистрировались, заполняли бесконечные бланки и длинные опросные листы касательно их собственности, чтобы было проще ее отобрать; затем их собирали на сборных пунктах и загружали в поезда. Тех немногих, кто пытался спрятаться или сбежать, разыскивала специальная еврейская полиция. Как Эйхман мог убедиться сам, никто не протестовал, никто не отказывался от сотрудничества. *«Immerzu fahren hier die Leute zu ihrem eigenen Begräbnis»* («День за днем люди отправлялись на свои собственные похороны»), – писал в Берлине в 1943 году один еврейский наблюдатель.

Но вряд ли простой покорности было достаточно, чтобы снизить сложность столь громоздкой операции, которая вскоре должна была охватить все оккупированные и присоединившиеся к нацистам страны, и вряд ли ее было достаточно, чтобы успокоить совесть исполнителей, которые все-таки были воспитаны на заповеди «Не убий» и стихе из Библии «Ты убил и еще вступаешь в наследство?»*» – этот стих был весьма

* «Третья книга Царств», глава 21, стих 19.

уместно процитирован в заключении иерусалимского окружного суда. То, что Эйхман назвал «смертельным вихрем», закружившим над Германией после огромных потерь под Сталинградом – массированные бомбардировки немецких городов, все эти зрелища смерти, хоть и отличные от зверств, о которых говорилось в Иерусалиме, но от этого не менее чудовищные, – также могло внести свою лепту в успокоение или, скорее, в окончательное истребление совести, если к тому времени она у кого-то еще оставалась.

Впрочем, к самому процессу эта тема отношения не имеет. Машина уничтожения была спланирована и доведена до совершенства задолго до того, как война ударила по самой Германии, а ее замысловатая бюрократия, как в годы легких побед, так и в годы предсказуемого поражения, функционировала все с той же несокрушимой точностью. Случаев бегства из рядов правящей элиты, и в особенности из элиты СС, в начале, когда у людей еще могла оставаться совесть, практически не наблюдалось – такое случалось, только когда стало ясно, что Германия войну проиграет. Но эти случаи никогда не были настолько серьезными, чтобы затормозить саму машину: они имели место не потому, что в ком-то вдруг проснулись милосердие и совесть, а из чистой коррупции, просто потому, что кое-кто решил запасть на случай грядущих черных дней деньжонками и выгодными связями. Так, изданный осенью 1944-го приказ Гиммлера о прекращении убийств и демонтаже всех установок на фабриках смерти был продиктован абсурдной, но искренней верой в то, что союзники оценят его жест; Эйхман не поверил своим ушам, когда Гиммлер сказал ему, что на этом основании он сможет вести переговоры по типу *Hubertusburger-Frieden* – это был на-

мек на мирный трактат, подписанный в крепости Хубертусбург в 1763 году: им завершилась Семилетняя война, которую вел Фридрих II, король Пруссии. Войну он проиграл, зато договор позволил ему сохранить Силезию.

Как говорил Эйхман, самым важным фактором успокоения его собственной совести было то, что он не встречал никого, вообще никого, кто был бы против «окончательного решения». Однако с одним исключением ему все же пришлось столкнуться, и поскольку встреча произвела на него неизгладимое впечатление, он упоминал о ней несколько раз. Случай имел место в Венгрии, где он вел переговоры с доктором Кастнером о предложении Гимmlера обменять миллион евреев на десять тысяч грузовиков. Кастнер, явно осмелев от нового поворота событий, попросил Эйхмана остановить «мельницу смерти в Освенциме», на что Эйхман ответил, что сделал бы это «с превеликим удовольствием» (*herzlich gern*), но, увы, это не в его компетенции и даже не в компетенции его начальства – и так оно и было. Конечно же, он не предполагал, что евреи разделят общий энтузиазм по поводу собственного уничтожения, но он и не ждал ничего кроме покорности, он ждал от них – и получил, в степени, даже превзошедшей его ожидания, – сотрудничества.

Сотрудничество было «краеугольным камнем» всей его деятельности, таким же, как в венский период. Без помощи самих евреев в административной и полицейской работе – а, как я уже упоминала, окончательная чистка Берлина от евреев была произведена именно еврейской полицией – в этом деле царил бы полнейший хаос, который отвлек бы самих немцев от выполнения их важных задач. Поэтому установление квислингоподобных правительств на оккупированных территориях не

пременно сопровождалось учреждением центрального еврейского ведомства, а, как мы увидим далее, там, где нацистам не удавалось создать марионеточное правительство, там не получалось и сотрудничества с местными евреями. Но поскольку квислинговские правительства обычно создавались на базе оппозиционных партий, то членами еврейских советов, как правило, становились общепризнанные лидеры местных евреев, которых наци наделяли огромной властью, – пока их самих не депортировали в Терезин или Берген-Бельзен, если дело происходило в Центральной или Западной Европе, или в Освенцим, если речь шла об общинах Восточной Европы.

Для евреев роль еврейских лидеров в уничтожении их собственного народа, несомненно, стала самой мрачной страницей в и без того мрачной истории. Об этом было известно и ранее, но теперь, после публикации основополагающего труда Рауля Хилберга «Уничтожение европейских евреев», о котором я уже писала, стали известны многие душераздирающие и грязные подробности. Что касается сотрудничества, то не было никакой разницы между широко ассимилированными еврейскими общинами Центральной и Западной Европы и говорящими на идише еврейскими массами Восточной Европы. И в Амстердаме, и в Варшаве, и в Берлине, и в Будапеште на еврейских функционеров можно было положиться во всем – в составлении списков людей и их собственности, в собирании с депортированных средств, призванных возместить расходы на их депортацию и уничтожение, в составлении перечня опустевших квартир, в предоставлении полиции сил для отлова евреев и последующей посадки их в поезда и – в качестве заключительного акта – в передаче всех средств и собственности самой об-

щинной администрации для окончательной конфискации. Они распределяли нашивки и значки с желтыми звездами, а в Варшаве «торговля нарукавными повязками стала обычным бизнесом; были нарукавные повязки из обычной ткани и стильные повязки из пластика, которые можно было мыть». В манифестах, которые они издавали – вдохновленных, но не продиктованных нацистами, – мы все еще можем ощутить опьянение доставшейся им властью: «Центральному еврейскому совету было гарантировано полное право на распределение между всем еврейским населением всех духовных и материальных богатств», – таким было первое обращение, составленное будапештским советом. Мы знаем, как чувствовали себя еврейские официальные лица, когда они превратились в инструмент убийств, – как капитаны, «чьим судам грозила неминуемая гибель, но которые все же смогли привести их в спокойные гавани за счет того, что выбросили за борт часть своего драгоценного груза»; как спасители, которые «за счет сотен жертв спасли тысячи, за счет тысяч – десятки тысяч». Но действительные цифры были еще более чудовищными. Например, доктору Кастнеру в Венгрии удалось спасти ровно 1684 человек за счет примерно 476 тысяч.

Никто не беспокоился о том, чтобы заставить еврейских функционеров принести присягу о соблюдении секретности: они были добровольными «носителями тайн» – либо, как в случае с доктором Кастнером, чтобы сохранить спокойствие и порядок и предотвратить панику, либо из «гуманных» соображений, поскольку «жить в ожидании, что тебя убьют в газовой камере, еще страшнее», – как выразился доктор Лео Бек, бывший верховный раввин Берлина, которого и евреи, и немцы называли «еврейским фюрером». Во время процесса над Эйх-

маном один из свидетелей рассказал, к каким последствиям вел такого рода «гуманизм»: люди добровольно перебирались из Терезина в Освенцим, а тех, кто пытался втолковать им правду, называли «психами».

Мы очень хорошо знаем физиономии еврейских лидеров времен нацизма: вот Хаим Румковский, глава юденрата лодзинских евреев, прозванный Хаимом I – он выпускал денежные знаки за своей подписью и почтовые марки со своим портретом и разъезжал в разбитом конном экипаже; вот Лео Бек, с прекрасными манерами, высокообразованный, который считал, что еврей-полицейские будут «более мягкими и понимающими», и потому «испытание будет не таким суровым» (на самом деле они, конечно, были более жестокими, и их труднее было подкупить, потому что на карту для них было поставлено гораздо большее, чем для полицейских-немцев); а вот те немногие, кто покончил с собой – вроде Адама Чернякова, главы варшавского юденрата, который не был раввином, – вообще неверующий, он говорил по-польски и до войны служил инженером, но он хорошо запомнил завет из Талмуда: «Пусть лучше убьют тебя, но не переступи черты».

Так что обвинению на процессе в Иерусалиме, вытаскивая на свет божий эту главу истории, пришлось изрядно попотеть – а ведь еще приходилось лавировать, чтобы не поставить в неловкое положение администрацию канцлера Аденауэра. Но в этот отчет мы ее должны включить, поскольку тогда в документах даже чрезмерно задокументированного процесса возникают необъяснимые лакуны. Судьи упомянули один такой пример – отсутствие среди списка свидетельств книги Х.Г. Адлера «Терезин 1941–1945» (1955), которую обвинитель, смутив-

шись, вынужден был признать «аутентичной, основанной на неоспоримых источниках». Причина ее отсутствия была простой. В книге в подробностях описывалось, как составлялись чудовищные «транспортные накладные» – их составлял юденрат Терезина после того, как получал от СС общие указания: из скольких человек должен состоять список, какого возраста, пола, профессий, из каких стран. Эта книга явно ослабила бы позицию обвинения, потому что, за немногими исключениями, смертными списками ведала еврейская администрация. И заместитель госпрокурора господин Яков Барор, которому пришлось отвечать на вопрос судей, проговорился: «Чтобы не нарушать целостности картины, я стараюсь приводить в качестве свидетельств те документы, которые в какой-то степени относятся к обвиняемому».

Целостность картины действительно была бы серьезно нарушена включением книги Адлера, поскольку она противоречила бы показаниям главного свидетеля по Терезину, который утверждал, что такой отбор вел сам Эйхман. Или, что еще более усложнило бы ситуацию, тогда в значительной мере искривилась бы проведенная обвинением разделительная линия между палачами и жертвами. Понятно, что генеральный прокурор не обязан представлять улики, которые не поддерживают обвинения. Обычно это дело защиты, и на вопрос, почему доктор Сервациус, который цеплялся к каждому мелкому несоответствию в свидетельских показаниях, не воспользовался таким легкодоступным и широко известным документом, до сих пор удовлетворительного ответа нет. А он мог бы указать на следующий факт: как только Эйхман превратился из эксперта по эмиграции в эксперта по «эвакуации», он сразу же назначил своих старых зна-

Комцев – доктора Пауля Эпштейна, который отвечал за эмиграцию в Берлине, и раввина Беньямина Мурмельштейна, который занимался тем же делом в Вене, – «еврейскими старейшинами» Терезина. И это куда лучше, чем зачастую слишком прямолинейные и оскорбительные речи о присягах, верности и ценности безоговорочного послушания, продемонстрировало бы атмосферу, в которой Эйхману пришлось работать.

Показания госпожи Шарлотты Зальцбергер по поводу Терезина, о которых я говорила выше, позволили нам хотя бы одним глазком заглянуть в тот уголок «общей картины», куда явно не хотел заглядывать прокурор. Председателю суда не нравился ни термин, ни сама картина. Он несколько раз заявлял генеральному прокурору, что «мы здесь не картины рисуем», что это – «обвинительный акт, а обвинительный акт и составляет суть данного процесса», что у суда «есть, исходя из обвинительного акта, свой собственный взгляд на процесс» и что «обвинение должно следовать тому, что предъявлено в суде», – достойные восхищения наставления для любого уголовного разбирательства, ни одно из которых не было принято во внимание. Обвинение не просто не приняло их во внимание, оно отказалось хоть как-то наставлять своих свидетелей, а если суд становился слишком уж настойчивым, прокурор как бы нехотя задавал несколько ничего не значащих вопросов, и в результате свидетели вели себя так, будто они находятся не в суде, а на митинге под председательством генерального прокурора, который, как и принято на митинге, представляет их аудитории, прежде чем они займут трибуну. Они могли выступать без всякого регламента, и их крайне редко перебивали уточняющими вопросами.

Эта атмосфера – даже не показательного процесса, а массового митинга, во время которого сменяющие друг друга ораторы изо всех сил стараются привлечь внимание публики, – стала особенно заметной, когда обвинение принялось вызывать свидетелей для дачи показаний о восстании в Варшавском гетто и аналогичных попытках в гетто Вильнюса и Ковно – хотя эти темы никакого отношения к преступлениям, которые вменялись в вину обвиняемому, не имели. Эти показания могли бы внести свой вклад в процесс, если бы в них шла речь о деятельности юденратов, которые сыграли столь большую и пагубную роль. Об этом, конечно, упоминалось, но свидетели были только рады не «углубляться» и быстро переключались на настоящих предателей, которых было немного и чьи «имена были неизвестны еврейскому населению», поскольку «они сотрудничали с нацистами подпольно».

Когда выступали эти свидетели, аудиторию снова сменили – теперь это были кибуцники, члены израильских общинных поселений, к которым принадлежали выступавшие.

Самое ясное и простое описание дала Цивя Любеткин-Цукерман, женщина примерно сорока лет, все еще очень красивая, совершенно свободная от сентиментальности или жалости к себе – все изложенные ею факты были четко организованы и всегда относились именно к тому, что она и желала сказать. В юридическом плане показания этих свидетелей были несущественными – в своей заключительной речи господин Хаузнер их не упоминал, – за исключением того, что они доказывали существование тесных контактов между еврейскими партизана-

ми и польскими и русскими подпольщиками, что, если отвлечься от их противоречивости другим показаниям («Против нас было настроено все население»), могло принести защите немалую пользу, поскольку они предлагали куда более существенное оправдание убийства гражданских лиц, нежели неоднократные заявления Эйхмана о том, что «в 1939 году Вейцман* объявил Германии войну».

Полная чепуха. Все, что Хаим Вейцман сказал на закрытии последнего предвоенного сионистского конгресса, была фраза о том, что война западных демократий «это и наша война, их борьба – это и наша борьба». Трагедия, как правильно указал Хаузер, как раз и заключалась в том, что нацисты не признавали евреев воюющей стороной, потому что тогда они могли бы выжить в качестве военнопленных или гражданских интернированных лиц.

Если бы доктор Сервациус воспользовался этими показаниями, обвинению пришлось бы признать, что группы сопротивления были удручающе малочисленными, невероятно слабыми и никакого существенного вреда нацистам не нанесли – более того, отнюдь не представляли основной массы еврейского населения, которое однажды даже обратило против них оружие.

Итак, юридическая несостоятельность этих отнявших много времени показаний была удручающе очевидной, но столь же непонятными остались и политические намерения

* Хаим Вейцман (1874–1952) – политик, президент (1929–1946) Всемирной сионистской организации, первый президент государства Израиль.

предоставившего их израильского правительства. Господин Хаузнер (или господин Бен-Гурион), вероятно, хотели продемонстрировать, что, каким бы слабым ни было сопротивление, исходило оно от сионистов, поскольку из всех евреев только сионисты сознавали, что если ты не можешь сохранить жизнь, следует стараться сохранить хотя бы честь, как сказала об этом госпожа Цукерман, и что худшее, что мог сделать человек в таких обстоятельствах, – это попытаться сохранять «невинность», что очевидно вытекало из настроения и направления показаний госпожи Цукерман. Однако эти «политические» соображения пошли прахом, потому что свидетели говорили суду правду о том, что в сопротивлении сыграли свою роль все еврейские партии и организации и что настоящее различие было не между сионистами и несионистами, а между организованными и неорганизованными людьми, и даже, что еще существеннее, между молодыми и пожилыми. То есть тех, кто сопротивлялся, было меньшинство, крошечное меньшинство, но, как сказал один из свидетелей, «чудом уже было, что это меньшинство вообще существовало».

Но если оставить в стороне юридические вопросы, появление на месте для дачи показаний бывших борцов еврейского сопротивления можно было только приветствовать. Они внесли свежую струю в удручающую картину всеобщего сотрудничества, в душную, отравленную атмосферу, окружавшую «окончательное решение». Хорошо известный факт, что реальная работа по уничтожению велась руками еврейских отрядов, был четко и в деталях подтвержден свидетелями обвинения – рассказами о том, как трудились члены этих отрядов в газовых камерах и крематориях, как вырывали у трупов золотые зубы и отрезали

волосы, как копали могилы, а затем снова раскапывали их, чтобы уничтожить следы массовых убийств, как еврейские техники строили в Терезине газовые камеры – там, в Терезине, еврейская «автономия» была настолько полной, что вешателями тоже были евреи. Но какой бы ужасной ни была эта истина, не она была моральной проблемой. Селекцию и классификацию рабочей силы в лагерях проводили эсэсовцы, которые испытывали примечательную симпатию к криминальным элементам, и для выполнения такого рода работ они выбирали худших из худших.

Это было особенно справедливым в отношении Польши, где нацисты одновременно с большей частью еврейской интеллигенции уничтожили весь цвет интеллигенции польской вкупе со многими профессионалами, что значительно отличалось от их политики в Западной Европе, где они, напротив, сохраняли жизнь известным евреям ради обмена их на интернированных немецких гражданских лиц или узников войны; лагерь Берген-Бельзен был поначалу лагерем «обменных евреев».

Проблема морали заключалась в степени правдивости, с которой Эйхман описывал еврейское сотрудничество даже в условиях выполнения «окончательного решения»: «Формирование юденрата [в Терезине] и распределение обязанностей было оставлено в ведении самого совета, за исключением назначения президента. Кто станет президентом, конечно, зависело только от нас. Однако назначение это не было диктаторским решением. Функционеры, с которыми мы были в постоянном контакте – что ж, вести себя с ними надо было мягко. Приказов мы им не отдавали, просто потому, что если бы с ними говорили в такой

форме – вы должны, вы обязаны, – это бы делу нисколько не помогло. Если человеку не нравилось то, что он делает, страдала бы вся работа... Мы изо всех сил старались, чтобы условия были приемлемыми». Они действительно старались, и проблема заключается в том, что они в своих стараниях преуспели.

Таким образом, самым главным элементом, не вошедшим в «общую картину», были бы показания, в которых говорилось о кооперации между нацистскими правителями и еврейскими властями, а значит, не было возможности задать вопрос: «Почему вы участвовали в уничтожении вашего собственного народа и, как следствие, в вашем собственном разрушении?» Единственным свидетелем из числа деятелей юденратов был Пинхас Фрейдигер, бывший барон Филипп фон Фрейдигер из Будапешта, и именно во время его выступления произошел единственный серьезный инцидент – человек из зала крикнул ему что-то сначала на венгерском, а потом на идише, и суд был вынужден прервать заседание. Фрейдигер, ортодоксальный еврей высокого звания, был потрясен: «Здесь есть люди, которые говорят, что им не говорили: спасайтесь. Но пятьдесят процентов тех, кто бежал, были схвачены и убиты». Сравним эту цифру с девяноста пятью процентами уничтоженных среди тех, кто и не пытался бежать. «И куда они могли бежать? Где они могли укрыться?» – при этом сам он убежал в Румынию, поскольку был богат, и Вислицени* ему

* Дитер Вислицени – штурмбанфюрер СС. Работал под руководством Адольфа Эйхмана в центральном имперском управлении по делам еврейской эмиграции. Занимался поиском выгодных сделок в обмен на освобождение евреев в Венгрии, Словакии и Греции. Повешен в Братиславе в июле 1948 года.

в этом поспособствовал. «Что мы могли сделать? Что мы могли сделать?» Единственным комментарием было замечание председателя суда: «Я не думаю, что это ответ на вопрос» – вопрос, заданный не судом, а с галерки.

Вопрос сотрудничества упоминался судьями дважды: судье Ицхаку Равэ удалось вытянуть из одного из свидетелей, которые говорили о сопротивлении, признание, что «полиция гетто» была «инструментом в руках убийц», а также заявление о том, что «политикой юденратов было сотрудничество с нацистами»; а судья Халеви во время перекрестного допроса Эйхмана установил, что нацисты считали такое сотрудничество «краеугольным камнем» всей своей еврейской политики. Но вопрос, который обвинитель регулярно задавал каждому свидетелю, за исключением тех, кто участвовал в сопротивлении, и который звучал совершенно естественно для тех, кто не знал, ради чего был затеян этот процесс: «Почему же вы не взбунтовались?» – был на самом деле дымовой завесой, призванной скрыть тот вопрос, который так и не был задан. И поскольку он никогда не был задан ни одному из свидетелей господина Хаузнера, то все их ответы отнюдь не были «правдой, всей правдой, и ничем кроме правды».

А правдой было то, что еврейский народ в целом никогда не был организован, у него не было своей территории, своего правительства, своей армии, что в час, когда это ему было так необходимо, у него не было своего правительства в изгнании, которое могло бы представлять его среди союзников (Еврейское Палестинское агентство под председательством доктора Вейцмана было, в лучшем случае, жалкой имитацией), что у него не было ни запасов оружия, ни молодежи, прошедшей во-

инскую подготовку. И всей правдой было то, что существовали и еврейские общинные организации, и еврейские партии и благотворительные организации как на местном, так и на международном уровне. Где бы ни жили евреи, у них были свои признанные лидеры, и почти все из них – за малым исключением – тем или иным образом, по той или иной причине сотрудничали с нацистами. Всей правдой было то, что если бы еврейский народ действительно был не организован и у него не было бы вожаков, тогда воцарился бы хаос, и было бы множество великое страданий, но общее число жертв вряд ли бы тогда составило от четырех с половиной до шести миллионов.

В этой главе я коснулась истории, которую суд в Иерусалиме не смог представить миру в ее реальном масштабе, потому что она дает поразительное понимание всеобщего морального коллапса, в который наци повергли респектабельное европейское общество – не только в Германии, но почти во всех странах, не только среди палачей, но и среди жертв. Эйхман, в отличие от других рядовых участников нацистского движения, всегда с благоговением относился к людям из «хорошего общества», и учтивость, которую он часто проявлял к немецкоговорящим еврейским функционерам, была порождена ощущением того, что он имеет дело с людьми, находящимися на более высокой, чем он сам, ступеньке социальной лестницы. Он отнюдь не был тем, кем его назвал один из свидетелей – «*Landsknechtnatur*», наемником, который желал бы укрыться в тех краях, где не действуют Десять заповедей... Он и вправду к концу стал яростным приверженцем успеха, по его представлениям, основного мерил «хорошего общества». И потому для него типичными были его

последние слова о Гитлере – которого он и его камрад Сассен решили в том интервью «не упоминать»: Гитлер, сказал он, «мог быть не прав во всем, но одно несомненно: этот человек оказался способным подняться от ефрейтора немецкой армии до фюрера почти восьмидесятимиллионного народа... Сам по себе его успех уже доказал, что я должен подчиняться этому человеку». Его совесть действительно успокоилась, когда он увидел, с каким рвением и энтузиазмом «хорошее общество» реагирует на его действия. Ему «не надо было заглушать голос совести», как было сказано в заключении суда, и не потому, что совести у него не было, а потому, что она говорила «респектабельным голосом», голосом окружавшего его респектабельного общества.

Эйхман уверял, что голосов извне, способных пробудить его совесть, не существовало, а задачей обвинения было доказать, что это не так, что были такие голоса, к которым он мог бы прислушаться, и все же он исполнял свою работу с усердием, превосходящим прямые обязанности. Но, как ни странно, правдой оказалось и то, что его убийственное рвение не было так уж глухо к невнятным голосам тех, кто время от времени пытался его усмирить. Здесь мы можем только вскользь упомянуть о так называемой внутренней эмиграции в Германии – эти люди зачастую занимали посты, даже высокие, в иерархии Третьего рейха и после войны заявляли себе и внешнему миру, что «в душе были против» режима. И не важно, говорили они правду или лгали: важно, что ни один секрет в пропитанной тайнами атмосфере нацистского режима не охранялся ревностнее, чем «противостояние в душе». Иначе в условиях нацистского террора было не выжить; как говорил мне один известный «внутренний эмигрант», который явно верил в собствен-

ную искренность, такие как он, дабы сохранить свою тайну, «внешне» должны были казаться даже большими нацистами, чем сами нацисты.

Этим может объясняться тот факт, что редкие протесты против программы уничтожения исходили не от армейского командования, а от старых членов партии.

Чтобы выжить в Третьем рейхе и при этом не вести себя как нацист, следовало затаиться совсем: «воздержание от какого-либо участия в общественной жизни», как недавно заметил Отто Киркхаймер в своей «Политической справедливости» (1961), было на самом деле единственным критерием оценки личной вины. Если в этом термине и есть хоть какой-то смысл, «внутренним эмигрантом» мог быть только тот, кто жил «словно изгнанник среди своего собственного народа, среди слепо верящих масс», как отмечал профессор Герман Яррайс в «Наставлениях защитникам» накануне Нюрнбергского процесса. При отсутствии какой-либо организации оппозиция была «совершенно бессмысленной». Немцы, которые прожили все эти двенадцать лет, «словно замороженные», существовали, но число их незначительно, и среди них не было членов движения сопротивления. В последние годы термин «внутренняя эмиграция» (сам по себе допускающий двойное толкование, ибо он может означать как эмиграцию в отдаленные уголки собственной души, так и определенную манеру поведения – словно ты живешь эмигрантом в своей собственной стране) стал чем-то вроде шутки. Зловещий доктор Отто Брандфис, член одной из айнзацгрупп, который руководил убийством почти пятнадцати ты-

сяч человек, заявил немецкому суду, что он всегда был «в душе против» того, что он совершал. Может, убийство пятнадцати тысяч человек было ему необходимо как алиби в глазах «настоящих нацистов»?

Аналогичный аргумент, и с еще меньшим успехом, был выдвинут в польском суде гаулейтером Артуром Грайслером из Вартегау: это его «официальная душа» совершала все те преступления, за которые его в 1946 году повесили, а «личная душа» всегда была против.

И хотя Эйхман никогда не встречался с «внутренними эмигрантами», он наверняка был знаком с некоторыми из тех государственных служащих, которые сегодня утверждают, будто оставались на своих постах только ради того, чтобы «уменьшить зло» и чтобы не дать «настоящим нацистам» занять их должности.

Мы уже упоминали знаменитое дело доктора Ганса Глобке, статс-секретаря, а с 1953 года – главы отдела кадров администрации канцлера Западной Германии. Поскольку он был единственным упоминавшимся на процессе государственным служащим, интересно было бы посмотреть на его деятельность по «уменьшению зла».

До прихода Гитлера к власти доктор Глобке служил в министерстве внутренних дел Пруссии и уже там продемонстрировал преждевременный интерес к еврейскому вопросу. Это он сформулировал первую из директив для тех, кто обращался за разрешением сменить имя – согласно этой директиве от них «требовалось доказательство арийского происхождения». Сие цирку-

лярное письмо, датированное декабрем 1932 года – когда приход Гитлера к власти еще не состоялся, но был уже вполне вероятен, – странным образом предвосхищает «сверхсекретные постановления», которые гитлеровский режим ввел в практику много позже: как это принято при тоталитарных режимах, широкая общественность об этих постановлениях не извещается, а тем, к кому они обращены, говорится, что «это не для публикации».

Доктор Глобке испытывал большой интерес к именам, а поскольку его «Комментарий к Нюрнбергским законам 1935 года» был даже более жестким, чем более ранняя интерпретация *Rassenschande*, автором которой был эксперт по еврейскому вопросу министерства внутренних дел, старый партиец доктор Бернгард Лёзенер, кое-кто может обвинить доктора Глобке в том, что он сделал ситуацию более опасной, чем на том настаивал «настоящий нацист». Но даже если мы допустим, что действовал он из самых лучших побуждений, трудно представить, как он в данных обстоятельствах смог бы ситуацию улучшить. Недавно одна немецкая газета провела серьезное расследование и ответила на этот затруднительный вопрос. Они нашли подписанный доктором Глобке документ, который предписывал чешским невестам немецких солдат при подаче заявления о разрешении на брак представлять свои фотографии в купальных костюмах. Доктор Глобке пояснил: «Этим конфиденциальным распоряжением был до некоторой степени уменьшен скандал, длившийся три года»: до того как вмешался доктор Глобке, чешские невесты должны были представлять свои фотографии в обнаженном виде.

Доктору Глобке, как объяснял он в Нюрнберге, повезло, поскольку он работал под началом другого «уменьшителя»,

статс-секретаря Вильгельма Штукарта, которого мы уже встречали – он был активным участником Ванзейской конференции. «Уменьшительная» деятельность Штукарта касалась полуевреев, которых он предлагал стерилизовать.

Нюрнбергский трибунал не располагал протоколами Ванзейской конференции, и потому поверил на слово, когда Штукарт заявил, что ничего о программе уничтожения не знал, – в результате он был приговорен к тюремному заключению. Немецкий суд по денацификации оштрафовал его на пятьсот марок и объявил «временно примкнувшим к партии» – *Mitläufer*, – хотя уж им-то следовало знать, что Штукарт принадлежал к «старой партийной гвардии» и в качестве почетного члена довольно рано вступил в СС.

Совершенно очевидно, что рассказы об «уменьшителях» в кабинетах гитлеровской власти – всего лишь послевоенные сказочки, и в качестве голосов, которые могли бы потревожить совесть Эйхмана, мы можем их отбросить.

Вопрос об этих голосах очень серьезно встал, когда в иерусалимском суде появился благочинный Генрих Грюбер – протестантский священник, который был единственным немцем на процессе (и, за исключением судьи Майкла Мусманно из США, единственным неевреем), выступавшим в качестве свидетеля обвинения.

Свидетели защиты – немцы были исключены с самого начала, поскольку в Израиле они были бы арестованы и подвергнуты суду на основании того же закона, по которому судили Эйхмана.

Благочинный Грюбер принадлежал к ничтожно малой и политически незначительной группе лиц, выступавших против Гитлера по принципиальным соображениям, а не ради «сохранения нации», и их позиция по еврейскому вопросу не допускала двойного толкования. Появление Грюбера в зале суда стало чем-то вроде сенсации, кроме того, он обещал стать великолепным свидетелем, поскольку Эйхман в свое время несколько раз с ним встречался. Но, к сожалению, показания Грюбера были довольно невыразительными: после стольких лет он уже не помнил, когда разговаривал с Эйхманом, или, что еще более серьезно, о чем именно. Все, что он хорошо помнил, это то, как он однажды попросил доставить в Венгрию просфоры для еврейской пасхи и как он во время войны ездил в Швейцарию, чтобы рассказать своим друзьям-христианам о том, насколько опасной становится ситуация, и убедить их предусмотреть больше возможностей для эмиграции.

Эти переговоры, должно быть, состоялись до начала воплощения «окончательного решения», которое совпало с гиммлеровским декретом о запрете всякой эмиграции; вероятно, они прошли накануне нападения на Россию.

Ему разрешили и просфоры отослать, и в Швейцарию он съездил и вернулся благополучно. Неприятности у него начались позже, уже после того как была запущена машина депортаций. Пастор Грюбер и его группа протестантских священников впервые вмешались в процесс, всего лишь попросив «за тех, кто был ранен во время Первой мировой войны и награжден высокими воинскими наградами; за стариков и за вдов по-

гибших в Первую мировую войну». Эти категории соответствовали тем, которые поначалу были исключены самими нацистами. Теперь же Грюберу объявили, что его просьба «противоречит политике государства». Но с ним самим ничего страшного не произошло. Однако вскоре после этого благочинный Грюбер предпринял нечто действительно экстраординарное: он попытался добраться до концлагеря Гюр на юге Франции, где правительство Виши удерживало вместе с еврейскими беженцами из Германии около семи с половиной тысяч евреев из Бадена и Саарпфальца, которых Эйхман переправил через германо-французскую границу осенью 1940 года. Согласно полученной благочинным Грюбером информации жилось им там даже хуже, чем тем евреям, которых депортировали в Польшу. Результатом этой попытки были арест и отправка в концлагерь – сначала в Заксенхаузен, а затем в Дахау.

Подобная судьба постигла и католического священника Бернарда Лихтенберга из собора Святой Ядвиги в Берлине: он не только посмел публично молиться за всех евреев, крещеных и некрещеных – что было намного опаснее, чем вмешательство «по особым случаям», – он потребовал, чтобы ему разрешили сопровождать евреев в их пути на Восток. Лихтенберг умер в концлагере.

Помимо доказательства существования «другой Германии» благочинный Грюбер не внес ничего существенного ни в юридическое, ни в историческое значение процесса. Его суждения об Эйхмане оригинальностью не блистали: Эйхман-де был похож на «глыбу льда», на «мрамор», на *«Lansknechtsnatur»*, на «велосипедиста» (эта немецкая идиома означает человека, ко-

торый кланяется начальникам и пинает подчиненных) – в общем, Грюбер оказался не очень хорошим психологом; что же касается «велосипедиста», то в этом он вообще не прав: Эйхман всегда относился к своим подчиненным с уважением.

Замечания по поводу характера подсудимого вряд ли имеют юридическую силу, но в Иерусалиме они проникли даже в заключение суда. Без высказанных эпитетов показания благочинного Грюбера могли бы даже сработать на защиту Эйхмана, поскольку при их встречах Эйхман ни разу не давал Грюберу прямого ответа, он всегда просил его зайти еще раз, поскольку должен получить дальнейшие инструкции начальства.

Что немаловажно, однажды во время выступления Грюбера доктор Сервациус взял инициативу на себя и задал ему весьма уместный вопрос: «Пытались ли вы оказать на него влияние? Пытались ли вы, как служитель церкви, обратиться к его чувствам, молить его, говорить ему, что его поведение противоречит законам морали?» Конечно, мужественный благочинный ничего такого не делал, и его ответы были очень путаными. Он говорил, что «действия важнее слов», что «слова были бы бесполезны», он говорил заготовленными фразами, которые не имели никакого отношения к той реальности, в которой «всего лишь слова» уже были действиями и в которой, возможно, его долгом было бы проверить, насколько «бесполезны слова». Он использовал те же клише и расхожие фразы, которые судьи в других обстоятельствах называли «пустопорожней болтовней».

Но даже более уместным, чем вопрос доктора Сервациуса, было то, что сказал Эйхман об этом эпизоде в своем заключительном слове: «Никто не пришел ко мне и ничего не сказал об исполняемых мною обязанностях. Даже пастор Грюбер».

И добавил: «Он пришел ко мне в надежде облегчить страдания, но на самом деле он нисколько не возражал против моих обязанностей как таковых».

Согласно показаниям благочинного Грюбера он искал не «облегчения страданий», а избавления от них – в соответствии с хорошо разработанными категориями, которые поначалу признавали даже нацисты. Против разделения на категории не возражали и сами немецкие евреи. И такое приятие привилегий – немецкие евреи против евреев польских, ветераны войны и евреи, имеющие награды, против обычных евреев, семьи, чьи предки были рождены на территории Германии, против тех, кто получил гражданство недавно, – стало началом морального коллапса уважаемого еврейского общества.

Сегодня к подобным вопросам относятся так, словно для человеческого существа совершенно нормально терять достоинство перед лицом опасности, поэтому следует вспомнить ответ французских евреев – ветеранов войны, когда их правительство предложило подобные привилегии: «Мы торжественно заявляем, что отказываемся от всяких исключительных прав, происходящих из нашего статуса бывших военнослужащих» («Американский еврейский ежегодник», 1945).

Конечно, наци никогда не принимали эти различия всерьез, потому что для них еврей – это всегда еврей, но такое разделение на категории до самого конца играло определенную роль, поскольку помогало преодолеть чувство неловкости среди немецкого населения: депортировали только польских евреев, только тех, кто уклонялся от воинской службы, и т. д.

Особенно разрушительными для морали эти привилегии были потому, что те, кто просил об «исключениях», тем самым как бы признавали само существование таковых – но подобная мысль, очевидно, никогда не посещала этих «хороших людей», евреев и неевреев, старавшихся снискать милости к «особым случаям». О том, как еврейские жертвы сами принимали стандарты «окончательного решения», со всей очевидностью явствует из так называемого доклада Кастнера (он издан на немецком языке – *«Der Kastner-Bericht über Eichmanns Menschenhandel in Ungarn»*, 1961). Даже после войны Кастнер продолжал гордиться своей ролью в спасении «видных евреев» – категории, официально введенной нацистами в 1942 году: он об этом нигде прямо не говорит, но становится очевидным, что, по его мнению, известные евреи имели больше прав на жизнь, чем евреи обычные; он пишет о том, что для того чтобы взять на себя такую «ответственность» – помогать наци в их попытках отсортировать «известных» людей от анонимной массы, а в этом и заключались его обязанности, – «требовалось больше мужества, чем когда приходилось смотреть в лицо смерти». Но если еврейские и нееврейские ходатаи по «особым случаям» не осознавали своей неумышленной угодливости и покорности, то для тех, чьим делом были убийства, это внутреннее согласие с правилом, по которому все «не особые случаи» обречены на смерть, должно было быть очевидным. По меньшей мере они должны были чувствовать, что когда их просили об исключениях и они время от времени их даровали – за что им бывали благодарны, – они тем самым убеждали просителей в законности всех своих действий.

Более того, и благочинный Грюбер, и иерусалимский суд ошибались, полагая, что просьбы об исключениях исходили только от противников режима. Напротив, как Гейдрих недвусмысленно дал понять во время Ванзейской конференции, создание в Терезине гетто для привилегированных категорий было результатом многочисленных подобных обращений со всех сторон. Позже Терезин стал образцово-показательным заведением, в которое допускались иностранцы, он служил для внешнего мира дымовой завесой, однако отнюдь не это было первопричиной его возникновения. Чудовищный процесс «прореживания», который регулярно происходил в этом «раю» – «отличавшемся от других лагерей как день от ночи», как справедливо было замечено Эйхманом, – был обусловлен тем, что здесь просто не хватало места для всех, у кого были привилегии. При этом, как мы знаем из директивы главы РСХА Эрнста Кальтенбруннера, «следовало с особой тщательностью следить за тем, чтобы не подвергать депортации евреев со связями и важными знакомствами во внешнем мире». Другими словами, менее «видные» евреи регулярно приносились в жертву тем, чье исчезновение могло вызвать неприятные расспросы.

«Знакомства во внешнем мире» не обязательно означали зарубежные связи: как считал Гиммлер, «у каждого из восьмидесяти миллионов добропорядочных немцев был свой знакомый приличный еврей. Понятно, что остальные евреи – свиньи, но именно этот еврей – первоклассный» (Хилберг). Гитлер сам заявлял, что знает триста сорок «первоклассных евреев», которым он либо дал статус немцев, либо гарантировал привилегии полуевреев. Тысячи полуевреев были освобождены от всяких ограничений, чем можно объяснить роли Гейдриха и

Ганса Франка в СС и роль генерал-фельдмаршала Эрхарда Мильха* в люфтваффе: все знали, что Гейдрих и Мильх – евреи наполовину, а генерал-губернатор Польши был, по многим данным, «целиком евреем».

Среди главных военных преступников были лишь двое, кто покался перед лицом смерти: Гейдрих, который сделал это в те девять дней, что боролся с ранами, нанесенными им чешскими патриотами, и Франк в своей камере смертников в Нюрнберге. Факт неудобный, поскольку трудно не заподозрить, что калялись они не в убийствах, а в том, что предали свой народ.

Если просьбы по поводу «видных» евреев исходили от «видных» людей, они часто бывали услышаны. Так, яростный приверженец Гитлера Свен Хедин** просил за известного географа, профессора Филиппсона из Бонна, который «жил в Терезине в ужасных условиях»; в письме к Гитлеру Хедин пригрозил, что «его отношение к Германии будет зависеть от судьбы Филиппсона», вследствие чего (если судить по книге Х.Г. Адлера о Терезине) Филиппсону сразу же предоставили более пристойное жилище.

Не забыто понятие «видный еврей» и в сегодняшней Германии. Хотя о ветеранах и прочих привилегированных

* Эрхард Мильх был заместителем командующего военно-воздушными силами Германа Геринга.

** Свен Андерс Хедин (1865–1952) – известный шведский исследователь и географ.

ВАНЗЕЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ . . .

группах больше не вспоминают, судьба «видных евреев» все еще находится в центре внимания. Многие, особенно представители культурной элиты, по-прежнему выражают сожаления о том, что Германия заставила Эйнштейна паковать чемоданы, совершенно при этом не осознавая, что куда большим преступлением было убийство маленького Ганса Кона из вон того дома за углом – хотя он вовсе не был гением.

ГЛАВА VIII

ДОЛГ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ГРАЖДАНИНА

Поводов для того, чтобы Эйхман чувствовал себя Понтием Пилатом, было предостаточно, однако шли месяцы и годы, и ему больше не надо было вообще что-либо чувствовать. Просто так обстояли дела, таковым был новый закон страны, основанный на приказе фюрера, и все его действия были, как он это видел, действиями законопослушного гражданина. Как он постоянно твердил и во время полицейского следствия, и в суде, он исполнял свой долг; он подчинялся не только *приказам*, он подчинялся закону. У Эйхмана было смутное подозрение, что это различие может стать важным, но ни защита, ни суд никогда с ним этого вопроса не обсуждали. Они обменивались затертыми монетами «вышестоящих приказов» и «государственных актов»; они вспоминали целую дискуссию по этому вопросу, развернувшуюся во время Нюрнбергского процесса, и создавалась иллюзия, что они судят по прецеденту, хотя по сути такого прецедента не было.

Эйхман, обладавший весьма скромными мыслительными способностями, был последним, кто в этом суде мог оспорить эти понятия и выдвинуть свои собственные. А поскольку вдобавок к исполнению того, что он считал обязанностями законопослушного гражданина, он действовал в соответствии с приказами – он всегда тщательно ими прикрывался, – он запутался полностью и в конце договорился до того, что принялся упираться на ценности и недостатки слепого послушания, или, как он сам назвал его, «мертвого послушания» (*Kadavergehorsam*).

Первым указанием на смутное представление Эйхмана о том, что за всем этим кроется нечто большее, чем вопрос о солдате, выполняющем заведомо преступные приказы, было его выступление во время полицейского расследования, когда он вдруг с большой горячностью заявил, что всю свою жизнь следовал моральным представлениям Канта, и в особенности кантианскому определению долга.

Заявление было возмутительным и, по сути, маловразумительным, поскольку моральная философия Канта тесно связана с человеческой способностью к суждению, которая исключает слепое повиновение. Ведущий допрос офицер полиции не настаивал на этом пункте, но судья Равэ, то ли из любопытства, то ли возмущившись тем, что Эйхман посмел приплести к своим преступлениям Канта, решил все-таки расспросить обвиняемого. И, ко всеобщему удивлению, Эйхман разразился довольно точным определением категорического императива: «Под этими словами о Канте я имел в виду, что моральные нормы моей воли всегда должны совпадать с моральными нормами общих законов» (что не относится, например, к ворам и убийцам, потому что вор или убийца по определению не может желать

жить в такой юридической системе, которая давала бы другим право обкрадывать или убивать его самого). Отвечая на дальнейшие вопросы, он добавил, что читал «Критику практического разума» Канта. И далее пустился в объяснения, что с того момента, как его обязали выполнять «окончательное решение», он перестал жить в соответствии с кантианскими принципами, что он признавал это, но утешал себя мыслью о том, что он больше не был «хозяином своих собственных поступков», что не в его воле было «что-либо изменить».

Однако он не сказал, что в это «время узаконенных государством преступлений», как он сам теперь его называл, он не просто отбросил кантианскую формулировку как неприменимую более – он ее изменил, и теперь она звучала следующим образом: «Поступай так, чтобы нормы твоих поступков были такими же, как у тех, кто пишет законы, или у самих законов твоей страны». Здесь следует вспомнить формулировку «категорического императива Третьего рейха», сделанную Гансом Франком, – Эйхман вполне мог ее знать: «Поступай так, чтобы фюрер, узнав о твоих поступках, мог тебя за них похвалить» (*Die Technik des Staates*, 1942, стр. 15–16).

Канту и в голову такое прийти не могло: напротив, для него каждый человек, начиная действовать, становился законодателем – используя свой «практический разум», человек находил моральные нормы, которые могли и должны были стать нормами закона. Но эти бессознательные искажения Эйхмана согласуются с тем, что он сам называл «расхожим Кантом для бедных». В этом расхожем употреблении от кантианского духа осталось лишь требование, что человек должен не просто подчиняться закону, что он должен пойти дальше и идентифициро-

вать свою волю со стоящей за законом моральной нормой – источником самого закона. В философии Канта таким источником был практический разум, в расхожем употреблении Эйхмана им была воля фюрера.

Чудовищная тщательность, с которой исполнялось «окончательное решение» – некоторые наблюдатели подчеркивают, что такая тщательность типична для немцев, другие видят в ней характерную черту идеальной бюрократии, – в значительной степени порождена достаточно распространенным в Германии странным представлением о том, что законопослушание означает не просто подчинение законам, а такое поведение, при котором человек становится создателем законов, которым он подчиняется. Отсюда убеждение, что недостаточно просто следовать обязанностям и долгу.

Но какой бы ни была роль Канта в формировании менталитета «маленького человека» в Германии, нет ни малейших сомнений в том, что в одном отношении Эйхман действительно следовал представлениям Канта: закон есть закон, и исключений быть не может. Во время процесса он признался только в двух таких исключениях, сделанных в то время, когда «у каждого из восьмидесяти миллионов немцев» был «свой приличный еврей»: он помог своей кухне-полуеврейке и одной венской еврейской паре, за которую просил его дядя. Такая непоследовательность все еще заставляла его чувствовать некоторую неловкость, и во время перекрестного допроса он принялся оправдываться: он-де «покаялся в грехах» перед начальством. Такой бескомпромиссный подход к выполнению своих смертельных обязанностей повредил ему в глазах судей куда больше, чем какие-либо иные, более понятные поступки и взгляды, но в его собст-

венных глазах это было именно то, что его оправдывало, поскольку окончательно заглушало последние всхлипы совести. Никаких исключений – вот подтверждение тому, что он всегда действовал вопреки собственным «наклонностям», чем бы они ни были вызваны – чувствами или какого-либо рода интересом, – он всегда неукоснительно исполнял свой «долг».

В самом конце исполнение «долга» привело его к открытому конфликту с начальством. В последний год войны, более чем через два года после Ванзейской конференции, он испытал последний кризис совести. По мере того как близилось поражение, люди из его собственного окружения все чаще обращались к нему с просьбами об исключениях и, более того, поговаривали об отмене «окончательного решения». В этот момент его обычная осторожность снова дала сбой и он снова начал брать инициативу на себя – например, после того как союзники разбомбили железнодорожные коммуникации, он организовал пеший этап евреев из Будапешта к австрийской границе. Это было осенью 1944-го, и Эйхман знал, что Гиммлер уже отдал приказ о демонтаже всех сооружений, с помощью которых убивали в Освенциме; Эйхман понимал, что игра окончена. Примерно в это время у Эйхмана состоялась одна из немногих личных встреч с Гиммлером, на которой тот орал: «Если до сих пор вашим занятием была ликвидация евреев, то с этого момента – это мой приказ – вашим занятием будет забота о евреях, вы будете вести себя с ними, как нянька. Напоминаю вам, что это я, а не группенфюрер Мюллер и не вы, это я создал в 1933 году РСХА, и я здесь отдаю приказы!» Эйхман отрицает, что Гиммлер на него кричал, хотя не отрицает сам факт этой встречи – единственным свидетелем, который мог бы подтвердить эти

слова, был весьма сомнительный господин Курт Бехер*. Гиммлер вряд ли мог выражаться именно этими словами, потому что уж он-то прекрасно знал, что РСХА было организовано не в 1933, а в 1939 году, и не им, а Гейдрихом, правда, с его подачи. Однако что-то в этом роде вполне могло произойти, поскольку в то время Гиммлер раздавал приказы о хорошем отношении к евреям направо и налево – они были его «самым надежным капиталовложением», и эта история могла быть для Эйхмана тяжелым испытанием.

Последний кризис совести у Эйхмана начался, когда его отправили в Венгрию – было это в марте 1944 года, советские войска уже продвигались по Карпатам в сторону венгерской границы. Венгрия стала военным союзником Гитлера в 1941 году, при этом цель у нее была одна – получить дополнительные территории, изъятые у соседей – Словакии, Румынии и Югославии. Венгерское правительство было чрезвычайно антисемитским и до этого, а теперь оно прежде всего депортировало с присоединенных территорий всех евреев без гражданства.

Почти во всех странах антиеврейские действия начинались с тех, у кого не было гражданства.

Эти действия шли за рамками «окончательного решения» и, по сути, не соответствовали тщательно разработанным

* Курт Бехер – помощник Генриха Гиммлера. Зимой 1944–1945 гг. Гиммлер доверил ему возглавить переговоры об обмене евреев на денежные платежи.

планам, согласно которым Европу «следовало прочесать с запада на восток» – в последовательности операций Венгрия явно стояла не на первом месте. Венгерская полиция выкинула евреев без гражданства в близлежащие области России, что сразу возмутило немецкие оккупационные власти, в результате венгры забрали назад несколько тысяч работоспособных мужчин, а всех остальных венгерские войска под руководством немецких полицейских соединений попросту расстреляли. Однако адмирал Хорти, фашистский правитель страны, не желал идти дальше этого – возможно, под влиянием Муссолини и итальянского фашизма, – и в ближайшие годы Венгрия, подобно Италии, превратилась в рай для евреев, туда порою даже могли бежать евреи из Польши и Словакии. И когда в 1944 году Эйхмана перевели в Венгрию, там проживали восемьсот тысяч евреев – в то время как до войны и захвата новых территорий их там было всего пятьсот тысяч.

Как мы уже знаем, безопасность этих трехсот тысяч приобретенных Венгрией евреев зиждилась не на том, что венгры горели желанием предоставить им убежище, а на том, что немцы не желали «размениваться по мелочам». В 1942 году, под давлением со стороны немецкого министерства иностранных дел, которое никогда не упускало возможности напомнить союзникам Германии, что доверие к ним зависит не от готовности помочь в ведении военных действий, а от готовности «к решению еврейской проблемы», Венгрия предложила передать Германии всех еврейских беженцев. Министерство иностранных дел оценило это как шаг в верном направлении и было готово их принять, но Эйхман возражал – по техническим причинам: он считал, что «этим сектором не имеет смысла занимать-

ся до тех пор, пока Венгрия не будет готова включить и всех венгерских евреев», – слишком «дорого запускать весь механизм эвакуации» ради одной категории, поскольку это «все равно не способствует значительному продвижению в решении еврейской проблемы в Венгрии». Но теперь, в 1944 году, Венгрия наконец «созрела» – поскольку 19 марта две дивизии немецкой армии оккупировали страну. Вместе с ними прибыли и новый уполномоченный рейха, штандартенфюрер СС доктор Эдмунд Веезенмайер – агент Гитлера в министерстве иностранных дел, и обергруппенфюрер СС Отто Винкельман – один из высших чинов СС и полиции, получавший прямые указания от Гиммлера. Третьим прибывшим в страну эсэсовским чином был Эйхман – эксперт по эвакуации и депортации евреев, непосредственными начальниками которого были Мюллер и шеф РСХА Кальтенбруннер. Сам Гитлер не оставил никаких сомнений в том, что означало прибытие этих трех господ вместе – в известной беседе накануне оккупации страны он сказал Хорти: «Венгрия еще не предприняла шагов, необходимых для решения еврейского вопроса», – и обвинил его в том, что он «не позволяет уничтожить евреев» (Хилберг).

Задание Эйхмана было определено четко. Весь его отдел перебирался в Будапешт (с точки зрения карьеры это было «падением вниз»), дабы помочь в важном деле – присматривать за принятием «необходимых шагов». Он не представлял себе, что его ждет: его худшие опасения касались возможного сопротивления со стороны части венгров, с которым он не смог бы справиться, так как ему не хватало ни людей, ни знаний местных условий. Но эти страхи оказались совершенно безосновательными. Венгерские жандармы горели энтузиазмом, а новый

статс-секретарь, отвечавший за политические (еврейские) вопросы в министерстве внутренних дел Венгрии, Ласло Эндре, оказался человеком, «хорошо знавшим еврейскую проблему» – он стал близким другом, с которым Эйхман проводил свободное время. Все шло «как во сне», повторял он, вспоминая об этом эпизоде, трудностей вообще не существовало. Если, конечно, не называть трудностями некоторые мелкие нестыковки между его приказами и желаниями его новых друзей: так, например, из-за приближения с востока советской армии он приказал «прочесывать с востока на запад», а это означало, что будапештских евреев в первые недели или месяцы трогать не станут, – такая задержка огорчала венгров, поскольку они мечтали, чтобы лидером по части *judenrein* стала их дорогая столица.

«Счастливый сон» Эйхмана стал для евреев кошмаром: нигде за такой короткий промежуток времени не было депортировано и уничтожено такое количество людей. Менее чем за два месяца из страны отправилось 147 составов, увозящих в опечатанных товарных вагонах 434 351 человека, по сто человек в каждом вагоне – газовые камеры Освенцима едва справлялись с таким наплывом.

Проблемы возникли по совершенно иным причинам. Приказ «помочь в решении еврейского вопроса» получил не один человек, а целых три, при этом у каждого из них была своя цепь инстанций. Винкельман был выше Эйхмана по чину, но при этом не относился к РСХА, к которому принадлежал Эйхман. А Веезенмайер из министерства иностранных дел не зависел ни от того, ни от другого. Во всяком случае Эйхман отказал-

ся подчиняться их приказам и всячески игнорировал их присутствие. Но самые большие проблемы возникли из-за четвертого – того, кого Гиммлер наделил «особой миссией» в единственной стране Европы, в которой все еще проживало не только большое количество евреев, но большое количество евреев, занимавших важные экономические позиции.

Из ста десяти тысяч коммерческих и производственных предприятий Венгрии сорок тысяч находились в руках евреев.

Этим человеком был оберштурмбанфюрер, а затем – штандартенфюрер Курт Бехер.

Бехер, ныне процветающий бременский коммерсант, был давним недругом Эйхмана – как ни странно, защита предъявила его в качестве своего свидетеля. По вполне очевидным причинам приехать в Иерусалим он не мог, и показания с него сняли в его родном немецком городе. Однако его показания пришлось отвести, так как вопросы, на которые он должен был отвечать только после принятия присяги, ему были заданы заранее. Жаль, что Эйхман и Бехер не смогли столкнуться друг с другом, и не только по юридическим причинам. Такая конфронтация могла бы продемонстрировать еще одну часть «общей картины», которая даже с юридической точки зрения имела к делу прямое отношение. Как заявил Бехер, он вступил в СС, потому что «начиная с 1932 года и до сего дня он активно занимался верховой ездой». Тридцать лет назад в Европе это был спорт высших классов. В 1934 году его инструктор убедил его вступить в кавалерийский полк СС, что на тот момент было весьма выгодным предложением для человека, который, с од-

ной стороны, желал примкнуть к «движению», а с другой – не утратить своего социального статуса.

Возможная причина, почему Бехер в своих показаниях так настаивал на верховой езде, никогда не упоминалась: дело в том, что Нюрнбергский трибунал исключил кавалерию СС из списка преступных организаций.

С началом войны Бехер попал на фронт, и не просто как армейский офицер, но как офицер армейских подразделений СС по связи с армейским командованием. Вскоре он покинул фронт и стал главным закупщиком лошадей для кадрового управления СС – эта должность принесла ему все мыслимые награды и знаки отличия.

Бехер заявил, что его послали в Венгрию исключительно для приобретения для СС двадцати тысяч лошадей, что вряд ли было возможно, поскольку сразу по прибытии он начал вести переговоры с главами крупных еврейских торгово-промышленных фирм. Его отношения с Гиммлером были великолепными, он мог встречаться с ним в любое время. Так что суть его «особой миссии» была вполне прозрачной: за спиной венгерского правительства он должен был захватить контроль над крупнейшими еврейскими торгово-промышленными фирмами, в обмен обещая их владельцам право беспрепятственного выезда из страны плюс внушительную сумму в иностранной валюте.

Самой крупной сделкой Бехера было соглашение со сталелитейным концерном Манфреда Вайсса – огромным предприятием, на котором трудились тридцать тысяч рабочих: концерн производил все – от самолетов и грузовиков до велосипе-

дов, консервных банок, булавок и иголок. В результате сделки сорок пять членов семьи Вайсса эмигрировали в Португалию, а их бизнес возглавил господин Бехер.

Когда Эйхман узнал об этом *Schweinery* (свинстве), он пришел в ярость: эта история могла подорвать его хорошие отношения с венграми, которые, естественно, хотели бы сами владеть конфискованной на их земле еврейской собственностью. Причины для негодования у него были вполне резонными, так как такие сделки противоречили обычной политике нацистов – те были довольно щедры. В тех странах, где им помогали решать еврейский вопрос, немцы не требовали себе ничего из конфискованной еврейской собственности, следовало заплатить лишь за депортацию и уничтожение, и эта плата для разных стран была разной: словаки должны были платить от трехсот до пятисот рейхсмарок за одного еврея, хорваты – только тридцать, французы – семьсот, а бельгийцы – двести пятьдесят. (Похоже, никто, кроме хорватов, так и не заплатил.) От Венгрии на этом этапе войны немцы требовали оплаты товарами – транспортом продовольствия для рейха, количество которых определялось количеством пищи, которую могли бы съесть евреи, если бы их не депортировали.

История с Вайссом была лишь началом, и, с точки зрения Эйхмана, дела могли пойти еще хуже. Бехер был прирожденным коммерсантом, и там, где Эйхман видел лишь огромные организационные и административные задачи, он видел почти безграничные возможности делать деньги. Единственным препятствием для него была узколобость служаков типа Эйхмана – они слишком серьезно относились к своим обязанностям. Прожект оберштурмбанфюрера Бехера вскоре привели

его к участию в спасательных операциях доктора Рудольфа Кастнера и к тесному с ним сотрудничеству.

Бехер обязан своей свободой показаниям Кастнера в Нюрнберге – этот жест стоил доктору Кастнеру жизни: в марте 1957 года он был убит в Израиле двумя выжившими венгерскими евреями. Произошло это через несколько месяцев после того, как Верховный суд Израиля лишил юридической силы суждение, процитированное, однако, судьей Беньямином Халеви в иерусалимском окружном суде: в нем было сказано, что доктор Кастнер, обвиненный в сотрудничестве с нацистами в Венгрии, «продал душу дьяволу».

Дела, которые Бехер проворачивал через Кастнера, были куда проще мудреных переговоров с воротилами бизнеса: он установил фиксированный тариф на спасение евреев. По поводу цен пришлось поспорить, и в какой-то момент, похоже, в предварительную дискуссию включился и Эйхман. Что характерно, предложенная им ставка была довольно низкой – по две сотни долларов за еврея, и не потому, что он хотел спасти как можно больше евреев, а потому, что не привык мыслить большими категориями. В результате сговорились на тысяче долларов за душу, и одна группа, состоявшая из 1684 евреев, в которую входила и семья доктора Кастнера, действительно отправилась из Венгрии в пересыльный лагерь Берген-Бельзен, откуда им удалось перебраться в Швейцарию. В результате аналогичной сделки Бехер и Гиммлер надеялись получить от Американского еврейского распределительного комитета «Джойнт» двадцать миллионов швейцарских франков на приобретение разного ро-

да товаров, но из этой сделки ничего не вышло, так как к моменту ее завершения советская армия уже освободила Венгрию.

Нет никаких сомнений, что Бехер действовал с полного одобрения Гимmlера, и эта деятельность резко противоречила «радикальным» приказам, которые все еще поступали к Эйхману от его непосредственных начальников в РСХА Мюллера и Кальтенбруннера. По мнению Эйхмана, люди вроде Бехера были коррумпированы до мозга костей, однако не коррупция стала причиной кризиса совести, поскольку сам он, хоть в течение многих лет и сталкивался с коррупцией, подвержен ей ни в коей мере не был. Трудно представить, чтобы он не знал, что его друг и подчиненный гауптштурмфюрер Дитер Вислицени в начале 1942 года получил за задержку депортации из Словакии пятьдесят тысяч долларов от Братиславского еврейского комитета помощи, хотя такое все-таки возможно; но он не мог не знать того, что осенью 1942 года Гимmlер за иностранную валюту пытался продавать разрешения на выезд евреям Словакии – эти деньги требовались ему для набора новых частей СС. Но теперь, в Венгрии 1944 года, все было по-другому – и не потому, что Гимmlер был вовлечен в «коммерцию», а потому что коммерция стала официальной политикой – она уже не была коррупцией в чистом виде.

Поначалу Эйхман пытался включиться в игру по новым правилам: это произошло, когда он оказался задействованным в фантастических переговорах на тему «кровь за товар» – один миллион евреев за десять тысяч грузовиков для разваливавшейся немецкой армии, инициатором которых, естественно, был отнюдь не он. То, как он объяснял свою роль в этом вопросе в иерусалимском суде, явно показывает, как он в свое время по-

пытался оправдаться перед самим собой: это была военная необходимость, которая могла принести ему дополнительные преимущества в новой важной роли в деле эмиграции. В чем он, возможно, не признавался тогда и самому себе, так это в том, что наступавшие со всех сторон проблемы вполне могли привести к его скорой безработице (и через несколько месяцев такое действительно случилось), если ему не удастся найти какой-либо подпорки, оттолкнувшись от которой он снова смог бы взобраться к власти. Когда план обмена вполне предсказуемо рухнул, всем уже было известно, что Гиммлер, несмотря на колебания – а он на самом деле испытывал перед Гитлером чисто физический страх, – все-таки решил положить конец «окончательному решению»; и дело было не в коммерции, не в военной необходимости, просто Гиммлер хотел создать иллюзию, будто будущим миром Германия должна быть обязана исключительно ему. Именно в это время возникло «умеренное крыло» СС, состоявшее из тех, кому хватало глупости верить, будто убийца, способный доказать, что он убил не так много человек, как мог бы убить, обладает замечательным алиби, а также из тех, кому хватало ума предвидеть возврат к «нормальным условиям», когда деньги и хорошие связи снова начнут играть самую важную роль.

Эйхман никогда не входил в это «умеренное крыло», да и вряд ли, даже если б он захотел, его туда допустили. Он не только был слишком сильно скомпрометирован и благодаря постоянным контактам с еврейскими функционерами слишком хорошо известен – он был чересчур примитивен для этих образованных «господ» из верхних слоев среднего класса, и сам до конца дней своих испытывал к ним глубокое презрение. Он

был способен послать миллионы людей на смерть, но был не способен говорить об этом так, как принято у «образованных», не прибегая к помощи «языковых норм». В Иерусалиме, где ему сверху никаких норм не «спустили», он свободно говорил об «убийствах» и об «уничтожении», о «преступлениях, узаконенных государством»: он, в отличие от собственного защитника, называл вещи своими именами, а защитник при этом неоднократно демонстрировал ему свое социальное превосходство.

Ассистент Сервациуса, доктор Дитер Вехтенбрух – ученик Карла Шмитта*, который присутствовал в течение первых недель процесса, а затем отправился в Германию снимать показания со свидетелей защиты и вернулся в Иерусалим только в последнюю неделю августа, – с готовностью общался с репортерами вне зала суда, и, судя по его комментариям, он был куда менее поражен преступлениями Эйхмана, чем явным отсутствием у него вкуса и образования. «Это мелкая сошка, – говорил он. – Мы постараемся вытащить его из этих неприятностей» – *wie wir das Würtchen über dir Runden bringen*. А Сервациус еще до начала процесса заявлял, что у его клиента «душа почтальона».

Когда Гиммлер стал «умеренным», Эйхман принялся саботировать его приказы – по крайней мере до того предела, до которого был «прикрыт» своими непосредственными начальниками. «Как это Эйхман осмеливается саботировать приказы

* Карл Шмитт (1888–1985) – выдающийся немецкий юрист, политолог, философ, историк.

Гиммлера?» – спросил Кастнер у Вислицени (речь шла о приказе осенью 1944-го прекратить пешие этапы). Ответ был таким: «Он наверняка может предъявить какую-то телеграмму. Мюллер и Кальтенбруннер, должно быть, его прикрывают».

Вполне возможно, что у Эйхмана был свой, как всегда путаный план ликвидировать Терезин до прихода советской армии, хотя мы можем судить об этом только по сомнительным показаниям Дитера Вислицени (который за месяцы, а возможно и за годы до конца принялся потихонечку подготавливать для себя алиби за счет Эйхмана, именно поэтому в Нюрнберге он выступал свидетелем обвинения; однако это его не спасло, потому что его выдали Чехословакии, где у него не было ни денег, ни связей, и он был осужден и казнен в Праге). Другие свидетели, напротив, утверждают, что ликвидировать Терезин собирался подчиненный Эйхмана Рольф Гюнтер и что существует письменное распоряжение Эйхмана, в котором он приказывает не трогать лагерь. Во всяком случае даже в апреле 1945 года, когда «умеренными» стали все, Эйхман воспользовался визитом в Терезин Поля Дюнана из швейцарского комитета Красного Креста, чтобы заявить, что лично он не одобряет нового подхода Гиммлера к евреям.

Вопрос о том, что Эйхман на всех этапах «решения еврейского вопроса» трудился на то, чтобы это решение было «окончательным», даже не обсуждается. Вопрос в другом: является ли это доказательством его фанатизма, его безграничной ненависти к евреям, и лгал ли он полиции и суду, когда говорил, что всего лишь подчинялся приказам. Судьи могли найти только такое объяснение, а ведь они действительно старались понять обвиняемого и относились к нему с подлинной

человечностью – так к нему, наверное, никто и никогда прежде в жизни не относился.

Доктор Вехтенбрух говорил репортерам, что Эйхман «безгранично верит судье Ландау», словно Ландау способен сделать так, что все уляжется, все будет в порядке – Вехтенбрух приписывал эту веру постоянной потребности Эйхмана в лидере. Какими бы причины ни были, но эта вера действительно была заметной, наверное, поэтому заключение суда так «разочаровало» Эйхмана: он принял человечность за мягкость.

То, что они никак не могли его понять, служит доказательством «добродетели» этих трех человек, их несокрушимой и немного старомодной веры в моральные основы своей профессии. И поэтому печальной и крайне неудобной правдой является то, что несгибаемость и бескомпромиссность Эйхмана в последний год войны были продиктованы не фанатизмом, а как раз его совестью, той самой, которая заставила его за три года до того двигаться – пусть и недолго – в совершенно противоположном направлении. Эйхман знал, что приказы Гимmlера прямо противоречат приказам фюрера. Деталей он, конечно, не знал, хотя такие детали укрепили бы его уверенность в собственной правоте: как подчеркивало обвинение на слушаниях в Верховном суде, когда Гитлер через Кальтенбруннера узнал о переговорах об обмене евреев на грузовики, «позиция Гимmlера в глазах Гитлера была полностью подорвана». А всего за несколько недель до того как Гимmlер прекратил казни в Освенциме, Гитлер, явно не ведавший об этих новых идеях Гимmlера, отправил Хорти ультиматум, в котором говорил, что «ожидает, что меры по отношению к евреям в Будапеш-

те будут наконец-то предприняты венгерским правительством без дальнейшего промедления». Когда в Будапешт поступил приказ Гимmlера прекратить эвакуацию венгерских евреев, Эйхман – судя по телеграмме от Веезенмайера – пригрозил обратиться «за прямыми приказами к фюреру»: суд счел эту телеграмму «более компрометирующей, чем сотни свидетельских показаний».

Свою битву с «умеренными», возглавляемыми рейхсфюрером СС и шефом германской полиции, Эйхман проиграл. Первое указание на поражение пришло в январе 1945 года, когда оберштурмбанфюрер Курт Бехер получил звание штандартенфюрера – звание, о котором Эйхман мечтал всю войну.

Его собственная версия, что-де в своем отделе он не смог бы дослужиться до этого чина, справедлива лишь отчасти: он мог подняться от начальника отдела IV-B-4 до шефа департамента IV-B, и тогда ему автоматически присвоили бы следующее звание. Правда же, скорее всего, заключается в том, что людям типа Эйхмана, которые вышли из низов, дослужиться до звания выше подполковника было невозможно нигде, кроме как на фронте.

Вскоре Венгрия была освобождена, а Эйхмана отозвали в Берлин. Там Гимmlер назначил его врага Бехера рейхсзондеркомиссаром всех концлагерей, а Эйхмана перевели из отдела, занимавшегося «еврейским вопросом», в ничего не значащий «отдел церквей», о которых он ровным счетом ничего не знал. Скорость его падения в последние месяцы войны великолепно иллюстрирует правоту Гитлера, когда он в апреле 1945 года в своем берлинском бункере заявил, что больше не доверяет СС.

Когда в Иерусалиме Эйхману предъявляли документальные доказательства его экстраординарной преданности Гитлеру и его приказам, он старался объяснить, что в Третьем рейхе «слова фюрера имели силу закона» (*Führerworte haben Gesetzeskraft*), что помимо всего прочего означало, что поступивший напрямую от Гитлера приказ не обязательно должен быть в письменном виде. Вот почему, объяснял он, он никогда не просил предоставить ему письменные приказы Гитлера (до сих пор ни одного подобного документа, касавшегося «окончательного решения», не найдено – возможно, его вообще не существует), но от Гимmlера он требовал исключительно письменных указаний.

Именно таким фантастическим образом все и обстояло, и существует уже целая библиотека высокоученных юридических комментариев, подтверждающих, что слова фюрера, его устные высказывания были основным законом страны. В рамках такой «законности» любой приказ, буквально или по духу противоречащий произнесенному Гитлером слову, был по определению незаконным. Таким образом, позиция Эйхмана подозрительно напоминала позицию часто упоминаемого солдата, который, действуя в нормальных законных рамках, отказывается выполнять приказы, которые противоречат его привычным представлениям о законности и потому, на его взгляд, являются преступными.

В обширной литературе по этому вопросу обычно говорится о допускающем двойное толкование слове «закон», которое в данном контексте иногда означает закон страны – то есть постулированный, действующий закон, а иногда – закон, который живет в душе человека и голос которого порою заглушает голос закона страны. Если же мы под этим будем понимать не-

двусмысленный голос совести – или, по куда более размытому юридическому определению, «основного свойственного человеку чувства» (Лаутерпахт Г., Оппенгейм Л. Международное право, 1952), то это не только умаляет вопрос, но означает сознательный отказ от обсуждения основного морального, юридического и политического феномена нашего времени.

Конечно, действиями Эйхмана руководила не только его убежденность в том, что Гиммлер начал отдавать «преступные» приказы. В Эйхмане говорил не фанатизм, а его истинное, «безграничное и чрезмерное восхищение Гитлером» (как назвал это один из свидетелей защиты) – человеком, который «из ефрейтора превратился в канцлера рейха». И не имеет никакого смысла пытаться понять, какой мотив был для него сильнее – его восхищение Гитлером или его твердая решимость оставаться законопослушным гражданином уже лежавшего в руинах Третьего рейха. В последние дни войны, когда он уже был в Берлине и с негодованием наблюдал, как все окружающие, готовясь к встрече с русскими или с союзниками, добывали себе фальшивые документы, свою роль играли оба мотива. Несколько недель спустя Эйхман тоже отправился в путь под вымышленным именем, но к тому времени Гитлер был уже мертв, «закона страны» больше не существовало, и он, как он сам говорил, больше не был связан присягой. Потому что присяга, которую принимали члены СС, отличалась от воинской присяги – они присягали в верности Гитлеру, а не Германии.

Случай с совестью Эйхмана, достаточно сложный, но отнюдь не уникальный, вряд ли сравним со случаями немецких генералов, один из которых, когда его в Нюрнберге спросили: «Как же стало возможным, что вы, почтенные генералы, могли

с такой неоспоримой преданностью продолжать служить убийце?» ответил, что «не дело солдата судить вышестоящего командира. Оставим это истории или Господу Богу». (Эти слова принадлежат повешенному в Нюрнберге генералу Альфреду Йодлю.) Эйхман, человек куда менее интеллектуальный и практически необразованный, по крайней мере смутно понимал, что в преступника его превратил не приказ, а закон. Различие между приказом и словом фюрера заключалось в том, что юридическая сила последнего не ограничивалась ни временем, ни пространством, а приказ имел такие ограничения. В этом также заключается истинная причина, почему приказ фюрера об «окончательном решении» сопровождался целым потоком постановлений и директив, которые составляли опытные юристы и адвокаты, а не чиновники: этот приказ, в отличие от обычных приказов, имел силу закона. И вряд ли стоит здесь напоминать, что вся эта активная юридическая деятельность, будучи, с одной стороны, обыкновенным проявлением немецкого педантизма, с другой стороны, была призвана придать всему процессу вид хоть какой-то законности.

И точно так же как закон во всех цивилизованных странах предполагает, что, хотя порою естественные желания и склонности человека могут толкать его к убийству, голос совести все-таки говорит всем и каждому: «Не убий», закон страны Гитлера требовал, чтобы голос совести говорил: «Убий», хотя организаторы резни прекрасно знали, что убийство противоречит естественным желаниям и склонностям большинства людей. Зло в Третьем рейхе утратило тот признак, по которому большинство людей его распознают – оно перестало быть искушением. Многие немцы и многие нацисты, возможно, испыты-

ДОЛГ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО . . .

вали искушение не убивать, не грабить, не позволять своим соседям идти на верную гибель (а то, что конечной точкой транспортов с евреями была смерть, знали все, хотя далеко не все знали чудовищные подробности) и тем самым не становиться соучастниками преступления, которые извлекли из него выгоду. Но – Господь знает, они научились противиться искушению.

ГЛАВА IX

ДЕПОРТАЦИИ ИЗ РЕЙХА: ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ И ПРОТЕКТОРАТ

В исторический период между Ванзейской конференцией в январе 1942 года, когда Эйхман, чувствуя себя Понтием Пилатом, умывал руки, и летом и осенью 1944 года, когда Гиммлер за спиной Гитлера задумал отказаться от «окончательного решения еврейского вопроса» – словно все сопровождавшие его бойни были лишь достойной сожаления ошибкой, – вопросы совести Эйхмана не беспокоили. Его помыслы были полностью заняты деликатной работой по организации и администрированию, и решать эту задачу приходилось не только в самый разгар мировой войны, но и, что было для него более важным, в разгар бесчисленных интриг и подковерной борьбы за сферы влияния между занятыми «решением еврейского вопроса» государственными и партийными службами.

Главными антагонистами Эйхмана были высшие чины СС и полиции – они находились в прямом подчинении Гиммлеру, имели свободный выход на него и потому всегда были на

шаг впереди Эйхмана. Имелось также и министерство иностранных дел, которое под руководством нового заместителя министра доктора Мартина Лютера, протеже Риббентропа (путем сложной интриги Лютер попытался свалить Риббентропа в 1943-м, заговор провалился, и он окончил свою жизнь в концентрационном лагере; его сменил советник посольства Эберхард фон Тадден – свидетель защиты на процессе в Иерусалиме), развернуло бурную деятельность в сфере «еврейского вопроса»: министерство периодически издавало приказы о депортации, которые должны были исполнять его представители за границей, и те, из соображений престижа, предпочитали действовать поверх чинов СС и полиции. Кроме того, имелось еще и армейское командование восточных оккупированных территорий, которое любило решать проблемы «радикально», что означало расстрелы; с другой стороны, военные в западных странах никогда не шли на сотрудничество и отказывались посылать войска для действий против евреев. И, наконец, были еще гаулейтеры, или региональные лидеры, каждый из которых желал первым провозгласить свою территорию *judenrein* – время от времени они начинали депортации по своему собственному усмотрению.

Эйхман должен был координировать все эти «усилия», чтобы добиться некоего подобия порядка в том, что он характеризовал как «полный хаос», когда «каждый издавал собственные приказы и действовал, как ему заблагорассудится». И в этом вопросе он преуспел, хотя и не в полной мере: он занял ключевую позицию в процессе, так как его структура организовывала транспортировку. По словам доктора Рудольфа Мильднера – главы гестапо в Верхней Силезии (где располагался Освенцим), а

позже главы службы безопасности в Дании, который давал показания на Нюрнбергском процессе, – письменные приказы о депортации от Гимmlера поступали главе РСХА Кальтенбруннеру, который ставил о них в известность Мюллера – главу гестапо, или Четвертого управления РСХА, а тот, в свою очередь, устно передавал приказы руководителю отдела IV-B-4 – то есть Эйхману. Гимmlер также отдавал приказы высшим чинам СС и полиции на местах и аналогичным образом информировал о них Кальтенбруннера. Вопросы о том, как следует поступать с депортируемыми евреями, скольких надобно уничтожить, а скольких направить на тяжелые физические работы, также решал Гимmlер, а его приказы по данной теме передавались в ВФХА (Главное административно-хозяйственное управление СС) под управлением Поля, который затем перенаправлял их Рихарду Глюксу – инспектору концентрационных лагерей и лагерей смерти, который, в свою очередь, адресовал их начальникам лагерей.

Обвинение игнорировало эти документы с Нюрнбергского процесса, так как они противоречили уже сложившейся у обвинения теории о чрезвычайной власти, которую сосредоточил в своих руках Эйхман; защита упоминала о показаниях Мильднера, но безрезультатно. Сам же Эйхман, «сверившись с Поляковым и Рейтлинджером», продемонстрировал семнадцать разноцветных таблиц, которые практически не вносили никакой ясности в понимание сложного бюрократического механизма Третьего рейха, хотя его общее описание – «все и всегда находилось в состоянии постоянного движения, непрерывного потока» – могло бы прозвучать правдоподобно для исследователя тоталитаризма, который знает, что монолитная структура такой формы правления – миф.

Тем не менее Эйхман все еще смутно помнил, как его люди – консультанты по еврейскому вопросу – во всех оккупированных и зависимых странах докладывали ему, «какая акция может быть осуществимой», как он затем готовил «отчеты, которые позже либо одобрялись, либо отклонялись», и как Мюллер издавал свои директивы; «на практике это могло означать, что предложение, поступившее из Парижа или Гааги, тем же вечером возвращалось в Париж или Гаагу в форме директивы, одобренной РСХА». Положение Эйхмана можно было сравнить с самой важной конвейерной лентой всей операции, потому что именно он и его люди решали, скольких евреев можно или должно перевезти из любой обозначенной области, потому что именно его организации сообщался окончательный пункт транспортировки, хотя какой это будет пункт, определял не он. А вот вечное беспокойство по поводу выбивания достаточного количества подвижных составов у железнодорожного начальства и министерства транспорта, сложность согласования отправок и прибытий, графика движения поездов и отправки составов в центры с достаточной «поглощающей способностью», обеспечения достаточного числа евреев в конкретное время, чтобы составы не шли полупустыми, необходимость заручаться поддержкой властей на оккупированных территориях или стран-союзниц в проведении арестов, обязанность строгого исполнения приказов и директив в отношении разных категорий евреев, которые издавались отдельно для каждой страны и постоянно менялись, – все это стало рутиной, детали которой он забыл задолго до того, как его доставили в Иерусалим.

То, что для Гитлера, единоличного автора «окончательного решения» еврейского вопроса (никогда еще в истории не

было заговора, в котором участвовало бы так мало заговорщиков и так много исполнителей), было одной из главных целей войны, достижение которой, независимо от экономических и военных соображений, означало ее венец, и то, что для Эйхмана было работой с ее ежедневной рутинной, взлетами и падениями, для евреев было в буквальном смысле концом света.

За сотни лет евреи приучились понимать свою историю – правильно ли, нет ли – как бесконечную череду страданий, как выразился обвинитель в своей вступительной речи на процессе; однако на протяжении достаточно долгого времени сложился и другой взгляд: всепобеждающая убежденность в том, что «*Am Yisrael Chai*» – народ Израилев должен жить! Отдельные евреи, целые еврейские семьи могли погибнуть в погромах, целые общины могли быть стерты с лица земли, но народ должен был выжить. Они прежде никогда не сталкивались с геноцидом, но это утешение больше не срабатывало, по крайней мере в Западной Европе. Со времен Древнего Рима, с момента возникновения европейской истории евреи – хорошо ли это, плохо ли, к счастью или на беду – стали своего рода объектом европейской международной вежливости; однако на протяжении последних ста пятидесяти лет это определенно было к лучшему, случаи возвышения евреев стали столь многочисленными, что в Центральной и Западной Европе они уже принимали характер тенденции. Таким образом, убежденность в необходимости выживания народа более не имела значения для большей части еврейских общин; они уже не могли представить себе жизнь евреев вне рамок европейской цивилизации, и уж менее всего они могли вообразить Европу *judenrein*.

Конец света, хотя и проведенный очень буднично, принял почти столько же форм и обликов, сколько в то время существовало стран в Европе. Вряд ли это удивит историка, осведомленного о развитии европейских наций, понимающего природу государств, основанных по национальному признаку, – удивлены были сами нацисты, искренне верившие, что антисемитизм может стать тем самым общим знаменателем, который объединит всю Европу. Это была колоссальная и очень дорогостоящая ошибка. Практика, а не теоретические домыслы, очень быстро показала, что в разных странах и антисемиты очень и очень разные. Что было еще более раздражающим, и что легко можно было предвидеть, так это тот факт, что германский «радикальный ассортимент» нашел полнейшее понимание только у тех восточноевропейских народов – украинцев, эстонцев, латышей, литовцев и до определенной степени у румын, – которых нацисты считали варварскими ордами «недочеловеков». Заметным дефицитом в проявлении недобрых чувств к евреям отличались скандинавские народы (Кнут Гамсун и Свен Хедин были исключениями), которых нацисты считали своими братьями по крови.

Конец света начался, конечно же, в германском рейхе, в который в то время входила не только Германия, но и Австрия, Моравия и Богемия, чешский протекторат и аннексированные западные территории Польши. Именно с этих территорий, так называемых Вартегау*, евреев и поляков с началом войны стали переселять на восток – то был самый первый ги-

* Так нацисты называли оккупированные западные области с центром в Познани.

гантский проект «по великому переселению народов», как это было сформулировано в документах окружного суда в Иерусалиме, – тогда как поляки с немецкими кровями (*Volksdeutsche*) депортировались на запад, «обратно в рейх». Наделенный властью рейхскомиссара по укреплению германской нации, Гиммлер поручил Гейдриху вопросы «эмиграции и эвакуации», и в январе 1940 года был учрежден департамент РСХА IV-D-4, где в первое время и работал Эйхман. И хотя эта должность в административном смысле была всего лишь ступенькой в его дальнейшей карьере в IV-B-4, пребывание Эйхмана здесь можно сравнить с некоей разновидностью учебы, своего рода переходом от работы по выдавливанию людей в эмиграцию к будущей службе, суть которой заключалась в их депортации.

Первые депортации под началом Эйхмана никак не были связаны с «окончательным решением» еврейского вопроса, они имели место до официального приказа Гитлера. Исходя из того, что произошло позже, эти депортации можно рассматривать как пробные, как некий эксперимент с катастрофой.

Первой была депортация тысячи трехсот немецких евреев из Штеттина*, и она была проведена всего за одну ночь – 13 февраля 1940 года. Гейдрих провел ее под следующим девизом: «По причинам, связанным с экономикой военного времени, возникла настоятельная необходимость в их квартирах». В необыкновенно жесткой форме они были депортированы в район Люблина в Польше. Вторая депортация произошла осе-

* Ныне этот польский город, который тогда находился в присоединенной к Германии части Польши, называется Щецин.

нюю того же года: все евреи Бадена и Саарпфальца – примерно семь с половиной тысяч мужчин, женщин и детей – были вывезены, как я писала ранее, в неоккупированную Францию, что на тот момент было своего рода хитростью, так как ни один пункт франко-германского договора о перемирии не подразумевал, что вишистская Франция станет «точкой сброса» евреев. Эйхман лично сопровождал состав, чтобы убедить начальника станции с французской стороны границы, что этот германский поезд – «военный».

Обе эти операции проводились без всякого флера «законности», видимость которой во всех последующих акциях была доведена до совершенства. На тот момент законы, лишавшие евреев гражданства, еще не были приняты, и вместо множества бумаг, которые евреи впоследствии должны были заполнить, чтобы конфискация их собственности имела законный характер, евреи Штеттина просто подписывали общий отказ от собственности, в котором перечислялось все, чем они владеют.

Ясно, что эти первые операции не имели своей целью проверить действенность административного аппарата. Похоже, их целью была проверка общей политической ситуации – можно ли заставить евреев добровольно следовать туда, где будет решаться их участь, поднять их среди ночи, разрешить взять в дорогу минимум, ничего не оговаривая наперед. Посмотреть, как будут реагировать соседи, увидев поутру пустые квартиры, а в случае баденских евреев – как будут реагировать иностранные правительства, на которые внезапно хлынула волна тысяч еврейских «беженцев». С точки зрения нацистов, ситуация складывалась очень благоприятная. В Германии существовало множество вариантов решения «особых случаев» – как, на-

пример, с поэтом Альфредом Момбертом, входившим в литературный кружок Стефана Георге*, которому разрешили уехать в Швейцарию, – но население, по большому счету, эта проблема не волновала.

По-видимому, именно в тот период Гейдрих понял, как важно разорвать все связи между евреями и массами населения, и решил – с согласия Гитлера – создать концлагеря Терезин и Берген-Бельзен.

Во Франции все вообще складывалось славно: правительство Виши разместило все семь с половиной тысяч евреев из Бадена в знаменитом концентрационном лагере Гюр у подножья Пиренеев, который изначально был построен для испанской республиканской армии и с мая 1940 года использовался для так называемых беженцев из Германии, большинство которых, конечно же, составляли евреи.

Когда во Франции была запущена процедура «окончательного решения еврейского вопроса», всех обитателей концлагеря Гюр перевезли в Освенцим.

Всегда склонные к обобщениям, нацисты решили, что они продемонстрировали, что евреи «нежелательны» повсюду и что каждый нееврей является антисемитом – или потенциальным антисемитом. Тогда, спрашивается, почему кто-то станет

* Крупный немецкий поэт, основатель германского символизма в литературе.

проявлять озабоченность, если они, нацисты, начнут решать проблему «радикально»? Все еще будучи под очарованием этих обобщений, Эйхман вновь и вновь жаловался в Иерусалиме, что ни одна страна не была готова принять евреев – это, и только это, стало причиной страшной катастрофы.

Можно подумать, что европейские государства, компактно организованные по национальному признаку, реагировали бы каким-то иным образом, обвалились на них внезапно орды любых иностранцев – нищих, без документов, не знающих языка данной конкретной страны!

Однако, к бесконечному удивлению нацистских официальных лиц, даже убежденные антисемиты в зарубежных странах не желали быть «последовательными» и демонстрировали достойную сожалению тенденцию самоустраняться от «радикальных» мер. Немногие из них повели себя очень прямолинейно, как, например, один из сотрудников испанского посольства в Берлине: «Хорошо бы иметь гарантии, что их не ликвидируют», – он говорил о шестистах евреях испанского происхождения, которым были выданы испанские паспорта, хотя они никогда прежде не бывали в Испании, и кого правительство Франко мечтало перевести под юрисдикцию немцев – но большинство думало в точности именно так, как этот чиновник.

После первых экспериментов последовало полное прекращение депортаций, и мы увидели, как Эйхман воспользовался своим вынужденным бездействием для подготовки Мадагаскарского проекта. Но в марте 1941 года, во время приготовления к войне с Россией, Эйхмана вдруг поставили во главе ново-

го подразделения, или, точнее говоря, название его конторы из подразделения эмиграции и эвакуации превратилось в подразделение по еврейским вопросам и эвакуации.

С этого момента, хотя он еще не был информирован об «окончательном решении», он уже должен был понимать, что не только эмиграция вот-вот закончится, но и вместо нее будут включены механизмы депортации. Однако Эйхман намеков и полутонов не понимал, а так как других распоряжений ему никто не отдавал, он продолжал рассуждать с точки зрения эмиграции. Таким образом, когда на встрече с представителями министерства иностранных дел в октябре 1940 года прозвучало предложение аннулировать гражданство всех немецких евреев, которые находятся за границей, Эйхман протестовал очень яростно, он утверждал, что «такой шаг может повлиять на другие страны, которые до сегодняшнего дня по-прежнему готовы открыть свои границы для еврейских иммигрантов и оформить им въездные визы».

Эйхман привык лавировать в узком пространстве, которое давали ему действующие в каждый конкретный момент законы и директивы, и вдруг возник настоящий шквал новых антиеврейских законопроектов, направленных на евреев рейха – но все это произошло лишь после приказа Гитлера об «окончательном решении», который был официально доведен до его исполнителей. В то же время было принято и решение о том, что высший приоритет отдается рейху, его территории должны стать *judenrein* максимально быстро – удивительно, но на решение этой задачи им потребовалось почти два года. Предварительные инструкции, которые вскоре должны были стать моделями для всех остальных стран, состояли, во-первых, из введе-

ния «желтого знака» (1 сентября 1941 года), во-вторых – из изменений в действующем законе о гражданстве, оговаривающем, что еврей не может считаться гражданином Германии, если он проживает за границами рейха (куда он, естественно, был депортирован), в-третьих – из декрета, по которому вся собственность лишенных гражданства немецких евреев конфискуется в пользу рейха (25 ноября 1941 года). Кульминацией этих приготовлений стало соглашение между Отто Тираком – министром юстиции – и Гиммлером, по которому первый имел ограниченную юрисдикцию над «поляками, русскими, евреями и цыганами», а всю полноту власти получало СС, так как «министерство юстиции может внести только очень незначительный вклад в уничтожение [*sic*] этих народов».

Написанное «открытым текстом» письмо от министра юстиции главе партийной канцелярии Мартину Борману, датированное октябрём 1942 года, заслуживает особого внимания.

Несколько иные директивы касались тех, кого депортировали в Терезин, потому что Терезин находился на территории рейха и депортированные туда евреи не лишались гражданства автоматически. В случае этих «привилегированных категорий» старый закон от 1933 года разрешал правительству конфисковать собственность, которая использовалась для деятельности, «враждебной нации и государству». Эта форма конфискации была обычной в случае политических заключенных в концентрационных лагерях, и хотя евреи не относились к этой категории – все концлагеря в Германии и Австрии к осени 1942 года стали *judenrein*, – к ним еще применялась всего одна инструк-

ция, изданная в марте 1942 года, согласно которой все депортированные евреи объявлялись «враждебными нации и государству». Нацисты относились к своему законотворчеству очень серьезно, и хотя в разговорах друг с другом они упоминали «гетто в Терезине» или «стариковское гетто», Терезин официально классифицировался как концентрационный лагерь, а единственными, кто этого не знал – никто не хотел расстраивать их, поскольку это «место жительства» было зарезервировано для «особых случаев», – были его узники. А чтобы подстраховаться, дабы отправляющиеся туда евреи не начали проявлять подозрительность, Еврейская ассоциация в Берлине (*Reichsvereinigung*) получила указание подписывать договор с каждым депортированным «о вступлении в право владения жильем» в Терезине. Кандидат переводил всю свою собственность в Еврейскую ассоциацию на условиях, что ассоциация гарантирует ему жилье, пищу, одежду и пожизненную медицинскую помощь. Когда, наконец, последние официальные лица *Reichsvereinigung* сами оказались в Терезине, рейх просто конфисковал немалое количество денег, оказавшихся в распоряжении Еврейской ассоциации.

Все депортации с запада на восток организовывал и координировал Эйхман со своими помощниками в отделе IV-B-4 РСХА – факт, который ни разу не обсуждался во время процесса. Но чтобы посадить евреев в железнодорожные составы, ему была необходима помощь обычных полицейских подразделений; в Германии регулярная полиция обеспечивала охрану поездов и конвойные функции, на восточных территориях полиция безопасности (не путать с гиммлеровской службой безопасности, или СД) располагалась в местах прибытия составов, она

принимала поезда и направляла узников в распоряжение властей в центрах смерти.

Иерусалимский суд придерживался определения преступных организаций, принятого еще в Нюрнберге, – это означало, что регулярная полиция и полиция безопасности даже не упоминались, хотя их деятельность по «окончательному решению» была к тому моменту весьма заметной. Но даже если бы все полицейские силы вошли в состав четырех организаций, признанных «преступными» – лидеры нацистской партии, гестапо, СД и СС, – нюрнбергские определения все равно оставались бы неадекватными и неприменимыми к реальности Третьего рейха. Во имя исторической правды стоит заметить, что в Германии, по крайней мере в годы войны, не существовало ни одной организации или общественного института, которые не участвовали бы в преступных действиях и операциях.

После того как проблемный вопрос «просьб и ходатайств» был решен за счет создания лагеря Терезин, на пути «радикального» и «окончательного» решения еврейского вопроса все еще стояли два препятствия. Одним была проблема полуевреев, кого «радикалы», или сторонники «радикальной линии», хотели депортировать вместе со всеми «полноценными» евреями, а «умеренные» желали бы стерилизовать: потому что если вы допустите убийство полуевреев, это будет означать, что вы пренебрегли тем, «что половина их крови – германская», как это сформулировал на Ванзейской конференции Штукарт из министерства внутренних дел.

Вообще-то в отношении *Mischlinge* – полукровок или евреев, вступивших в смешанные браки, не было сделано вообще ниче-

го; по словам Эйхмана, «это был сплошной лес препятствий», который окружал и защищал их – их нееврейские родственники, с одной стороны, а с другой стороны – огорчительный факт, что нацистские врачи, несмотря на все их обещания, так и не создали надежного средства быстрой массовой стерилизации.

Второй проблемой было наличие в Германии нескольких тысяч евреев из-за границы, кого немцы никак не могли лишиться гражданства и депортировать. Несколько сот американских и английских евреев были интернированы, их удерживали в качестве возможного варианта размена, однако методы, придуманные для воздействия на граждан нейтральных стран или стран – союзниц Германии, достаточно интересны, чтобы сделать их темой обсуждения, поскольку они играли заметную роль в данном судебном процессе.

Именно в отношении этих людей Эйхман был обвинен в неумеренном рвении, случись бедняге еврею уйти из его когтей. Аналогичным рвением, по словам Рейтлинджера, отличались и «профессиональные бюрократы из министерства иностранных дел, [для кого] побег нескольких евреев от пыток и медленной смерти был вопросом самого пристального интереса», именно их он консультировал во всех подобных случаях. Что же касалось самого Эйхмана, самое простое и наиболее логичное решение он видел в депортации всех евреев, независимо от их гражданства.

В соответствии с директивами Ванзейской конференции, которая состоялась на пике военных побед Гитлера, «окончательное решение» следовало применить ко всем европейским евреям, численность которых оценивалась в одиннадцать мил-

IX



XI





XVI



X

лионов, а такие детали, как их гражданство или права граждан нейтральных стран или стран – союзниц Германии, и не упоминались. Но так как Германия даже в самые светлые мгновения победоносной войны зависела от доброй воли и желания сотрудничать практически всех правительств на местах, мелкими формальностями не следовало пренебрегать. Найти выход из конкретного «леса проблем и препятствий» было задачей опытных сотрудников дипломатической службы, и самый остроумный заключался в использовании евреев-иностранцев на территории Германии для проверки общей атмосферы у них на родине. Метод, которым это осуществлялось, хоть и был простым, но в нем имелись определенные тонкости, и суть его, естественно, находилась вне умственных способностей Эйхмана, равно как и за пределами его политического понимания.

Тому есть документальные свидетельства: письма по этим вопросам из его департамента в министерство иностранных дел подписывали Кальтенбруннер или Мюллер.

Министерство иностранных дел обращалось к властям других стран, сообщая, что немецкий рейх находится в процессе превращения в *judenrein*, поэтому крайне важно, чтобы евреев-иностранцев отозвали бы домой, в противном случае они могут попасть под программу антиеврейских мероприятий. Кое-что в этом ультиматуме не просто привлекает внимание, а бросается в глаза. Эти еврей-иностранцы были, как правило, либо натурализованными гражданами соответствующих стран или, что хуже, вообще не имели гражданства, однако получили паспорта посредством в высшей степени сомнительных махина-

ций, которые себя оправдывали до тех пор, пока владельцы паспортов находились за границей. Это, в частности, касалось стран Латинской Америки, чьи консулы за рубежом продавали паспорта евреям совершенно открыто; счастливые обладатели таких паспортов имели все права, включая определенную консульскую защиту, за исключением права вернуться «на родину». Таким образом, ультиматум министерства иностранных дел был нацелен склонить иностранные правительства к согласию на применение «окончательного решения» – по крайней мере к тем евреям, которые были их гражданами лишь номинально. Разве не было логичным предположить, что правительство, выказавшее нежелание дать убежище нескольким сотням или нескольким тысячам евреев, которые при любом раскладе не получили бы разрешения на постоянное проживание там, станет слишком настойчиво возражать, когда в один прекрасный день все его еврейское население будет выселено и уничтожено? Возможно, это было логично, но это было не очень благо-разумно, в чем мы скоро убедимся.

30 июня 1943 года, значительно позже, чем рассчитывал Гитлер, рейх – Германия, Австрия и протекторат – был провозглашен *judenrein*. Точных цифр, сколько именно евреев было депортировано, не существует, но мы знаем о двухстах шестидесяти пяти тысячах, которые, согласно немецкой статистике, к январю 1942 года были либо депортированы, либо подлежали депортации. Спасти удалось очень немногим, может, несколькими сотнями человек, в лучшем случае – несколькими тысячами, которые сумели затаиться и пережить войну.

Сколь просто было привести совесть соседей евреев в состояние покоя, прекрасно иллюстрирует официальное объяс-

Г Л А В А I X

нение депортаций, которое было опубликовано осенью 1942 года в форме циркуляра партийной канцелярии: «Такова природа вещей и связанных с ними в некоторых смыслах крайне сложных проблем, решить которые в интересах безопасности нашей нации можно, лишь прибегнув к *беспощадной жестокости*» – *rücksichtslose Härte* (курсив мой. – Х. А.).

ГЛАВА X

ДЕПОРТАЦИИ ИЗ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ: ФРАНЦИЯ, БЕЛЬГИЯ, ГОЛЛАНДИЯ, ДАНИЯ, ИТАЛИЯ

«**Б**еспощадная жестокость» – качество, очень высоко ценившееся правителями Третьего рейха, в послевоенной Германии, которая проявила настоящую гениальность в выработке взглядов на свое нацистское прошлое, часто характеризовалось как *ungut* – что-то, в чем отсутствует добро. Словно в тех, кто обладал этим качеством, не было ничего противоземного – просто они не сумели действовать в соответствии со стандартами христианских заповедей. Как бы там ни было, люди, которых контора Эйхмана посылала в другие страны в качестве «советников по еврейским вопросам» – они могли быть участниками обычной дипломатической миссии, входить в состав военного корпуса и прикомандировываться к местному командованию полиции безопасности, – были отобраны именно потому, что это свойство было у них развито в самой высшей степени. В самом начале, осенью и зимой 1941–1942 годов, их главной задачей было установить удовлетворительные

отношения с другими немецкими официальными лицами в странах пребывания, в частности с немецкими посольствами в номинально независимых странах и с комиссарами рейха на оккупированных территориях; во всех случаях возникали постоянные конфликты из-за юрисдикции по еврейским вопросам.

В июне 1942 года Эйхман отозвал своих советников во Франции, Бельгии и Голландии и изложил им планы по депортациям из этих стран. Гиммлер приказал, чтобы Франции был отдан приоритет в «прочесывании Европы с запада на восток» – отчасти из-за важности национального вопроса как такового (*nation par excellence*), отчасти из-за того, что правительство Виши демонстрировало поистине уникальное «понимание» еврейской проблемы и по собственной инициативе вышло с целым рядом антиеврейских законов – был даже учрежден особый департамент по еврейским вопросам, который вначале возглавил Завьер Валлан, а позже – Даркер де Пеллепо, оба отпетые антисемиты. Как уступка французской ветви антисемитизма, для которого была характерна мощная шовинистическая ксенофобия, пронизывавшая все слои общества, операции начались с евреев-иностранцев, а поскольку в 1942 году более половины евреев-иностранцев во Франции не имели гражданства – это были беженцы и эмигранты из России, Германии, Австрии, Польши, Румынии, Венгрии, то есть из регионов, которые либо уже были под господством Германии, либо издали антиеврейские законы еще до начала войны, – решено было начать с депортации примерно ста тысяч евреев без гражданства.

Всего во Франции проживало более трехсот тысяч евреев; в 1939 году, еще до наплыва беженцев из Бельгии и Голландии вес-

ной 1940 года, там проживало двести семьдесят тысяч евреев, по меньшей мере сто семьдесят тысяч из которых были иностранцами или родились за границей.

Пятьдесят тысяч евреев должны были быть по возможности очень быстро эвакуированы из оккупированной зоны и из вишистской Франции. Это была серьезная задача, решение которой требовало не только согласия правительства Виши, но и активной помощи со стороны французской полиции – она должна была выполнить работу, которой в Германии занималась регулярная полиция. Поначалу не возникало никаких сложностей, поскольку, как сформулировал Пьер Лаваль, премьер в подчинении маршала Петена, «эти еврей-иностранцы всегда были во Франции проблемой», поэтому «французское правительство довольно, что изменение германской позиции в отношении евреев дало Франции возможность избавиться от них». Необходимо заметить, что хотя Лаваль и Петен рассуждали в категориях переселения «этих евреев на восток», тогда они еще не знали, что означает это «переселение».

Внимание суда в Иерусалиме привлекли два инцидента, которые произошли летом 1942 года, через несколько недель после начала операции.

Первый случился с поездом, который должен был выйти из Бордо 15 июля, – его отправку пришлось отменить, потому что во всем Бордо удалось собрать лишь сто пятьдесят евреев без гражданства: недостаточно, чтобы заполнить поезд, который Эйхман выбил с огромным трудом. Увидел или нет в этом Эйхман первый признак того, что дела могут пойти не так просто, как всех в этом убеждали, неважно – он пришел в крайнее

возбуждение, принялся разносить подчиненных, говоря им, что это «дело престижа», но не в глазах французов, а с точки зрения министерства транспорта, которое может составить неверное представление об эффективности его аппарата, и что ему «стоит подумать о целесообразности наказания Франции за такой подход к эвакуации», если такой инцидент повторится вновь.

В Иерусалиме эту угрозу восприняли очень серьезно – как доказательство власти Эйхмана: если бы он захотел, он мог «наказать Францию». Вообще-то это была обычная похвальба Эйхмана, доказательство его «влияния», но вряд ли «свидетельство его статуса в глазах подчиненных», за исключением того, что он мог лишь просто угрожать лишить их очень уютных мест.

Но если инцидент в Бордо был фарсом, второй случай лег в основу одной из самых ужасных среди всех жутких историй, о которых рассказывалось в Иерусалиме. Это была история о четырех тысячах детей, которых отделили от родителей и отправили в Освенцим. Детей оставили на французском сборном пункте в концентрационном лагере Дранси, и 10 июля представитель Эйхмана во Франции гауптштурмфюрер Теодор Даннекер позвонил ему и осведомился, как с ними поступить. На решение Эйхману потребовалось десять дней; он перезвонил Даннекеру и сказал, что «как только снова будут составы в генерал-губернаторство [Польша], детей надо будет отправлять».

Доктор Сервациус отмечал, что этот случай замечательно демонстрирует, до какой степени «участники происходившего никак не подчинялись ни обвиняемому, ни каким-либо иным служащим его организации». Но что, к сожалению, никто не упомянул, так это тот факт, что Даннекер информировал Эйхмана о том, что Лаваль лично предложил включить детей,

не достигших шестнадцати лет, в списки для депортаций – это означало, что зловещий эпизод даже не был результатом «приказов старших по званию», он стал просто следствием договоренности между Францией и Германией, результатом переговоров на высшем уровне.

Летом и осенью 1942 года двадцать семь тысяч евреев без гражданства – восемнадцать тысяч из Парижа и девять тысяч из вишистской Франции – были депортированы в Освенцим. Затем, когда во всей Франции оставалось около семидесяти тысяч евреев без гражданства, немцы совершили свою первую ошибку. Уверенные, что французы уже свыклись с мыслью о депортации евреев, что они не станут возражать, немцы испросили разрешение включить в списки и французских евреев – просто чтобы действовать в рамках административного механизма. Это вызвало очень сложную смену позиций: французы были непреклонны в своем отказе вручить немцам судьбу своих евреев. А Гиммлер, как только его проинформировали о ситуации – не Эйхман или его люди, а кто-то из высших чинов СС и полицейских чинов – немедленно дал задний ход и пообещал не трогать французских евреев. Но было уже слишком поздно. Первые слухи о «переселении» достигли Франции, и хотя французские антисемиты и не антисемиты желали бы видеть евреев-иностранцев переселенными куда-нибудь подальше, даже антисемиты не пожелали участвовать в массовых убийствах.

Таким образом, французы теперь отказывались сделать шаг, над которым они с готовностью размышляли совсем недавно, то есть аннулировать натурализацию, которую евреи получили после 1927 года (или после 1933 года) – этот шаг привел бы к тому, что еще около пятидесяти тысяч евреев могли бы под-

вергнуться депортации. Они также начали создавать бесконечные препятствия на пути депортации евреев без гражданства и других евреев-иностранцев – таким образом, можно было действительно забыть все амбициозные планы по эвакуации евреев из Франции. Десятки тысяч лиц без гражданства ударились в бега, еще больше ринулись в оккупированную итальянцами французскую зону Лазурного берега, где евреи чувствовали себя в безопасности независимо от происхождения или гражданства.

К лету 1943 года, когда Германия провозгласила себя *judenrein*, а союзники высадились на Сицилии, было депортировано не более пятидесяти двух тысяч евреев – менее двадцати процентов, из них не более шести тысяч имели французское гражданство. Даже военнопленных евреев, оказавшихся в немецких лагерях для интернированных пленных из французской армии, не подвергали «специальной обработке». В апреле 1944 года, за два месяца до высадки союзников во Франции, в стране все еще находилось двести пятьдесят тысяч евреев, все они пережили войну. Нацисты, как оказалось, не обладали ни людскими ресурсами, ни желанием оставаться «жестокими», когда они столкнулись с организованной оппозицией. Правда, как мы увидим, заключалась в том, что даже сотрудники гестапо и СС сочетали в себе жестокость и мягкость.

В июне 1942 года на встрече в Берлине были оглашены цифры подлежащих немедленной депортации из Бельгии и Голландии, и эти цифры не произвели большого впечатления, по-видимому, из-за высоких стандартов, установленных для Франции. Не более десяти тысяч евреев из Бельгии и пятнадцати тысяч из Голландии надлежало арестовать и депортировать

в самом ближайшем будущем. В обоих случаях цифры были позже изрядно завышены, возможно, из-за трудностей, которыми сопровождалась операция во Франции.

Ситуация в Бельгии в некоторых отношениях была довольно странной. Страной управляли исключительно германские военные власти, полиция же, как указало в своем отчете для суда бельгийское правительство, «не имела такого влияния на немецкие административные службы, как это было в других странах».

Губернатор Бельгии генерал Александр фон Фалькенхаузен в июле 1944 года участвовал в заговоре против Гитлера.

Более того, коллаборационисты существовали только во Фландрии, среди франкоговорящих валлонцев, и в Брюсселе их практически не было. Бельгийская полиция не сотрудничала с немцами, бельгийским железнодорожникам не было никакой веры, им нельзя было даже поручить подготовку эшелонов для депортации. Они придумали, как оставлять двери незапертыми, или организовывали засады, и евреи могли сбегать из эшелонов.

Очень странной была и структура еврейского населения. Перед началом войны в стране жили девяносто тысяч евреев, тридцать тысяч которых были беженцами из Германии, тогда как еще пятьдесят тысяч прибыли из других стран Европы. К концу 1940 года примерно сорок тысяч евреев покинули страну, а среди пятидесяти тысяч, которые остались, самое большое пять тысяч были гражданами, родившимися в Бельгии. Более того, среди тех, кто предпочел уехать, были заметные лидеры еврейского движения, большинство которых при этом были

иностранцами, поэтому в стране не существовало еврейского совета, который бы регистрировал евреев, – одно из важнейших условий для их ареста. Учитывая это «отсутствие понимания» всех сторон, неудивительно, что ни один бельгийский еврей не был депортирован. Но евреев без гражданства – чешского, польского, русского и немецкого происхождения, многие из которых лишь недавно въехали в страну, – легко выявляли, а найти убежище в небольшой абсолютно индустриальной стране им было почти невозможно. К концу 1942 года пятнадцать тысяч были отправлены в Освенцим, и к осени 1944 года, когда союзники освободили страну, двадцать пять тысяч были убиты.

У Эйхмана был свой обычный «советник» в Бельгии, но складывается впечатление, что этот советник принимал не очень активное участие в этих операциях. На финальном этапе их проводила военная администрация, на которую постоянно давило министерство иностранных дел.

Как и практически во всех других странах, депортации из Голландии начались с евреев без гражданства, которые в данном конкретном случае были главным образом беженцами из Германии – довоенное правительство Голландии официально объявило их «нежелательными». В общей сложности евреев-иностранцев здесь жило около тридцати пяти тысяч, а общее еврейское население составляло сто сорок тысяч.

В отличие от Бельгии Голландия находилась под управлением гражданской администрации, и в отличие от Франции в стране не было собственного правительства. Немногочисленный народ был полностью во власти немцев и «советника» Эйхмана из СС, некоего доктора Гюнтера Цепфа (недавно аресто-

ванного в Германии, хотя гораздо более эффективный «советник» во Франции г-н Даннекер все еще на свободе), но ему, похоже, нечего было сказать, и он лишь слал в Берлин депеши о состоянии дел. Депортации и все, что с ними было связано, осуществляли обергруппенфюрер Ханс Раутер и Фердинанд аус дер Фюнтен: первый – высший чин СС, второй – крупный полицейский бонза, оба были в непосредственном подчинении Гиммлеру и не подчинялись приказам РСХА, хотя организацию Эйхмана они информировали о своей активности.

Обоих суд Голландии приговорил к смертной казни. Приговор в отношении Раутера был приведен в исполнение, а приговор Фюнтену после вмешательства Аденауэра заменили пожизненным заключением.

На процессе в Иерусалиме, отчасти потому, что обвинение любой ценой желало осудить Эйхмана, и отчасти потому, что оно откровенно запуталось в хитросплетениях германской бюрократии, было объявлено, что Раутер выполнял приказы Эйхмана. Суд, не вдаваясь в полемику, спокойно исправил множество ошибок, которые допустило обвинение – хотя, вероятно, не все, – и показал, каким мошенничеством в борьбе за главенство все время занимались РСХА, высшие чины СС и полицейские чины.

Организация дел в Голландии вызывала особое недовольство Эйхмана, потому что было очевидно, что это сам Гиммлер ограничивает его в маневре, совершенно не обращая внимания на то, что истовость, с какой служили делу Раутер и Фюнтен, создает большие сложности в вопросе координации эшелонов, не

говоря уже о том, что они подрывали авторитет «координационного центра» в Берлине. Именно Раутер спешным порядком депортировал двадцать тысяч евреев вместо пятнадцати, и это именно он, по сути, заставил доктора Цепфа ускорить депортации в 1943 году. Конфликты юрисдикции по вопросам депортации во все времена были бичом Эйхмана, и он напрасно пытался объяснить любому, кто прислушивался к нему, что «это противоречило приказу рейхсфюрера СС [Гиммлера], и было бы нелогичным, если бы на данном этапе другие службы снова взялись за улаживание еврейской проблемы». Последнее столкновение интересов в Голландии произошло в 1944 году, и на этот раз для обеспечения согласованности действий в конфликт пытался вмешаться даже сам Кальтенбруннер. В Голландии в отношении евреев-сефардов испанского происхождения было сделано исключение, хотя из Салоники евреев этого происхождения отправляли в Освенцим. Суд ошибочно предположил, что это РСХА «имело решающее слово в обсуждении этого вопроса» – одному Богу ведомо, по какой причине около трехсот семидесяти евреев-сефардов в Амстердаме избежали преследований.

Причина, по которой Гиммлер предпочитал действовать в Голландии через своего офицера СС и полицейского чина, была простой. Эти люди ориентировались в стране, а проблема, которую создало население Голландии, была далеко не простой. Голландцы оказались единственным народом Европы, который организовал волну протестов в ответ на первую депортацию евреев в немецкие концентрационные лагеря – а это, по сравнению с депортациями в лагеря смерти, было просто карательной акцией, использовавшейся задолго до того как идея «окончательного решения» достигла Голландии.

Однако растущая враждебность в отношении антиеврейских акций и сравнительная невосприимчивость голландцев к антисемитизму столкнулись с двумя факторами, которые оказались фатальными для евреев. Во-первых, в Голландии существовало мощное нацистское движение, на которое можно было возложить такие полицейские акции, как арест евреев, поиск их убежищ и так далее. Во-вторых, местные евреи демонстрировали необыкновенно выраженную тенденцию проводить различия между собой и вновь прибывшими, что, по-видимому, было следствием крайне недружелюбного отношения правительства Голландии к беженцам из Германии. Все это облегчило задачу нацистов по созданию еврейского совета, *Joodsche Raad*, который долгое время находился под впечатлением, что только немецкие евреи и евреи-иностранцы становятся жертвами депортаций, а также позволило СС воспользоваться помощью сил еврейской полиции – помимо той помощи, которую оказывала полиция Голландии.

Результат не имел даже подобия аналогов ни в одной западной стране; его можно лишь сравнить с уничтожением народа в принципиально иных условиях, как, например, польских евреев. Хотя в отличие от Польши позиция голландцев дала возможность многим евреям найти убежище – двадцать тысяч из них выжили, это очень высокий показатель для такой маленькой страны, – все же необычайно много евреев, живших в подполье, были найдены, вне всякого сомнения, благодаря усилиям профессионалов и добровольных информаторов.

К июлю 1944 года были депортированы сто тринадцать тысяч евреев, большинство из них – в Собибор, лагерь в Польше в районе Люблина на реке Буг, где даже не проводилась се-

лекция тех, кто был способен работать. Три четверти евреев, живших в Голландии, были уничтожены, около двух третей из них – евреи, родившиеся в Голландии. Последние партии, отправка которых планировалась осенью 1944 года, в лагерь не попали: силы союзников уже появились на границах Голландии. Из двадцати тысяч выживших в убежищах евреев пятнадцать тысяч были иностранцами – эта цифра доказывает нежелание голландских евреев смотреть в лицо действительности.

На Ванзейской конференции Мартин Лютер из Министерства иностранных дел предупреждал о значительных сложностях, которые возникнут в Скандинавских странах, особенно в Норвегии и Дании.

Швеция не была оккупирована, а Финляндия, хотя и воевавшая на стороне фашистского блока, была единственной страной, которой нацисты так и не предложили решить еврейский вопрос. Это удивительное исключение – в Финляндии проживало около двух тысяч евреев, – по-видимому, следует отнести на счет высокой оценки финнов Гитлером, возможно, он просто не хотел подвергать их угрозам и унижительному шантажу.

Лютер предложил на некоторое время отложить эвакуации из Скандинавии, что же касалось Дании, о ней речь вообще не шла: в стране сохранялось независимое правительство, ее нейтральный статус не подвергался сомнению до осени 1943 года, хотя, как и в Норвегию, немецкая армия вошла в нее в апреле 1940 года. В Дании не существовали достойные упоминания фашистские и нацистские движения, то есть там не было колла-

борационистов. Однако в Норвегии немцы нашли живую поддержку; именем Видкуна Квислинга, лидера пронацистской и антисемитской партии Норвегии, позже назвали марионеточные правительства некоторых стран – «квислинговские правительства».

Основную часть еврейского населения Норвегии – одну тысячу семьсот человек – составляли беженцы из Германии без гражданства; они были арестованы и интернированы в ходе нескольких молниеносных операций в октябре и ноябре 1942 года. Когда служба Эйхмана отдала приказ об их депортации в Освенцим, несколько людей Квислинга подали в отставку со своих правительственных постов. Возможно, это не удивило герра Лютера и министерство иностранных дел, но что было куда более серьезным и совершенно неожиданным, так это то, что Швеция немедленно предложила убежище и даже шведское гражданство всем преследуемым. Заместитель министра иностранных дел доктор Эрнст фон Вайцзеккер, который получил это предложение, отказался обсуждать его, но оно, тем не менее, помогло. Почти всегда сравнительно просто незаконно выехать из страны, и почти невозможно попасть куда-либо без разрешения, в обход иммиграционных властей. Однако около девятисот человек, чуть более половины маленькой норвежской общины, сумели перебраться в Швецию.

Однако именно в Дании немцы поняли, как могут полностью сбыться самые мрачные предположения министерства иностранных дел. История датских евреев – это *sui generis*, уникальный случай, и поведение датского народа и его правительства было беспрецедентным среди всех стран Европы – неважно, оккупированных, союзников фашистского блока или нейт-

ральных и абсолютно независимых. Возникает искушение рекомендовать эту историю в качестве обязательного чтения всем студентам курса политологии, которые хотели бы понять гигантскую потенциальную силу, скрытую в ненасильственном действии и сопротивлении противнику, обладающему превосходящими средствами насилия.

Несомненно, несколько других европейских стран демонстрировали недостаточно верное «понимание еврейского вопроса» и в действительности большинство из них были против «радикального» и «окончательного» решений. Как и Дания, Швеция, Италия и Болгария оказались почти невосприимчивыми к антисемитизму, но из трех стран, находившихся в сфере влияния Германии, только датчане осмелились высказываться по этому вопросу, протестуя против своих немецких хозяев.

Италия и Болгария саботировали немецкие приказы и вели сложную игру, обманом и хитростью спасая евреев своих стран, демонстрируя при этом чудеса подлинного мужества, но они никогда не выступали против этой политики как таковой. Это принципиально отличалось от того, что делали датчане. Когда немцы обратились к ним с заботливым предложением ввести желтые нашивки, датчане просто сообщили, что первым ее прикрепит на свою одежду король страны, а правительственные чиновники Дании обстоятельно предупредили, что в случае любых антиеврейских акций они немедленно подадут в отставку. Это имело решающее значение, так как немцам не удалось даже провести важное различие между местными датчанами еврейского происхождения, общее число которых составляло примерно шесть тысяч четыреста человек, и тысячью четырьмястами еврейскими беженцами из Германии, которые на-

шли убежище в Дании до войны и кого теперь германское правительство объявило людьми без гражданства. Этот отказ, должно быть, безмерно удивил немцев, поскольку правительство вело себя «нелогично»: оно встало на защиту людей, которым само категорически отказывало в натурализации и даже в разрешении на работу.

Юридически довоенная ситуация с беженцами в Дании почти не отличалась от французской, за исключением того, что процветавшая среди гражданских служащих Третьего рейха коррупция позволила некоторым из них путем взяток или через связи получить документы о натурализации, и большинство беженцев во Франции могли работать нелегально, без разрешения. Но Дания, как и Швейцария, была страной, где эту проблему решили радикально, *pour se débrouiller*.

Тем не менее датчане объяснили немецким властям, что, поскольку беженцы без гражданства более не являются гражданами Германии, нацисты не могут предъявлять к ним каких-либо претензий без согласия на то Дании. Это был один из тех редких случаев, когда отсутствие гражданства становилось даром, хотя, конечно же, не само по себе отсутствие гражданства спасло евреев, а, напротив, тот факт, что правительство Дании решило встать на их защиту. Таким образом, никаких подготовительных действий, столь важных в бюрократии убийства, не проводилось, и операции были отложены до осени 1943 года.

То, что произошло потом, было поистине удивительным: по сравнению с тем, как разворачивались события в других европейских странах, в Дании все пошло шиворот-навыворот.

В августе 1943 года – когда наступление немцев в России провалилось, африканские части капитулировали в Тунисе, а союзники захватили Италию – правительство Швеции аннулировало свое соглашение с Германией от 1940 года, которое давало немецким войскам право перемещаться через территорию страны. Вслед за тем датские рабочие решили, что могут немного ускорить события: на датских верфях начались волнения, докеры отказывались ремонтировать германские суда, а затем вообще начали забастовку. Немецкое военное командование объявило чрезвычайное положение и ввело смертную казнь – Гиммлер решил, что наступил удобный момент для очередного подхода к еврейскому вопросу, «решение» которого давно уже запоздало. Чего он не учел, так это – не говоря уже о датском сопротивлении – настроений германских чиновников, которые, прожив несколько лет в стране, были уже не теми, что прежде. Не только военкомандующий генерал фон Ханнекен отказался предоставить войска в распоряжение полномочного представителя рейха доктора Вернера Беста, использовавшиеся в Дании специальные подразделения СС (айнзацкоманды) очень часто были настроены против «акций, которые им приказывали проводить центральные организации», как заявил на процессе в Нюрнберге Бест. Да и самому Бесту, ветерану гестапо и бывшему советнику Гейдриха, автору в ту пору нашумевшей книги о полиции, который работал в военном правительстве в Париже, к вящему удовольствию своих начальников, больше уже нельзя было доверять – хотя сомнительно, чтобы в Берлине понимали всю степень его ненадежности.

Тем не менее с самого начала было очевидно, что дела идут плохо, и контора Эйхмана направила одного из своих луч-

ших людей в Данию – это был Рольф Гюнтер, которого никто не смог бы обвинить в отсутствии требуемой «беспощадной жестокости». Гюнтер не произвел впечатления на коллег в Копенгагене, а теперь уже и фон Ханнекен отказывался даже издать декрет, который заставил бы всех евреев явиться на работу.

Бест отправился в Берлин, где заручился обещанием, что все евреи из Дании будут направлены в Терезин, независимо от их категории, – очень важное отступление от правил с точки зрения нацистов. На ночь 1 октября были назначены аресты и немедленная отправка – суда уже ждали в порту, – а поскольку надеяться на помощь датчан, евреев и даже германских войск, расквартированных в Дании, не приходилось, для поспешных обысков из Германии прибыли полицейские подразделения. В последний момент Бест сообщил, что им не разрешается врываться в жилища и вступать в стычки с датчанами, потому что в этом случае может вмешаться датская полиция. Поэтому они сумели схватить только тех евреев, которые добровольно открыли им двери. Из более чем 7800 человек они схватили в домах только 477 пожелавших их впустить.

За несколько дней до назначенной даты немецкий транспортный агент-экспедитор Георг Ф. Дуквитц, вероятно, получивший мзду от самого Беста, сообщил о плане датским правительственным чиновникам, которые, в свою очередь, поспешили информировать глав еврейской общины. Они, и это было разительным контрастом по сравнению с еврейскими лидерами в других странах, открыто сообщили новости в синагогах прямо во время новогодней службы. У евреев было время покинуть свои дома и найти убежище, что в Дании не представляло большого труда, потому что, как было сказано в решении

суда, «все слои датского общества от короля до простых горожан» с готовностью прятали их.

Они могли бы оставаться в убежищах до конца войны, если бы Господь не благословил датчан таким соседом, как Швеция. Казалось разумным переправить евреев в Швецию, и это было сделано с помощью рыболовного флота Дании. Стоимость транспортировки людей без средств – около ста долларов на человека – оплатили главным образом богатые датские горожане, и это, наверное, был самый удивительный подвиг: в то время евреи сами платили за свою депортацию, а богачи из их числа отдавали целые состояния за разрешение на выезд (в Голландию, Словакию и позже в Венгрию) либо в форме взяток местным властям, либо путем «законных» переговоров с СС, которые принимали только твердо конвертируемую валюту и торговали разрешениями на выезд из расчета от пяти до десяти тысяч долларов с человека. Даже в местах, где евреев встречали с искренней симпатией и желанием помочь, они должны были за это платить, и таким образом шансы бедняков избежать страшной участи равнялись нулю.

Большую часть октября евреев переправляли через пролив, отделяющий Данию от Швеции, ширина которого в разных местах колеблется от пяти до пятнадцати миль. В Швецию прибыли 5919 беженцев, по меньшей мере 1000 из которых имела немецкие корни, 1310 были евреями наполовину, а 686 не были евреями, но были связаны с евреями узами брака.

Почти половина датских евреев осталась в стране и пережила войну в убежищах.

Жизнь недатских евреев стала лучше, чем прежде, потому что все они получили разрешение на работу. Несколько сот евреев, которых германская полиция сумела арестовать, были направлены в Терезин. Это были старые или бедные люди, которые либо не услышали новости, либо не поняли ее смысл. В гетто у них было больше привилегий, чем у какой-либо другой группы, поскольку датские институты и частные лица «создавали постоянную шумиху». Сорок восемь человек умерли – цифра не слишком большая, учитывая средний возраст этой группы. Когда все закончилось, у Эйхмана сложилось твердое мнение, что «по ряду причин действия против евреев в Дании потерпели неудачу», тогда как скрупулезный доктор Бест заявил, что «целью операции не был захват большого числа евреев, целью была очистка Дании от евреев, и эта задача была решена».

В политическом и психологическом смысле самым интересным нюансом этого «инцидента» является роль, которую играли германские власти в Дании, их откровенный саботаж приказов из Берлина. Это единственный известный нам случай, когда нацисты столкнулись с *открытым* сопротивлением местных жителей, результат которого привел к тому, что их, нацистов, взгляды претерпели изменения. Очевидно, они уже сами больше не рассматривали истребление целого народа как нечто само собой разумеющееся. Они столкнулись с сопротивлением, в основе которого лежал принцип, и их «жестокость» растаяла, как масло на солнце, они даже сумели показать несколько крохотных ростков настоящего мужества. Идеал «жестокости», за исключением, возможно, нескольких примеров откровенных скотов, оказался пустышкой, мифом самообмана, скрывавшим за собой необузданное стремление к мироустрой-

ству в соответствии с догмами, и это было ясно показано на Нюрнбергском процессе, где подсудимые обвиняли и предавали друг друга и уверяли весь мир, что они «всегда были против этого», или утверждали, как это делал Эйхман, что их лучшими качествами «злоупотребили» их начальники.

В Иерусалиме он обвинял «облеченных властью» в том, что они злоупотребили его «повиновением». «Гражданину, у которого хорошее правительство, – везет, гражданину, у которого правительство плохое, – не повезло. Мне удача не сопутствовала».

Атмосфера изменилась, и хотя большинство из них должны были понимать, что обречены, ни у одного из них не хватило мужества защищать нацистскую идеологию. Вернер Бест утверждал в Нюрнберге, что он вел сложную двойную игру и что это благодаря ему датские власти были предупреждены о надвигающейся катастрофе; ему были предъявлены документальные доказательства, из которых следовало, что он сам предложил в Берлине датскую операцию, однако он объяснял, что это было частью его игры. Его экстрадировали в Данию, где приговорили к смертной казни – он подал апелляцию, результат которой был удивительным: «в свете новых доказательств» приговор был заменен пятью годами тюрьмы, откуда он вскоре был освобожден. Должно быть, он сумел представить датскому суду убедительные доказательства, что делал все от него зависящее.

Италия была единственным настоящим союзником Германии в Европе, к которому немцы относились как к равному, и чей суверенитет независимого государства не подвергался сом-

нению. Предположительно этот альянс покоился на значительно совпадавших общих интересах, связавших воедино две похожие, если не сказать идентичные, новые формы государства, и это сущая правда, что Муссолини одно время искренне восхищались в германских нацистских кругах. Но когда началась война и Италия после непродолжительного колебания присоединилась к германскому походу, все это было уже в прошлом. Нацисты отлично понимали, что у них гораздо больше общего со сталинским вариантом коммунизма, чем с итальянским фашизмом, и Муссолини, со своей стороны, был уже не слишком уверен в Германии и уже не так восторгался Гитлером. Все это, однако, было очень секретной информацией, особенно в Германии, и человечество так, по большому счету, до конца не поняло глубоких внутренних противоречий между тоталитарными и фашистскими формами государственного устройства. И нигде более они не проявили себя так открыто, как в подходе к еврейскому вопросу.

До государственного переворота Пьетро Бадольо летом 1943 года и германской оккупации Рима и Северной Италии Эйхману и его людям не разрешалось проявлять активность в этой стране. Однако им уже приходилось сталкиваться с итальянской манерой *не решать ничего* на оккупированных итальянцами территориях Франции, Греции и Югославии, потому что преследуемые евреи бежали в эти зоны – там они могли быть уверенными во временном убежище. На уровнях, гораздо более высоких, чем уровень Эйхмана, саботаж итальянцами «окончательного решения» принял серьезные масштабы, главным образом из-за влияния Муссолини на другие фашистские режимы Европы – Петена во Франции, Хорти в Венгрии, Антонеску в Румынии и даже Франко в Испании.

Если Италия может обходить вопрос уничтожения своих евреев, это могли бы попробовать повторить и другие сателлиты Германии. Вот уже и премьер-министр Венгрии Дёме Стояи, которого немцы поставили во главе правительства Хорти, хотел знать, дойдет ли когда-нибудь дело до антиеврейских акций, если они не проводятся в Италии, где действуют те же самые директивы, что и в Венгрии. Начальник Эйхмана группенфюрер Мюллер направил обширное письмо по данному вопросу в министерство иностранных дел, но господа в министерстве могли не слишком много, потому что они неизменно наталкивались на такую же завуалированную форму сопротивления, на такие же обещания и ту же невозможность выполнить их. Саботаж был уже почти повсюду, потому что принимал открытую, практически издевательскую форму. Обещания давал сам Муссолини или его высокопоставленные чиновники, но если генералам просто не удавалось выполнить их, Муссолини придумывал всяческие отговорки, ссылаясь на «иную интеллектуальную организацию».

Лишь в отдельных случаях нацисты сталкивались с прямым отказом, как это сделал генерал Роатта, заявивший, что это «несовместимо с честью итальянской армии», а именно – передать евреев с оккупированной итальянцами территории в Югославии в распоряжение соответствующих германских властей.

Но когда итальянцы изображали, что выполняют данные обещания, все получалось еще хуже. Один такой случай имел место после высадки союзников во французской Северной Африке, когда вся Франция уже была оккупирована немцами, за исключением итальянской зоны на юге, где нашли убежище около пятидесяти тысяч евреев. Под мощным давлением

со стороны немцев был учрежден итальянский «комиссариат по делам евреев», единственной функцией которого была регистрация всех евреев в данном регионе и изгнание их со средиземноморского побережья. Двадцать две тысячи евреев действительно были арестованы и перемещены вглубь итальянской зоны, результатом чего, по словам Рейтлинджера, стало то, что «тысячи самых бедных евреев поселили в лучших отелях департамента Изер и Савойя». После этого Эйхман послал одного из самых свирепых своих исполнителей – Алоиза Брюннера – в Ниццу и Марсель, но к моменту его приезда французская полиция уже уничтожила все списки зарегистрированных евреев.

Осенью 1943 года, когда Италия объявила войну Германии, немецкая армия, наконец, сумела занять Ниццу, и Эйхман сам поспешил на Лазурный берег. Там ему сказали – и он в это поверил, – что от десяти до пятнадцати тысяч евреев скрываются в убежищах в Монако (это крохотное княжество с населением порядка двадцати пяти тысяч человек, которое, как заметил *New York Times Magazine*, «легко поместится на территории Центрального парка»), и эти сведения заставили РСХА начать что-то вроде исследовательской программы. Все это звучит как типичная итальянская шутка. В любом случае евреев там уже не было: все они спокойно перебрались в Италию, а те, кто все еще скрывался в окрестных горах, переправились в Швейцарию или Испанию. То же самое произошло, когда итальянцам пришлось покинуть их зону в Югославии: все евреи ушли с итальянской армией и нашли убежище в Фиуме*.

* В настоящее время – Риека, Хорватия.

Элемент насмешки всегда присутствовал даже в весьма ответственных действиях итальянцев, которые они предпринимали, чтобы подладиться под своего могущественного друга и союзника. Когда Муссолини под давлением немцев принял в конце 30-х годов антиеврейские законы, он оговорил в них обычные исключения – для ветеранов войны, для евреев, награжденных высшими орденами и медалями, и тому подобное, – но добавил и еще одну категорию, а именно: бывших членов фашистской партии наряду с их родителями, дедушками и бабушками, их женами, детьми и внуками. У меня нет никакой статистики по этой теме, но результат, должно быть, привел к тому, что подавляющее большинство итальянских евреев стали «исключениями». Вряд ли можно было найти еврейскую семью, хотя бы один член которой не состоял в фашистской партии, поскольку все это происходило во времена, когда евреи, как и остальные итальянцы, уже почти двадцать лет как примкнули к фашистскому движению, так как посты в государственных учреждениях могли получить только его участники. А те немногие евреи, которые не примкнули к фашизму по принципиальным соображениям, главным образом социалисты и коммунисты, давно уже покинули страну.

Даже убежденные итальянские антисемиты не могли воспринимать эти законы всерьез, а глава итальянского антисемитского движения Роберто Фариначчи взял себе в секретари еврея. Вне всякого сомнения, подобное случилось и в Германии тоже: Эйхман упоминал, и нет никаких оснований не верить ему, что даже среди рядовых эсэсовцев были евреи, но еврейские корни таких деятелей, как Гейдрих, Мильх, Ганс Франк и других, были засекречены, о них знали очень немногие, тогда

как в Италии такие вещи делались открыто и, если так можно сказать, невинно.

Ключ к загадке, конечно же, заключался в том, что Италия была одной из немногих стран Европы, где все антисемитские мероприятия считались решительно непопулярными, так как, говоря словами Чиано, они «создавали проблему, которой, по счастью, не существовало».

Ассимиляция, почти бранное слово, была свершившимся фактом в Италии, где существовала не более чем пятидесяти-тысячная община местных евреев, чья история уходила во времена Римской империи. Она не была идеологией, чем-то, во что надобно было верить, как во всех странах, говоривших по-немецки, или мифом и явным самообманом, как во Франции. Итальянский фашизм, далекий от идеи «беспощадной жестокости», пытался очистить страну от евреев без гражданства и евреев-иностранцев до начала войны. Это не удалось из-за нежелания средней руки итальянских чиновников проявлять «жесткость», а когда вопрос перешел в плоскость жизни и смерти, они под предлогом сохранения суверенитета отказались сдать эту часть еврейского населения: евреев отправляли в итальянские лагеря, где они были в полной безопасности, пока Германия не оккупировала страну.

Такое поведение вряд ли можно объяснить одними лишь объективными причинами – отсутствием «еврейского вопроса» – так как эти иностранцы естественным образом создавали для Италии проблему, как это происходило в каждом европейском «национальном» государстве, основанном на этнической и культурной однородности населения. То, что в Дании стало результатом подлинного политического чувства, врож-

денного понимания требований и ответственности гражданства и независимости – «для датчан... еврейский вопрос был политическим, а не гуманитарным вопросом» (Лени Яхиль), – в Италии было следствием почти произвольного проявления общего гуманизма древнего и цивилизованного народа.

Более того, итальянский гуманизм выдержал испытание террором, который обрушился на людей в последние полтора года войны. В декабре 1943 года министерство иностранных дел Германии послало Мюллеру, шефу Эйхмана, формальный запрос о содействии: «Из-за бездеятельности, которую в последние несколько месяцев демонстрируют итальянские официальные власти в отношении антиеврейских мероприятий, рекомендованных дуче, мы считаем крайне необходимым, чтобы выполнение этих мероприятий... было возложено на германские власти». Следствием стала отправка в Италию «прославленных» убийц евреев из Польши, таких как Одило Глобочник, служившего в лагере смерти под Люблином; даже главой военной администрации был не армейский чин, а бывший губернатор польской Галиции группенфюрер Отто Вахтер. Это положило конец анекдотам. Организация Эйхмана разослала циркуляр, в котором рекомендовала своим подразделениям, чтобы «евреи с итальянским гражданством» незамедлительно стали объектами «соответствующих мер».

Первый удар должен был быть нанесен по восьми тысячам евреев в Риме, а их аресты возлагались на германские полицейские силы, так как итальянская полиция была ненадежной. Их вовремя предупредили – среди тех, кто это делал, было много ветеранов фашистского движения – и семи тысячам евреев удалось бежать. Немцы отступили, как это всегда бывало, когда

ДЕПОРТАЦИИ ИЗ ЗАПАДНОЙ . . .

они наталкивались на сопротивление, – теперь они были согласны с тем, что итальянских евреев, даже если они не относились к «исключительным категориям», не следовало депортировать, их просто надлежало поместить в итальянские концентрационные лагеря – в случае Италии это «решение» должно было стать достаточно «окончательным». На севере Италии было схвачено примерно тридцать пять тысяч евреев, их отправили в концентрационные лагеря близ австрийской границы.

Весной 1944 года, когда Советская армия заняла Румынию, а союзники готовились войти в Рим, немцы нарушили свое обещание и стали отправлять евреев из Италии в Освенцим – около семи с половиной тысяч человек, из которых вернулись не более шестисот. Тем не менее это значительно меньше десяти процентов всех евреев, проживавших тогда в Италии.

ГЛАВА XI

ДЕПОРТАЦИИ С БАЛКАН: ЮГОСЛАВИЯ, БОЛГАРИЯ, ГРЕЦИЯ, РУМЫНИЯ

Для тех, кто следил за следствием и читал решение суда, которое реорганизовало путаную и вызывавшую недоумение «общую картину», было удивительно, что так и не было упомянуто о четкой линии, разделяющей находившиеся под управлением нацистов территории на востоке и юго-востоке и систему организованных по национальному признаку государств в Центральной и Западной Европе. Пояс смешанного населения, который протянулся от Балтийского моря на севере до Адриатики на юге, то есть вся область, находящаяся сегодня за «железным занавесом», тогда состоял из так называемых государств-наследников, основанных победителями после Первой мировой войны. Новый политический порядок был дарован многочисленным этническим группам, которые веками жили под господством империй – Российской империи на севере, Австро-Венгерской империи на юге и Османской империи на юго-востоке.

Ни в одном из возникших национальных государств не было даже намека на этническую однородность прежних европейских государств, которые послужили моделью для их политических конституций. Это привело к тому, что в каждой из этих стран возникли большие этнические группы, которые были настроены враждебно по отношению к правящей власти, потому что их национальные устремления были принесены в жертву всего лишь чуть более многочисленным соседям.

Если требовалось подтверждение политической нестабильности этих недавно возникших государств, оно легко прослеживалось на примере Чехословакии. Когда Гитлер вошел в Прагу в марте 1939 года, его восторженно встретили не только судетские немцы (*Sudetendeutschen*) – немецкое меньшинство, но и словаки, которых он «освободил», пообещав им независимое государство. В точности то же произошло позже в Югославии, где с сербским большинством – бывшим правящим классом страны – обращались как с врагами, тогда как хорватскому меньшинству было разрешено создать свое собственное национальное правительство. Более того, состав населения был неустойчивым, естественных или исторических границ не существовало, а те, которые провели в соответствии с Трианонским и Сен-Жерменским мирными договорами, были, в общем-то, произвольными. Таким образом, Венгрия, Румыния и Болгария оказались в выигрыше в качестве стран – союзниц фашистского блока (стран «Оси») за счет значительного увеличения своих территорий, а евреям на этих новых аннексированных территориях всегда отказывали в гражданском статусе: они автоматически становились людьми без гражданства и их ждала та же участь, что и беженцев в Западной Европе – они первыми подлежали депортации и ликвидации.

Что также разрушилось вдребезги в эти годы, так это сложная система договоров о правах меньшинств, посредством которой союзники напрасно надеялись решить проблему, неразрешимую в политических условиях национального государства. Евреи были официально объявлены меньшинством во всех странах-наследницах, этот статус им не был навязан силой, он просто вытекал из пунктов, которые внесли и обсудили их собственные делегаты на Парижской мирной конференции.

Это стало важнейшим поворотным моментом в еврейской истории, потому что впервые западные, или ассимилированные, евреи выступали не от лица всего еврейского народа. К удивлению и отчасти страху получивших западное образование еврейских «аристократов», оказалось, что большинство их единоверцев желают определенной социальной и культурной, хотя и не политической, автономии. Юридически статус восточноевропейских евреев был таким же, как и любого другого меньшинства, но политически – и это имело решающее значение – они оказались единственной этнической группой в регионе без родины, то есть без территории, на которой они были бы большинством населения.

И все же они не были столь разбросанными, как их собратья в Западной и Центральной Европе, где – еще до Гитлера – признаком антисемитизма было назвать еврея евреем; в Восточной Европе и друзья и враги считали евреев «особенными людьми». Это имело важные последствия для статуса тех евреев в Восточной Европе, которые ассимилировались, – он принципиально отличался от того, который имели евреи на Западе, где ассимиляция в той или иной форме была правилом. В Западной и Центральной Европе сформировался устойчи-

вый средний класс евреев, которого просто не существовало в Восточной Европе; на его месте мы находим тонкий слой семей крупной буржуазии, которые на самом деле были частью правящих классов и степень ассимиляции которых – благодаря деньгам, переходу в христианство и смешанным бракам – в нееврейском обществе была неизмеримо выше, чем у большинства евреев на Западе.

Среди первых стран, в которых исполнители «окончательного решения еврейского вопроса» столкнулись с подобными условиями, было марионеточное государство Хорватия в Югославии со столицей в Загребе. Хорватское правительство, которое возглавлял доктор Анте Павелич, через три недели после своего возникновения очень услужливо ввело антиеврейские законы, и когда был задан вопрос, как поступить с несколькими десятками хорватских евреев в Германии, это правительство ответило, что «будет приветствовать их депортацию на восток». Министр внутренних дел рейха потребовал, чтобы страна стала *judenrein* к февралю 1942 года, и Эйхман откомандировал гауптштурмфюрера Франца Абромайта для работы с атташе германской полиции в Загребе. Депортации проводили сами хорваты, главным образом члены мощного фашистского движения усташистов; хорваты платили нацистам по тридцать марок за каждого депортированного еврея. Взамен они получали всю собственность депортированных. Это полностью соответствовало официальному «территориальному принципу» немцев, который распространялся на все европейские страны: по нему государство наследовало собственность каждого убитого еврея, который проживал в его пределах, независимо от его гражданства.

Нацисты далеко не всегда уважали «территориальный принцип»: существовало множество способов обойти его, если дело того заслуживало. Немецкие бизнесмены имели право покупать собственность непосредственно у евреев до депортации, а оккупационный штаб – *Einsatzstab* – рейхсляйтера Розенберга, первоначально наделенный полномочиями конфисковать все древнееврейские и еврейские атрибуты культа для германских и антисемитских исследовательских центров, вскоре расширил сферу своей деятельности и включил в списки дорогие предметы мебели и произведения искусства.

Тем не менее назначенный на февраль крайний срок был сорван, потому что евреям удавалось бежать из Хорватии на оккупированную итальянцами территорию, однако после переворота Бадольо еще один из людей Эйхмана, Герман Круми, прибыл в Загреб, и к осени 1943 года тридцать тысяч евреев были депортированы в центры массовых казней.

Только тогда немцы поняли, что страна все еще не *judenrein*. В первом антиеврейском законодательстве хорваты выделили любопытный пункт, который превращал в «почетных арийцев» всех евреев, которые внесли вклад в «дело Хорватии». Естественно, число таких евреев за прошедшие годы заметно выросло. Другими словами, для очень богатых людей, которые добровольно расставались со своей собственностью, делались исключения. Еще более интересным был тот факт, что разведывательная служба СС (под руководством штурмбанфюрера Вильгельма Хёттля, который был первым свидетелем защиты в Иерусалиме, но чьи показания под присягой затем использовало обвинение) обнаружила, что почти все члены пра-

вящей клики Хорватии – от главы правительства до лидера усташистов – были женаты на еврейках. Полторы тысячи выживших здесь евреев – пять процентов от общей численности, как сообщало правительство Югославии, – были членами этой глубоко ассимилировавшейся и весьма богатой группы евреев. А так как доля ассимилировавшихся евреев в Восточной Европе часто оценивалась в пять процентов, возникает соблазн сделать вывод, что ассимиляция на Востоке, в тех случаях, когда она вообще была возможной, предлагала значительно более хорошие шансы на выживание, чем во всей остальной Европе.

Совсем иной была ситуация на пограничной территории Сербии, где германская оккупационная армия почти с самых первых дней была вынуждена иметь дело с партизанской войной, которую можно сравнить лишь с той, которую вела Россия на своих оккупированных территориях. Я уже упоминала об «инциденте», который связывает Эйхмана с ликвидацией евреев в Сербии. Суд признал, что «мы так и не поняли форму передачи команд, касавшихся евреев в Сербии», и объяснение этого заключается в том, что организация Эйхмана вообще не участвовала в операциях в этом районе, так как здесь не было депортаций евреев. «Проблему» приходилось решать прямо на месте. Под предлогом казни заложников, захваченных в войне с партизанами, армия расстреляла еврейское мужское население, а женщины и дети были переданы командиру полиции безопасности, некоему доктору Эммануэлю Шаферу – протеже Гейдриха, который уничтожил их в душегубках. В августе 1942 года государственный советник, глава гражданского подразделения военного правительства Гаральд Турнер, гордо доложил, что Сер-

бия «является единственной страной, где решены обе проблемы – евреев и цыган», и вернул душегубки в Берлин. Около пяти тысяч евреев ушли к партизанам, и это был единственный способ бегства.

Шафер предстал перед уголовным судом Германии после войны. За умерщвление газом 6280 женщин и детей он был приговорен к шести с половиной годам тюрьмы. Военный губернатор региона генерал Франц Бёме покончил жизнь самоубийством, но государственный советник Турнер был передан правительству Югославии и приговорен к смерти. Одна и та же история повторялась снова и снова: преступники, которые сумели избежать суда в Нюрнберге и не были экстрадированы в страны, где они совершили свои преступления, либо так никогда и не попали в руки правосудия, либо нашли его в судах Германии – вместе с максимально возможным «пониманием». Печальное напоминание о Веймарской республике, в чьих привычках было мириться с политическим убийством, если убийца принадлежал к одной из воинствующих антиреспубликанских групп правых.

У Болгарии было больше причин, чем у какой-либо другой Балканской страны, благодарить нацистскую Германию, так как она за счет Румынии, Югославии и Греции значительно расширила свою территорию. И тем не менее Болгария не была благодарной: ее правительство и ее народ оказались слишком мягкими, чтобы проводить политику «беспощадной жестокости». И это нашло отражение не только в еврейском вопросе.

У болгарской монархии не было причин опасаться местного фашистского движения, ратников, потому что оно было

немногочисленным, не имело политического влияния, а парламент оставался весьма уважаемым органом, который прекрасно взаимодействовал с царем. Поэтому они посмели отказаться объявить войну России и не послали на Восточный фронт даже символические экспедиционные силы «добровольцев». Но самым удивительным оказалось то, что в поясе смешанного населения, где антисемитизм был самым свирепым среди всех форм расовой ненависти и стал официальной государственной политикой задолго до прихода Гитлера, болгары вообще «не понимали сути еврейской проблемы». Это правда, что болгарская армия согласилась выдворить всех евреев – общим числом около пятнадцати тысяч – с новых аннексированных территорий, которые находились под управлением военного правительства и чье население было склонно к антисемитизму; но сомнительно, чтобы болгары знали, что на самом деле означает «переселение на Восток».

Несколько раньше, в январе 1941 года, правительство также согласилось принять несколько антиеврейских законов, но они, с точки зрения нацистов, были просто смехотворными: примерно шесть тысяч трудоспособных мужчин были мобилизованы на работу; все крещеные евреи, независимо от даты перехода в новую веру, под действие законов не попадали – в результате разразилась эпидемия по смене конфессии; еще пять тысяч евреев – из общего числа около пятидесяти тысяч – получили особые привилегии; для врачей и бизнесменов-евреев вводилась квота (*numerus clausus*), которая была очень высокой, так как основывалась на процентном количестве евреев, проживавших в городах, а не в сельских районах. Когда все законы были введены в действие, болгарские власти публично заявили, что

ситуация отныне стабилизировалась к всеобщему удовлетворению. Определенно, нацистам требовалось не только просветить их относительно требований к «решению еврейской проблемы», но и научить, что обусловленная законом стабильность не может соответствовать тоталитарному движению.

Должно быть, германские власти подозревали, что впереди их ждут сложности. В январе 1942 года Эйхман направил депешу в министерство иностранных дел, в которой заявлял, что «существует достаточно возможностей для приема евреев из Болгарии»; он предлагал обратиться к правительству Болгарии и заверял министерство иностранных дел, что полицейский атташе в Софии «позаботится о технических средствах депортации».

Похоже, этот полицейский атташе был не в большом восторге от своей работы, так как вскоре Эйхман направил одного из своих сотрудников – Теодора Даннекера – из Парижа в Софию в качестве «советника».

Интересно, что эта депеша Эйхмана в корне отличается от той, что он всего несколькими месяцами ранее отправил в Сербию и в которой он утверждал, что пока нет никаких средств для приема евреев и что даже евреев из рейха еще невозможно депортировать. Первостепенность задачи превращения Болгарии в *judenrein* можно объяснить лишь тем, что Берлин получил точную информацию о необходимости действовать очень быстро, чтобы добиться хотя бы какого-то результата.

Итак, посольство Германии обратилось к болгарам, но первый шаг в направлении «радикальных» мер – введение для ев-

реев нашивки – те сделали лишь через полгода. И даже это обернулось для нацистов большим разочарованием. Во-первых, как они деловито докладывали, нашивка представляла собой «очень маленькую звезду»; во-вторых, большинство евреев просто не стали носить ее; и, в-третьих, те, кто ее носил, «получали от введенного в заблуждение населения столько знаков сочувствия, что стали гордиться своим отличительным знаком», – так Вальтер Шелленберг, шеф контрразведки РСХА, писал в министерство иностранных дел в ноябре 1942 года. А вскоре болгарское правительство вообще отменило этот декрет. Под огромным давлением правительство Болгарии в конце концов приняло решение выслать всех евреев из Софии в сельскую местность, но эта мера была определена не той, которую требовали немцы, так как евреев рассеивали по всей стране, вместо того чтобы «сконцентрировать» их.

Эта высылка обозначила важный поворотный момент во всей ситуации – жители Софии пытались остановить евреев от поездки на вокзал и проводили демонстрации перед дворцом царя. Немцы считали, что царь Борис несет ответственность за обеспечение безопасности болгарских евреев, поэтому можно с уверенностью говорить, что за его убийством стоят спецслужбы Германии. Но ни смерть монарха, ни приезд Даннекера в начале 1943 года ни в малейшей степени не изменили ситуацию, потому что и парламент, и народ оставались на стороне евреев. По прибытии Даннекеру удалось прийти к соглашению с болгарским комиссаром по делам евреев о депортации шести тысяч «еврейских лидеров» в Треблинку, но ни один из этих евреев так и не покинул страну.

Само по себе соглашение не заслуживает внимания, потому что оно показывает, что нацисты и не надеялись привлечь

на свою сторону заметные фигуры еврейского движения. Главного раввина невозможно было найти, потому что его укрывал митрополит Софийский Стефан, который открыто заявил, что «Господь определил судьбу евреев, поэтому у людей нет права пытаться и преследовать евреев» (Хилберг), – это значительно больше того, что когда-либо делал для евреев Ватикан.

И, наконец, в Болгарии произошло то же самое, что случится в Дании несколькими месяцами позднее: местные представители германского правительства потеряли уверенность в себе, и на них больше нельзя было полагаться. Это было справедливо как в отношении полицейского атташе, члена СС, который должен был находить и арестовывать евреев, так и в отношении германского посла в Софии Адольфа Бекерле, который в июне 1943 года сообщил в министерство иностранных дел, что ситуация безнадежная, так как «болгары слишком долго жили бок о бок с американцами, греками и цыганами, чтобы понять еврейскую проблему», – что, безусловно, было полной чушью, ибо то же самое можно сказать, внося некоторые поправки, обо всех странах Восточной и Юго-Восточной Европы. Бекерле также информировал и РСХА, крайне раздраженно сообщив, что больше ничего невозможно сделать. В результате на момент подхода Советской армии, когда в августе 1944 года антиеврейские законы были отменены, ни один болгарский еврей не был депортирован и не погиб насильственной смертью.

Я не слышала ни об одной попытке объяснить поведение болгарского народа, которое в поясе смешанного населения является уникальным. Но можно вспомнить Георгия Димитрова, болгарского коммуниста, который оказался в Германии в

тот момент, когда нацисты пришли к власти, и на которого они решили свалить вину за *Reichstagsbrand* – загадочный пожар в берлинском парламенте 27 февраля 1933 года. Он предстал перед верховным судом Германии и вступил в полемику с Герингом, которого допрашивал так, словно тот был обвиняемым; только благодаря ему все обвиняемые, за исключением ван дер Люббе, были оправданы. Он вел себя так, что им восхищался весь мир, включая Германию. «Только один мужчина остался в Германии, – говорили тогда люди, – и он болгарин».

Греция, которую на севере оккупировали немцы, а на юге итальянцы, не создала никаких особых проблем и просто дожидалась своей очереди, когда ее сделают *judenrein*. В феврале 1943 года два специалиста Эйхмана, гауптштурмфюреры Дитер Вислицени и Алоиз Брюннер, прибыли для подготовки депортации евреев из Салоников, где были сосредоточены две трети всех греческих евреев – около пятидесяти пяти тысяч человек. Это делалось в соответствии с планом «в рамках окончательного решения еврейской проблемы в Европе», как было указано в их служебном предписании, выданном в IV-B-4. Работая в тесном контакте с чиновником старшего уровня (*Kriegsverwaltungsrat*), доктором Максом Мертеном, представлявшим военное правительство региона, они быстро организовали обычный в таких случаях еврейский совет, который возглавил главный раввин Корец. Вислицени, который командовал зондеркомандой по еврейским делам (*Sonderkommando fur Judenangelegenheiten*) в Салониках, ввел в обиход желтые нашивки и недвусмысленно дал понять, что никаких исключений не будет. Доктор Мертен переселил еврейское население в гетто,

откуда всех легко было вывезти, так как гетто располагалось рядом с вокзалом. Единственными привилегированными категориями были евреи с иностранными паспортами и, как обычно, персонал еврейского совета (*Judenrat*) – всего не более нескольких сотен человек, которых постепенно переправили в пересыльный лагерь Берген-Бельзен.

Бежать можно было только на юг, где итальянцы, как они это делали везде, отказывались передавать евреев в руки немцев, однако безопасность итальянской зоны была очень непродолжительной.

Греческое население в лучшем случае было равнодушным к судьбе евреев, а некоторые партизанские группы даже относились к операциям фашистов «с одобрением». За два месяца вся община была депортирована, эшелоны в Освенцим уходили почти ежедневно, унося в каждом – в грузовых вагонах – от двух до двух с половиной тысяч евреев. Осенью, когда итальянская армия развалилась, стремительно завершилась и эвакуация примерно тринадцати тысяч евреев с юга Греции, включая Афины и греческие острова.

В Освенциме многие греческие евреи попали в так называемые команды смерти, которые обслуживали газовые камеры и крематории, и они все еще были живы в 1944 году, когда уничтожали венгерских евреев и ликвидировали гетто в Лодзи. К концу лета, когда поползли слухи, что газовые камеры скоро демонтируют и убийства прекратятся, произошло одно из немногочисленных в этом лагере восстаний; члены «команд смерти» были уверены, что уж теперь-то их тоже убьют. Восстание провалилось, выжил только один участвовавший в нем заключенный, который и рассказал эту историю.

Создается впечатление, что равнодушное отношение греков к судьбе евреев их страны отчасти сохранилось и после освобождения Греции. Доктор Мертен, свидетель защиты на процессе Эйхмана, сегодня, несколько противоречиво, заявляет, что он одновременно ничего не знал и в то же время спасал евреев от участи, о которой он не ведал. Он тихонечко въехал в Грецию после войны в качестве представителя туристической фирмы, был арестован, но вскоре был освобожден и получил разрешение вернуться в Грецию.

Случай Мертена по-своему уникальный, поскольку суды во всех странах, кроме Германии, всегда выносили суровые приговоры за военные преступления. И его показания для защиты, которые он дал в Берлине в присутствии как стороны защиты, так и обвинения, тоже были уникальными. Он утверждал, что Эйхман сделал все возможное для спасения двадцати тысяч женщин и детей в Салониках, а все зло исходило от Вислицени. Однако он также заявил, что еще до дачи показаний к нему обращались брат Эйхмана, ныне адвокат в Линце, и германская организация бывших эсэсовцев. Сам Эйхман все отрицал – он никогда не был в Салониках и никогда не встречался с полезным в деле освобождения евреев доктором Мертенем.

Эйхман неоднократно утверждал, что его организаторские способности в деле координации эвакуаций и депортаций, которые выполняла его служба, на самом деле помогли его жертвам: они не мучились в долгом ожидании своей участи. Если уж так сложилось, что это надо было делать, это надо было делать очень организованно.

Во время следствия никто, включая даже адвоката защиты, не придавал никакого значения этому заявлению, которое, конечно же, находилось в том же ряду, что и затеянный им глупый и бессмысленный спор на тему о спасении жизни сотен тысяч евреев путем «принудительной эмиграции». Однако в свете того, что происходило в Румынии, к его словам стоит прислушаться. Здесь тоже все шло шиворот-навыворот, однако не так, как в Дании, где даже гестаповцы начали саботировать приказы из Берлина: в Румынии даже эсэсовцы были захвачены врасплох и пришли в ужас от уже, казалось бы, канувших в Лету спонтанных погромов, масштаб которых был настолько чудовищным, что им часто приходилось вмешиваться, чтобы спасти евреев от чистейшей воды бойни, с тем чтобы умерщвления происходили, по их классификации, «цивилизованно».

Можно без преувеличения сказать, что Румыния была самой антисемитской страной в довоенной Европе. Даже в XIX веке румынский антисемитизм был свершившимся фактом; в 1878 году великие державы попытались вмешаться – это позволял сделать Берлинский договор – с тем чтобы заставить правительство Румынии признать свое еврейское население румынскими гражданами, хотя и после этого они оставались бы гражданами второго сорта. Сделать этого не удалось, и к концу Первой мировой войны все румынские евреи – за исключением нескольких сот семей евреев-сефардов и евреев немецкого происхождения – все еще были подданными других государств. Потребовалась вся мощь союзников, чтобы во время переговоров по мирному договору «убедить» румынское правительство принять закон о правах меньшинств и дать евреям соответствующее этому закону гражданство.

От этой уступки мировому сообществу отказались в 1937 и 1938 годах, когда, полагаясь на силу гитлеровской Германии, румыны почувствовали, что могут рискнуть и отказаться от закона о правах меньшинств как ограничивающего их «суверенность», и лишили двести двадцать пять тысяч евреев, примерно четверть всего еврейского населения, своего гражданства. Спустя два года, в августе 1940-го, за несколько месяцев до вступления Румынии в войну на стороне гитлеровской Германии, маршал Ион Антонеску, глава новой диктатуры «Железная гвардия», объявил всех румынских евреев лицами без гражданства, за исключением нескольких сот семей, которые стали гражданами Румынии до подписания мирных договоров. В том же месяце он принял антиеврейские законы, которые были самыми жесткими во всей Европе, включая Германию. В привилегированные категории, к которым относились ветераны войны и евреи, получившие румынское гражданство до 1918 года, входило не более десяти тысяч человек, то есть чуть больше одного процента всех евреев страны.

Гитлер понимал, что Германия рискует отстать от Румынии, и в августе 1941 года, через несколько недель после того как он отдал приказ об «окончательном решении», он жаловался Геббельсу, что «человек вроде Антонеску решает эти вопросы гораздо более радикально, чем это до сих пор делали мы».

Румыния вступила в войну в феврале 1941 года, румынский легион стал серьезной военной силой, на которую можно было рассчитывать в преддверии вторжения в Россию. В одной лишь Одессе румынские солдаты были повинны в резне шестидесяти тысяч человек. В отличие от правительств других Балканских стран власти Румынии с самого начала имели точней-

шую информацию о казнях евреев в Восточной Европе, и «Железная гвардия», вооруженная знанием и защищенная правительством, немедленно приступила к программам казней и депортаций, зверства которых не имеют аналогов в анналах истории злодейств.

Депортации «по-румынски» заключались в том, что пять тысяч человек, как скот, загружали в товарные вагоны, где они умирали от удушья, пока состав без расписания и графика сутками безостановочно колесил по стране; любимым продолжением этой забавы было выставление трупов погибших в еврейских мясных лавках. Соответственно и ужас румынских концентрационных лагерей был более сложно организованным и более чудовищным, чем все то, что мы знаем об аналогичных акциях в Германии.

Когда Эйхман послал своего обычного советника по делам евреев, гауптштурмфюрера Густава Рихтера, в Бухарест, Рихтер доложил, что теперь Антонеску для ликвидации хочет переправить сто десять тысяч евреев в «два лесных массива на другой стороне Буга», то есть на захваченную немцами территорию России. Немцы пришли в ужас, и теперь в ситуацию уже вмешались все: армейские командиры, министерство по оккупированным восточным территориям Розенберга, министерство иностранных дел в Берлине, посол Германии в Бухаресте барон Манфред фон Киллингер – последний когда-то был высокопоставленным офицером СА и личным другом Рёма и, таким образом, считался в СС подозрительным; по-видимому, за ним следил Рихтер, который ему же и «давал советы» по делам евреев. По этому вопросу, тем не менее, у них расхождений не было. В письме, датированном апрелем 1942 года, Эйхман умолял ми-

нистерство иностранных дел остановить эти неорганизованные и преждевременные румынские действия по «избавлению от евреев»; румын надо заставить понять, что «эвакуация германских евреев, которая уже идет полным ходом», имеет приоритет, и в конце он угрожал «задействовать полицию безопасности».

Как ни противились немцы большей, чем изначально планировалось для любой Балканской страны, свободе Румынии в окончательном решении еврейского вопроса, им пришлось с ней согласиться, иначе ситуация деградировала бы до состояния кровавого хаоса, и, как бы ни наслаждался Эйхман своей угрозой задействовать полицию безопасности, спасение евреев было не совсем тем, чему ее учили.

Таким образом, в середине августа – к этому моменту румыны без какого-либо содействия немцев убили почти триста тысяч своих евреев – министерство иностранных дел заключило с Антонеску соглашение «об эвакуации евреев из Румынии, которая будет проводиться силами немцев», и Эйхман начал переговоры с железнодорожниками о выделении достаточного числа вагонов для транспортировки двухсот тысяч евреев в лагеря смерти в Люблине. И вот, когда все было подготовлено и все согласилось со всеми уступками, румыны вдруг изменили свою позицию. Как гром среди ясного неба в Берлин прибыла депеша от не вызывавшего сомнений в надежности Рихтера: маршал Антонеску передумал! Как доложил посол Киллингер, маршал теперь хотел избавляться от евреев «удобным способом».

Чего немцы не учили, так это то, что Румыния была не только государством с невероятно высоким процентом «природных убийц», но и самой коррумпированной страной на Балканах. Параллельно с бойнями здесь пышным цветом рас-

цветал бизнес по продаже «освобождений», от которого отщипывали свои кусочки все ветви национальной и муниципальной бюрократии. Правительство специализировалось на гигантских налогах, которые оно в хаотичном порядке взвалило на определенные группы или целые еврейские общины. Теперь же выяснилось, что евреев можно продавать за границу, получая взамен твердо конвертируемую валюту, поэтому румыны превратились в самых ярых сторонников еврейской эмиграции – по тысяче триста долларов с головы, чего же не порадеть! И вот Румыния – уже один из немногих ручейков еврейской эмиграции в Палестину во время войны. А по мере того как приближалась Советская армия, Антонеску становился все более «умеренным», теперь он уже хотел отпускать евреев без всякой компенсации.

Любопытный факт: с начала и до конца Антонеску был не большим «радикалом», чем нацисты (как считал Гитлер), просто он всегда на шаг опережал немцев в их «развитии». Он был первым, кто лишил всех евреев гражданства, и он открыто и бесстыдно начал крупномасштабные бойни, в то время как нацисты все еще были заняты своими первыми экспериментами. Он со своей идеей покупки жизни более чем на год опередил Гимmlера с его предложением «кровь за товар» и, как и Гимmlер, отказался от нее, словно это была всего лишь шутка.

В августе 1944 года Румыния капитулировала перед Советской армией, а Эйхман, специалист по эвакуациям, без всякой подготовки был отправлен в эту зону для спасения «этнических немцев» – правда, тут он не преуспел. Около половины из восьмисот пятидесяти тысяч румынских евреев выжили, большая часть из них – несколько сот тысяч – уехали в Израиль. Ни-

Г Л А В А Х I

кто не знает, сколько евреев осталось в этой стране сегодня. Всех румынских убийц казнили, а Киллингер покончил жизнь самоубийством, прежде чем до него добрались русские. Только гауптштурмфюрер Рихтер, который – и это правда – так и не получил шанса принять участие в действиях, – мирно жил в Германии до 1961 года, когда он стал запоздалой жертвой суда над Эйхманом.

ГЛАВА XII

ДЕПОРТАЦИИ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ: ВЕНГРИЯ И СЛОВАКИЯ

Венгрия, уже упоминавшаяся в связи со сложным вопросом совести Эйхмана, по конституции была королевством, но без короля. Страной без выхода к морю, не имевшей ни военного, ни торгового флота, управлял – или скорее сохранял ее для несуществующего короля – контр-адмирал, регент, или *Reichsverweser* Миклош Хорти. Единственным зримым признаком его королевской власти было множество гофратов (*Hofrate*) при несуществующем дворе. Когда-то святой римский император был королем Венгрии, а чуть позже, после 1806 года, не очень прочную императорско-королевскую монархию на Дунае взяли под свое крыло Габсбурги, которые были императорами (кайзерами) Австрии и королями Венгрии. В 1918 году империя Габсбургов растворилась в государствах-наследниках, а Австрия, теперь уже республика, возлагала надежды на аншлюс – союз с Германией. Отто фон Габсбург находился в изгнании – националисты до мозга костей, мадьяры никогда не приняли

бы его как короля Венгрии; с другой стороны, аутентичное венгерское королевство не существовало даже как историческая память. Поэтому что такое Венгрия с точки зрения признанных форм власти, знал только адмирал Хорти.

За иллюзорным фасадом королевского блеска находилась перешедшая по наследству феодальная структура с отчаянной нищетой безземельных крестьян и отчаянной роскошью нескольких аристократических семей, которые, по сути, и владели этими прибитыми бедностью территориями, этим пасынком Европы. Именно этот фон нерешенных социальных вопросов и общей отсталости и придавал будапештскому обществу его специфический аромат, как будто венгры были группой иллюзионистов, которые так долго питались самообманом, что уже перестали чувствовать собственную неуместность. В начале тридцатых под влиянием итальянского фашизма они организовали мощное фашистское движение «Скрещенные стрелы», и в 1938 году вслед за Италией провели свой первый антиеврейский закон; несмотря на сильное влияние католической церкви в стране, закон предписывал крестить евреев, которые и так уже перешли в христианство после 1919 года, а спустя три года новая поправка потребовала повторно крестить и тех, кто сменил веру до 1919 года. Но даже когда всеобъемлющий антисемитизм, основанный на расовых законах, стал официальной политикой правительства, одиннадцать евреев продолжали сидеть в своих креслах верхней палаты парламента, а Венгрия оказалась единственной страной «Оси», пославшей еврейские войска на Восточный фронт (сто тридцать тысяч евреев в форме венгерской армии были заняты на вспомогательной службе).

Объяснение этих противоречий заключается в том, что венгры, несмотря на свою официальную политику, более настойчиво, чем в любой другой стране, проводили различие между местными евреями и евреями с Востока (*Ostjuden*), между «мадьяризированными» евреями «Трианонской Венгрии» (возникшей, как и все прочие государства-наследники, по Трианонскому мирному договору) и евреями, проживавшими на недавно аннексированных территориях. Нацистское правительство признавало суверенитет Венгрии до марта 1944 года, в результате страна стала для евреев островком безопасности в океане истребления. Поскольку с наступлением Советской армии через Карпаты венгерское правительство по примеру Италии отчаянно пыталось заключить сепаратный мир, вполне понятно, что германские власти приняли решение оккупировать страну, но почти невероятно, что на данной стадии игры это все еще был «текущий приказ овладеть еврейской проблемой», «ликвидация» которой «становится предпосылкой для участия Венгрии в войне», – как Веезенмайер докладывал в декабре 1943 года в своем отчете министерству иностранных дел. Для «ликвидации» этой «проблемы» предприняли эвакуацию восьмисот тысяч евреев плюс еще от ста до ста пятидесяти тысяч евреев-выкрестов.

Как бы там ни было, в связи с масштабом и срочностью задачи Эйхман прибыл в Будапешт в марте 1944 года со всей своей командой, собрать которую было несложно, так как в другом месте она свою работу выполнила. Он отозвал Вислицени и Брюннера из Словакии и Греции, Абромайта из Югославии, Даннекера из Парижа и Болгарии, Зигфрида Зейдля с его поста начальника лагеря Терезин, а из Вены вызвал Германа Круми, который стал его помощником в Венгрии. Из Берлина

прибыли самые важные фигуры его организации: Рольф Гюнтер, ставший его первым заместителем; Франц Новак – ответственный за депортации; и Отто Гюнше – его консультант по вопросам права.

Таким образом, когда пришло время организовывать в Бухаресте штаб-квартиру, особая оперативная зондеркоманда Эйхмана (*Sondereinsatzkommando*) состояла из десяти сотрудников и нескольких специалистов по делам конфессий.

Сразу же по прибытии Эйхман и его люди пригласили еврейских лидеров и стали убеждать их создать еврейский совет, через который они могли бы отдавать приказы и которому, в свою очередь, они передавали абсолютную юридическую власть над всеми евреями Венгрии. В данное время и в данном месте это была задача не из легких. То было время, когда, по словам папского нунция, «весь мир уже понимал, что на практике означает “депортация”»; более того, будапештские евреи имели «уникальную возможность разделить судьбу европейского еврейства. Мы были отлично осведомлены о том, что делают айнзацгруппы. Мы знали более чем достаточно об Освенциме», – как признал в своих показаниях на Нюрнбергском процессе доктор Кастнер. Определенно требовалось нечто большее, чем якобы имевшиеся у Эйхмана «гипнотические способности», чтобы убедить кого-то, что нацисты будут уважать святое различие между «мадьяризированными» евреями и евреями с Востока; искусство самообмана должно было достичь вершины мастерства, чтобы лидеры венгерских евреев поверили, что «этого не может случиться здесь» – «Как можно высылать евреев Венгрии за пределы Венгрии?» – и продолжали в это верить, в то время как реальность веру опровергала.

Как это удалось сделать, стало понятно по одному из наиболее примечательных в своей нелогичности заявлений, которые прозвучали со свидетельского места: будущие члены Центрального еврейского комитета (так еврейский совет назывался в Венгрии) услышали от соседей из Словакии, что Вислицени, который вел сейчас с ними переговоры, охотно берет деньги, но они при этом знали, что, несмотря на взятки, он «депортировал всех евреев из Словакии...» Из чего господин Фрейдигер сделал вывод: «Я понял, что необходимо искать пути и способы налаживания контактов с Вислицени».

Самый выдающийся фокус Эйхмана на этих сложных переговорах состоял в том, чтобы заставить противоположную сторону поверить, будто он и его люди – коррупционеры. Президента еврейской общины, гофрата и члена тайного совета Хорти Самуила Штерна обхаживали очень искусно, и он согласился возглавить еврейский совет. Он и другие члены совета почувствовали, что все идет по оговоренной схеме, когда им предложили сдать пишущие машинки, зеркала, дамское белье, одеколон, оригиналы картин Ватто и восемь фортепьяно – семь из которых они с благодарностью отдали лично гауптштурмфюреру Новаку, который пошутил: «Но, господа, я не собираюсь открывать музыкальный магазин, я просто хочу поиграть на фортепьяно». Эйхман лично посетил еврейскую библиотеку и еврейский музей, убеждая каждого, что все принимаемые меры временны. И коррупция, которую вначале разыгрывали как ловкий ход, скоро стала настоящей, хотя формы ее были не теми, на которые рассчитывали евреи.

Нигде больше евреи не выложили так много денег понапрасну. Это подтвердили на следствии допрос уже упоминавшие

гося Филипа фон Фрейдигера, а также показания Джоэля Бранда, который представлял конкурирующую еврейскую организацию Венгрии – Сионистский комитет по освобождению евреев. В апреле 1944 года Круми получил от Фрейдигера не менее двухсот пятидесяти тысяч долларов, а комитет по освобождению выложил двадцать тысяч долларов просто за возможность встретиться с Вислицени и некоторыми сотрудниками контрразведки СС. На этой встрече каждый из присутствовавших немцев получил дополнительные «чаевые» в виде тысячи долларов, а Вислицени снова заговорил о так называемом Европейском плане, который он безуспешно предлагал в 1942 году, – по этому плану предполагалось, что Гиммлер пощадит всех евреев, кроме польских, за выкуп в два или три миллиона долларов. В силу этого предложения, которое давно уже пылилось на полке, евреи теперь начинали платить Вислицени взносы. Об эту твердыню неслыханной щедрости разбился даже «идеализм» Эйхмана. Следствие, хотя и не сумело доказать, что Эйхман получал финансовую выгоду от своей работы, справедливо подчеркивало его высокий жизненный уровень в Будапеште, где он мог позволить себе останавливаться в лучших отелях, в десантной машине-амфибии – памятный подарок его врага Курта Бехера – его возил личный шофер, он охотился, ездил на лошадях и наслаждался прежде не известной ему роскошью, которую обеспечили новые друзья в правительстве Венгрии.

Однако в стране существовала значительная группа евреев, чьи лидеры в меньшей мере были подвержены самообману. Сионистское движение всегда было особенно сильным в Венгрии, и теперь его представители входили в недавно сформированный Комитет по освобождению евреев (*Vaadat Ezra va*

Hazalah), который, сохраняя прочные связи с палестинским отделением, помог беженцам из Польши, Словакии, Югославии и Румынии; комитет был в постоянном контакте с Американским объединенным еврейским комитетом по распределению фондов, который финансировал его работу, и они сумели – легально или нелегально – переправить нескольких евреев в Палестину.

Теперь катастрофа обрушилась и на их родину, и сионисты начали подделывать «христианские документы» – справки о крещении, – владельцам которых было проще уйти в подполье. Кем бы они ни были, сионистские лидеры понимали, что они – вне закона, и действовали соответствующим образом.

Джоэль Бранд, этот неудавшийся эмиссар, который в разгар войны должен был передать союзникам предложение Гимmlера обменять миллион еврейских жизней на десять тысяч грузовиков, был одним из ключевых деятелей Комитета по освобождению, и он приехал в Иерусалим, чтобы дать показания о своих делах с Эйхманом, так же как и его бывший соперник в Венгрии Филип фон Фрейдигер. В то время как Фрейдигер, которого Эйхман вообще не вспомнил, рассказывал, как грубо с ним обходились на переговорах, показания Бранда в значительной степени совпадали с тем, что сам Эйхман говорил о своих переговорах с сионистами. Бранду было сказано, что «немец-идеалист» сейчас обращается к нему, «еврею-идеалисту», – два благородных врага встретились как равные в момент затишья в битве. Эйхман сказал ему: «Может, завтра нам снова придется встретиться на поле брани». Безусловно, это была плохая комедия, но она показала, что слабость, которую Эйхман питал к бессмысленным, но возвышенным фразам, не была позерством, специально избранным для процесса в Иерусалиме.

Что еще более интересно и что бросается в глаза: во время встречи с сионистами ни Эйхман, ни другие члены его зондеркоманды не прибегали к тактике безудержного вранья, которой они успешно пользовались на переговорах с господами из еврейского совета. Обошлись даже без «языковых норм»: вещи по большей части назывались своими именами. Более того, когда дело дошло до серьезных переговоров – о том, сколько может стоить разрешение на выезд, о Европейском плане, о жизнях в обмен на грузовики, – не только Эйхман, но и все заинтересованные лица, включая Вислицени, Бехера и господ из контрразведки, с которыми Джоэль Бранд каждое утро встречался в кофейне, обратились к сионистам, как будто это было само собой разумеющимся. Причина заключалась в том, что Комитет по освобождению евреев имел все необходимые международные связи и свободный доступ к конвертируемой валюте, тогда как за членами еврейского совета не было ничего, кроме более чем сомнительной защиты регента Хорти. Также стало понятно, что сионистские функционеры в Венгрии получили гораздо большие привилегии, нежели обычная временная неприкосновенность в случае ареста и депортации, которая выдавалась членам еврейского комитета. Сионисты имели практически неограниченную свободу передвижения, они были освобождены от обязанности носить желтую звезду, они получили разрешение посещать концентрационные лагеря в Венгрии, а чуть позже доктору Кастнеру, основателю Комитета по освобождению евреев, даже разрешили передвигаться по территории нацистской Германии без каких-либо документов, из которых следовало бы, что он еврей.

Организация еврейского совета была для Эйхмана, учитывая его опыт в Вене, Праге и Берлине, обычной рутинной, на которую потребовалось не более двух недель. Вопрос заключался лишь в том, сумеет ли он заручиться поддержкой венгерских чиновников для проведения операции такого размаха. Даже для него это было в новинку. Обычно подобную работу для него выполняло министерство иностранных дел, в данном же случае ее должен был сделать недавно назначенный уполномоченный доктор Эдмунд Веезенмайер, к которому – будь то «классическая операция» – Эйхман прикомандировал бы «советника по еврейским вопросам». Сам Эйхман определенно не горел желанием играть роль советника – должность, для которой требовалось звание не выше гауптштурмфюрера, или капитана, тогда как он сам был в чине оберштурмбанфюрера, или подполковника, то есть на два звания выше.

Величайшим достижением Эйхмана в Венгрии стали лично им налаженные контакты. Задействовал он главным образом троих: Ласло Эндре – за ярый антисемитизм даже Хорти называл его «больным», – которого недавно назначили статс-секретарем по политическим (еврейским) вопросам в министерстве внутренних дел; Ласло Баки – также заместитель секретаря в министерстве иностранных дел, он курировал жандармерию, венгерскую полицию; и подполковника полиции Ференчи, непосредственно отвечавшего за депортации. Опираясь на них, Эйхман мог быть уверенным, что все – принятие необходимых декретов и «концентрация» евреев в провинциях – будет сделано «со скоростью молнии». В Вене созвали особое совещание с участием чиновников министерства железнодорожного транспорта рейха, так как этот вопрос был связан с перевозкой почти

миллиона человек. Коменданта Освенцима Хёсса об этих планах проинформировал его непосредственный начальник генерал Рихард Глюкс из главного административно-экономического управления. Хёсс приказал построить новую железнодорожную ветку, по которой вагоны подходили бы практически к крематорию; число «команд смерти», обслуживавших газовые камеры, было увеличено с 224 до 860 – так что все было готово для умерщвления от шести до двенадцати тысяч человек в день. Когда в мае 1944 года эшелоны начали прибывать, для работы было оставлено совсем немного трудоспособных заключенных, и работали они на плавильном заводе Круппа в Освенциме.

На небольшом заводе Круппа «Бертаверк» использовалась рабочая сила еврейских заключенных, содержание и состояние этих людей было чудовищным даже по меркам рабочих бригад в лагерях смерти.

Вся операция в Венгрии продолжалась менее двух месяцев и внезапно прекратилась в начале июля. Она, благодаря в первую очередь сионистам, была освещена в печати гораздо полнее, чем любая другая фаза еврейской трагедии, и на Хорти обрушился шквал протестов из нейтральных стран и из Ватикана. Хотя папский нунций посчитал нужным пояснить, что протест Ватикана происходит не «из ложного чувства сострадания» – фраза, которая, вероятно, станет вечным памятником тому, во что постоянные контакты и компромиссы с теми, кто проповедовал идею «беспощадной жестокости», превратили ментальность высших иерархов церкви. Швеция в который раз пошла по пути практических действий, распределяя въездные

визы, Швейцария, Испания и Португалия последовали ее примеру, и в результате около тридцати трех тысяч евреев оказались в специально отведенных им домах в Будапеште, находящихся под защитой нейтральных стран. Союзники составили и опубликовали список из семидесяти известных им преступников, а Рузвельт направил ультиматум с угрозой: «Если депортации не прекратятся, судьба Венгрии будет совсем не такой, какая ждет любую другую цивилизованную нацию». Смысл был доведен до сознания Венгрии необычайно массированным воздушным налетом на Будапешт 2 июля.

Под давлением со всех сторон Хорти отдал приказ остановить депортации, и для Эйхмана одним из самых губительных доказательств его вины стал вполне очевидный факт, что он не подчинился приказу «старого дурака» и в середине июля депортировал еще полторы тысячи евреев, которые были у него под рукой в концентрационном лагере под Будапештом. Чтобы не дать возможности еврейским лидерам сообщить об этом Хорти, он созвал представителей двух организаций у себя в конторе, где доктор Гюнше под разными предлогами задержал их, пока не стало известно, что состав покинул территорию Венгрии. В Иерусалиме Эйхман не помнил об этом эпизоде, и хотя судьи «убедились, что обвиняемый очень хорошо помнит свою победу над Хорти», это вызывает сомнения, так как для Эйхмана Хорти был не такой уж авторитетной фигурой.

По-видимому, это был последний эшелон из Венгрии в Освенцим. В августе 1944 года Советская армия вошла в Румынию, и Эйхмана отправили туда с сумасбродной идеей спасения «этнических немцев». Когда он вернулся, режим Хорти набрался смелости потребовать от команды Эйхмана свернуть работу,

и Эйхман сам попросил Берлин отозвать его и его людей, потому что здесь они «стали ненужными». Ничего такого в Берлине делать не стали и оказались правы, потому что в середине октября ситуация резко изменилась. Когда Советская армия находилась не более чем в ста милях от Будапешта, немцы сумели сбросить правительство Хорти и назначили главой государства лидера «Скрещенных стрел» Ференца Салаши. Составы уже нельзя было направлять в Освенцим, потому что устройства для умерщвления готовили к демонтажу, и в это же самое время немцы вдруг стали испытывать страшный дефицит рабочей силы. Теперь уже Веезенмайер, уполномоченный рейха, стал вести переговоры с министерством внутренних дел Венгрии о разрешении на вывоз пятидесяти тысяч евреев – мужчин в возрасте от шестнадцати до шестидесяти лет и женщин моложе сорока – в рейх; в своем докладе он добавил, что Эйхман надеется послать еще пятьдесят тысяч. Поскольку железных дорог больше не существовало, все это вылилось в пешие этапы в ноябре 1944 года, которые были остановлены только по приказу Гимmlера. Евреев, которых отправляли по этапу, наугад арестовывала венгерская полиция, невзирая ни на имевшиеся у многих льготы, ни на возраст, рамки которого были определены в исходных директивах. Этапы конвоировали члены «Скрещенных стрел», которые грабили их и обращались с исключительной жестокостью. Из восьмисот тысяч довоенного еврейского населения, по-видимому, сто шестьдесят тысяч все еще находились в будапештском гетто – пригороды были *judenrein*, – и десятки тысяч из них стали жертвами внезапно вспыхнувших погромов. 13 февраля 1945 года страна капитулировала перед Советской армией.

Основные преступники Венгрии, повинные в убийствах, предстали перед судом, были приговорены к смерти и казнены. Ни один из немецких инициаторов этого ужаса, за исключением Эйхмана, не заплатил за это более чем несколькими годами тюремного заключения.

Словакия, как и Хорватия, была изобретением министерства иностранных дел Германии. Словаки приехали в Берлин на переговоры о своей «независимости» еще до того, как Германия оккупировала Чехословакию, в марте 1939 года, и тогда они пообещали Герингу, что будут верными последователями Германии в решении еврейского вопроса. Но эти события имели место зимой 1938–1939 годов, когда никто еще не слышал об «окончательном решении».

Небольшая и бедная крестьянская страна, в которой проживало два с половиной миллиона человек, из них девяносто тысяч евреев, была примитивной, отсталой и глубоко католической. В то время ею правил католический священник отец Йозеф Тисо. Даже словацкое фашистское движение, «Глишкова Гарда», имело вид католического, неистовый антисемитизм этих клерикальных фашистов, или фашиствующих клерикалов, как по стилю, так и по содержанию отличался от ультрасовременного расизма их германских хозяев. В правительстве Словакии был только один «модерновый» антисемит, и это был добрый друг Эйхмана, министр внутренних дел Александр Мах по прозвищу Шанё. Все остальные были христианами или думали, что они христиане, тогда как нацисты, в принципе, были как антихристианами, так и антисемитами. Христианство для словаков означало не только то, что они чувствовали себя обя-

занными четче обозначить, по меркам нацистов, «старомодное» различие между крещеными и некрещеными евреями, но и то, о чем они рассуждали с позиций кромешного средневековья. Для них «решение» заключалось в изгнании евреев и захвате их собственности, но не в систематическом «устранении», хотя они не возражали, когда евреев время от времени убивали.

Величайший «грех» евреев состоял не в том, что они принадлежали к враждебной «расе», а в том, что они были богатыми. Евреи в Словакии были не очень богатыми по западным стандартам, но когда пятьдесят две тысячи из них обязаны декларировать собственность, потому что владеют ею на сумму, составляющую более чем две сотни долларов, то «на круг» выходит сто миллионов долларов, поэтому любой из них в глазах словаков был живым воплощением Креза.

Во время первых полутора лет «независимости» словаки пытались решить еврейский вопрос в соответствии со своими представлениями о том, как это надо делать. Они передали часть крупных еврейских предприятий неевреям, ввели несколько антиеврейских законов, которые, как объяснили немцы, имели «базовый дефект» и не распространялись на евреев, крещенных до 1918 года, планировали создать гетто «по примеру центрального правительства» и мобилизовали евреев на принудительные работы. На очень раннем этапе, в сентябре 1940 года, они получили советника по еврейским вопросам. Гауптштурмфюрер Дитер Вислицени, когда-то начальник, которым Эйхман искренне восхищался (своего старшего сына Эйхман назвал Дитером), и соратник по секретной службе, а теперь уже равный ему по званию, был прикомандирован к германской дипломатической миссии в Братиславе. Вислицени не

был женат и, следовательно, не мог рассчитывать на повышение по службе, поэтому через год Эйхман обошел его в звании и Вислицени стал его подчиненным.

Эйхман думал, что Вислицени должен быть зол на него, и это для него являлось объяснением, почему тот дал против него такие убийственные показания на Нюрнбергском процессе и даже вызвался найти, где он скрывается. Все это сомнительно. Вислицени заботился только о том, как бы спасти свою шкуру, он был абсолютно не похож на Эйхмана. Он принадлежал к образованной части эсэсовцев, жил среди книг и пластинок, в Венгрии евреи обращались к нему «барон», и по большей части его интересовали деньги, а не карьера; таким образом, он стал одной из первых ласточек в СС, обнаруживших признаки «умеренности».

В первые годы в Словакии ничего особенного не происходило, а в марте 1942-го Эйхман появился в Братиславе, чтобы начать переговоры об эвакуации двадцати тысяч «молодых и крепких работоспособных евреев». Четырьмя неделями позже на встречу с премьер-министром Войтехом Тукой прибыл сам Гейдрих, он уговорил его переселить всех евреев на восток, включая крещеных евреев, которые до этого имели льготы. Правительство со священником во главе не возражало против исправления «базового дефекта», проводившего различие между христианами и евреями по религиозному признаку, – особенно когда ему дали понять, что «германские власти не станут выдвигать требования в отношении собственности этих евреев, за исключением выплаты по пятьсот рейхсмарок за каждого полученного еврея»; напротив, правительство потребовало от министерства иностранных дел Германии дополнительных гарантий, что «выдворенные из Сло-

вакии и полученные [немцами] евреи останутся в восточных районах навсегда и им не дадут возможности вернуться в Словакию». Чтобы быть в курсе переговоров на самом высоком уровне, Эйхман нанес второй визит в Братиславу, который совпал с покушением на Гейдриха, и к июню 1942 года пятьдесят две тысячи евреев были депортированы словацкой полицией в центры умерщвления в Польше.

В стране все еще оставалось тридцать пять тысяч евреев, и все они относились к оговоренным в первых законах льготным категориям – крещеные евреи и их родители, специалисты определенных профессий, молодые мужчины в принудительных рабочих батальонах, некоторые бизнесмены. Именно в этот самый момент, когда большинство евреев уже были «переселены», братиславский Комитет по освобождению евреев, дочернее отделение венгерской сионистской группы, сумел дать взятку Вислицени в обмен на обещание замедлить темпы депортаций – он также предложил так называемый Европейский план, который ему придется снова извлекать на свет в Будапеште. Крайне маловероятно, что Вислицени делал хоть что-то помимо того, что читал книги и слушал музыку, и, конечно же, он хватал все, что плыло ему в руки. Но тогда же Ватикан сообщил католическому духовенству истинный смысл слова «переселение». С этого момента, как докладывал в министерство иностранных дел в Берлин германский посол Ганс Элард Людиг, депортации стали крайне непопулярными, а правительство Словакии стало требовать, чтобы немцы дали им разрешение посетить центры «переселения» – такого разрешения, конечно же, ни Эйхман, ни Вислицени дать не могли, потому что «переселенных» евреев уже не было в живых.

В декабре 1943 года доктор Эдмунд Веезенмайер прибыл в Братиславу на встречу с отцом Тисо; его послал Гитлер, который приказал Тисо: «Спуститесь на землю» (*Fraktur mit ihm reden*). Тисо обещал поместить в концентрационные лагеря от шестнадцати до восемнадцати тысяч некрещеных евреев и построить специальный лагерь для десяти тысяч крещеных евреев, но не согласился на депортации. В июне 1944 года Веезенмайер, теперь уже уполномоченный рейха в Венгрии, появился снова и потребовал, чтобы оставшиеся в стране евреи были включены в венгерские операции. Тисо снова ему отказал.

В августе 1944 года, когда Советская армия уже была близко, в Словакии произошло массовое восстание, и немцы оккупировали страну. К этому времени Вислицени был уже в Венгрии и, по-видимому, больше не пользовался доверием. РСХА послало Алоиза Брюннера в Братиславу, чтобы тот арестовал и депортировал оставшихся евреев. Брюннер вначале арестовал и депортировал членов Комитета по защите евреев, а затем, на этот раз с помощью германских соединений СС, депортировал еще от двенадцати до четырнадцати тысяч человек. 4 апреля, когда русские вошли в Братиславу, там оставалось, быть может, двадцать евреев, которые пережили катастрофу.

ГЛАВА XIII

ЦЕНТРЫ УМЕРЩВЛЕНИЯ НА ВОСТОКЕ

Когда нацисты говорили о Востоке, они имели в виду огромную область, которая включала в себя Польшу, страны Прибалтики и оккупированную территорию России. Вся область была поделена на четыре административные единицы: Вартегау, включавшую в себя западные районы Польши, аннексированные рейхом, – ею управлял гаулейтер Артур Грайслер; Остланд, куда входили Литва, Латвия и Эстония и довольно неопределенная часть Белоруссии, а центр оккупационных властей находился в Риге; генерал-губернаторство Центральной Польши под управлением Ганса Франка; и Украина, которой управляло министерство по оккупированным восточным территориям Альфреда Розенберга. Это были первые страны, свидетельские показания по которым огласило обвинение, они же оказались последними, названными в заключении суда.

Вне всякого сомнения, и обвинение, и судьи имели веские причины для принятия столь противоположных решений.

Восток был центральной сценой страданий евреев, страшная конечная станция всех депортаций, место, из которого вряд ли можно было убежать и где число выживших едва ли превышало пять процентов. Более того, Восток был центром довоенного сосредоточения еврейского населения в Европе: более трех миллионов евреев жило в Польше, двести шестьдесят тысяч – в странах Прибалтики и более половины всех русских евреев – по оценкам, около трех миллионов – жило в Белоруссии, Украине и Крыму.

Поскольку обвинение в первую очередь хотело вскрыть причины страданий еврейского народа и определить «масштабы геноцида» в его отношении, было логично начать отсюда и затем посмотреть, какую долю персональной ответственности за этот кромешный ад следует возложить на обвиняемого. Проблема заключалась в том, что доказательства, связывающие Эйхмана с Востоком, были «недостаточными», и это объяснили тем, что документы гестапо, и в частности документы по отделу Эйхмана, нацисты уничтожили. Нехватка документов-доказательств дала обвинению отличный предлог вызывать бесконечную череду свидетелей, которые под присягой рассказывали о том, что происходило на Востоке, – хотя вряд ли это была единственная причина.

Обвинение – как показалось во время следствия и что было окончательно выяснено после него (в специальном «Бюллетене», который издал в апреле 1962 года национальный Мемориал катастрофы Яд ва-Шем, был опубликован израильский архив нацистского периода) – испытывало серьезное давление со стороны выживших в катастрофе, которые составляют около двадцати процентов всего нынешнего населения Израиля.

Они толпами окружали представителей процесса, а также собирались на территории Яд ва-Шем, на который официально была возложена обязанность подготовить некоторые документальные свидетельства, и предлагали себя в качестве свидетелей. Худшие случаи «яркого воображения» людей, которые «видели Эйхмана в разных местах, где он никогда не был», были исключены из дела, но пятьдесят шесть «страдальцев еврейского народа», как называли их судебные власти, в конце концов заняли свидетельское место – вместо пятнадцати или двадцати «базовых свидетелей», как планировалось вначале; двадцать три судебных заседания из ста двадцати одного были полностью посвящены «базе», что означало: им нечего сказать по существу. И хотя ни защита, ни судьи почти не подвергали свидетелей перекрестному допросу, суд не принимал имеющие отношение к Эйхману показания, если они не подкреплялись дополнительными доказательствами.

Так, судьи отказались обвинить Эйхмана в убийстве еврейского мальчика в Венгрии или в подстрекательстве к «Ночи разбитых витрин» в Германии и Австрии, о которой он определенно ничего не знал в то время, и даже уже в Иерусалиме знал гораздо меньше, чем самый плохой школьник нашего времени. Или в убийстве девяноста трех детей в Лидице, которых после покушения на Гейдриха депортировали в Лодзь, так как, «как следует из представленных свидетельств, это не было доказано, не оставив разумных оснований для сомнений». Отказались возложить на него ответственность за омерзительные операции подразделения 1005 – «одного из страшнейших доказательств, представленных обвинением», – целью которых было вскрытие

массовых захоронений на Востоке и извлечение останков, чтобы уничтожить все следы убийства. Подразделением командовал штандартенфюрер Пауль Блобель, который согласно его собственным показаниям получал приказы от Мюллера, начальника департамента IV РСХА. Или отказались обвинить в создании ужасающих условий для эвакуации евреев, выживших в лагерях смерти, в германские концентрационные лагеря, в частности в Берген-Бельзен, во время последних месяцев войны.

Сущность показаний базовых свидетелей об условиях в польских гетто, о процедурах в разных лагерях смерти, о принудительном труде и о попытке уничтожения через труд никогда не дискутировалась; напротив, практически все, что они рассказывали, было уже известно ранее. Если имя Эйхмана просто упоминалось, это были свидетельства на уровне слухов, «которые требовалось проверять», то есть они не имели законной силы. Показания всех свидетелей, которые «видели его собственными глазами», разваливались в тот самый момент, когда вопрос адресовался непосредственно им и суд выяснял, что «центр его активности находился в пределах самого рейха, в протекторате и в странах Европы на западе, севере, юге, юго-востоке и в Центральной Европе» – то есть везде, но только не на востоке.

Почему же тогда суд не прекратил эти слушания, которые тянулись неделями, а под конец уже и месяцами? Обсуждая этот вопрос, суд, словно извиняясь, дал, наконец, совершенно нелогичное объяснение: «Поскольку обвиняемый отрицает все пункты обвинительного акта», судьи не смогли отклонить «доказательства по обстоятельствам дела», то есть, базовые. Одна-

ко обвиняемый никогда не отрицал факты, изложенные в обвинении, он только отрицал, что несет за них ответственность «по сути обвинения».

На самом деле судьи столкнулись с в высшей степени неприятной дилеммой. В самом начале процесса доктор Сервациус подверг сомнению беспристрастность судей. Ни один еврей, по его мнению, не имел права находиться в суде, рассматривающем дело о реализации «окончательного решения», на что судья-председатель ответил: «Мы профессиональные судьи, привыкшие и приученные взвешивать представляемые нам доказательства и выполнять нашу работу публично и быть субъектами общественной критики... В зале суда во время процесса судьи, которые и есть суд, – это люди из плоти и крови, со своими чувствами и своим пониманием здравого смысла, но закон обязывает их сдерживать эти чувства. Иначе невозможно было бы найти ни одного судью для уголовного процесса, который мог бы вызвать у него отвращение... Невозможно отрицать, что память о нацистском холокосте бурлит в каждом еврее, но пока мы рассматриваем данное дело, нашей обязанностью будет сдерживать эти чувства, и эту обязанность мы обязаны чтить». Это было вполне честно и справедливо, если только доктор Сервациус не подразумевал, что евреи, возможно, не вполне понимают проблему, которую их присутствие создало в самом центре наций всего мира, и поэтому они не смогут понять ее «окончательное решение». Но ирония ситуации в этом случае заключается в том, что он привел этот аргумент, дабы услышать в ответ, что обвиняемый, по его собственному, подчеркивавшемуся и неоднократно повторявшемуся признанию, узнал все, что знаем мы о еврейском вопросе, от еврейско-сионистских

авторов, из «программных книг» Теодора Герцля и Адольфа Бёма. Кто тогда имел бы больше прав судить его, чем эти люди, ставшие сионистами еще в ранней юности?

Не касается обвиняемого, но касается базовых свидетелей тот факт, что еврейство судей, их проживание в стране, где каждый пятый – переживший холокост, создали проблему и заострили ее. Господин Хаузнер собрал «трагическое множество» пострадавших, каждый из которых горел желанием не упустить такую редкую возможность, каждый из которых был уверен в своем праве на «свой день» в суде. Судьи могли это сделать, и они сделали – переругались с прокурором относительно мудрости и даже уместности решения воспользоваться случаем для того, чтобы «нарисовать общую картину», но как только свидетель начинал выступать, его действительно очень трудно было прервать, чтобы выделить из показаний суть, «со всем уважением к свидетелю и тому, о чем он повествует», как формулировал судья Ландау. Кто они были такие, говоря человеческим языком, чтобы отказать кому-то из этих людей в его дне в суде? И кто бы осмелился, говоря по-человечески, подвергать сомнению точность описываемых деталей, когда они «изливали свои души, стоя на кафедре для свидетельских показаний», даже если то, что они рассказывали, может лишь «рассматриваться как побочный продукт следствия»?

Была и еще одна сложность. В Израиле, как и в большинстве других стран, человек, представший перед судом, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде. Но в случае Эйхмана это было явной фикцией. Если бы он не был признан виновным до того, как предстал перед судом в Иерусалиме, «виновным бесспорно», израильтяне никогда не

посмели бы или не захотели бы похищать его. Премьер-министр Бен-Гурион, объясняя в письме от 3 июня 1960 года президенту Аргентины, почему израильтяне «формально нарушили аргентинский закон», писал, что «это был Эйхман, тот, кто организовал массовое убийство [шести миллионов человек нашего народа] в гигантском и беспрецедентном масштабе по всей Европе». В противоположность обычным арестам в обычных уголовных делах, когда подозрение в вине должно быть доказано по существу и обосновано, но не бесспорно – это задача будущего следствия и суда, – незаконный арест Эйхмана мог быть, и был оправдан в глазах всего мира только тем фактом, что исход процесса был безошибочно предсказуем.

Роль Эйхмана в «окончательном решении», как теперь становилось понятным, была страшно преувеличена – отчасти из-за его собственного хвастовства, отчасти потому, что обвиняемые на Нюрнбергском и других послевоенных процессах пытались свалить свою вину на него, но главным образом потому, что он находился в тесном контакте с еврейскими функционерами, так как он был единственным представителем Германии, являвшимся «специалистом в еврейских вопросах», и ни в чем больше. Обвинение, выстраивая дело на страданиях, которые отнюдь не были преувеличены, ни с того ни с сего преувеличило саму преувеличенность – или, по крайней мере, так думали, пока не было объявлено решение апелляционного суда: «Это факт, что апеллант вообще не получал “приказов начальства”. Он был сам себе начальник, и он отдавал все приказы, касающиеся дел евреев». Это был именно тот аргумент обвинения, который судьи окружного суда не приняли, но – и в этом просматривается опасный нонсенс – апелляционный суд его полностью одобрил.

Суд опирался главным образом на свидетельские показания члена Верховного суда США, автора книги «Десять дней, чтобы умереть» [1950] и бывшего судьи на Нюрнбергском процессе Майкла А. Мусманно, приехавшего из США, чтобы выступить на стороне обвинения. Мистер Мусманно участвовал в заседаниях суда в Нюрнберге, на которых рассматривались дела начальников концентрационных лагерей и членов мобильных отрядов смерти на Востоке; и хотя по ходу дела всплыло имя Эйхмана, в своих решениях он упомянул его только один раз. В Нюрнберге он также допрашивал подсудимых в их камерах. Там-то Риббентроп и сказал ему, что с Гитлером все было бы в порядке, не попади он под влияние Эйхмана. Что ж, мистер Мусманно верил не всему, что ему говорили, но он поверил, что Эйхмана наделил полномочиями сам Гитлер и что свою власть он «обрел благодаря общению с Гиммлером и Гейдрихом». Несколькими заседаниями позже в качестве свидетеля обвинения перед судом предстал мистер Густав Гилберт, профессор психологии в университете Лонг-Айленда и автор «Нюрнбергского дневника» [1947]. Он был более осторожным, чем член Верховного суда Мусманно, которого в Нюрнберге он представлял подсудимым. Гилберт показал под присягой, что «...главные нацистские военные преступники практически не вспомнили Эйхмана... в то время», он также заявил, что Эйхман, которого они с судьей Мусманно считали погибшим, практически не упоминался в их дискуссиях о военных преступлениях.

После этого судьи окружного суда, которые видели насквозь преувеличения обвинения и не желали делать из Эйхмана начальника Гиммлера и вдохновителя Гитлера, оказались в

ситуации, когда им требовалось защищать обвиняемого. Эта задача, помимо ее неприятного характера, не имела никаких последствий ни для суда, ни для приговора, так как «юридическая и моральная ответственность того, кто отправлял жертвы на смерть, по нашему мнению, ничуть не меньше, а, может, даже и больше, чем ответственность того, кто умерщвлял жертвы».

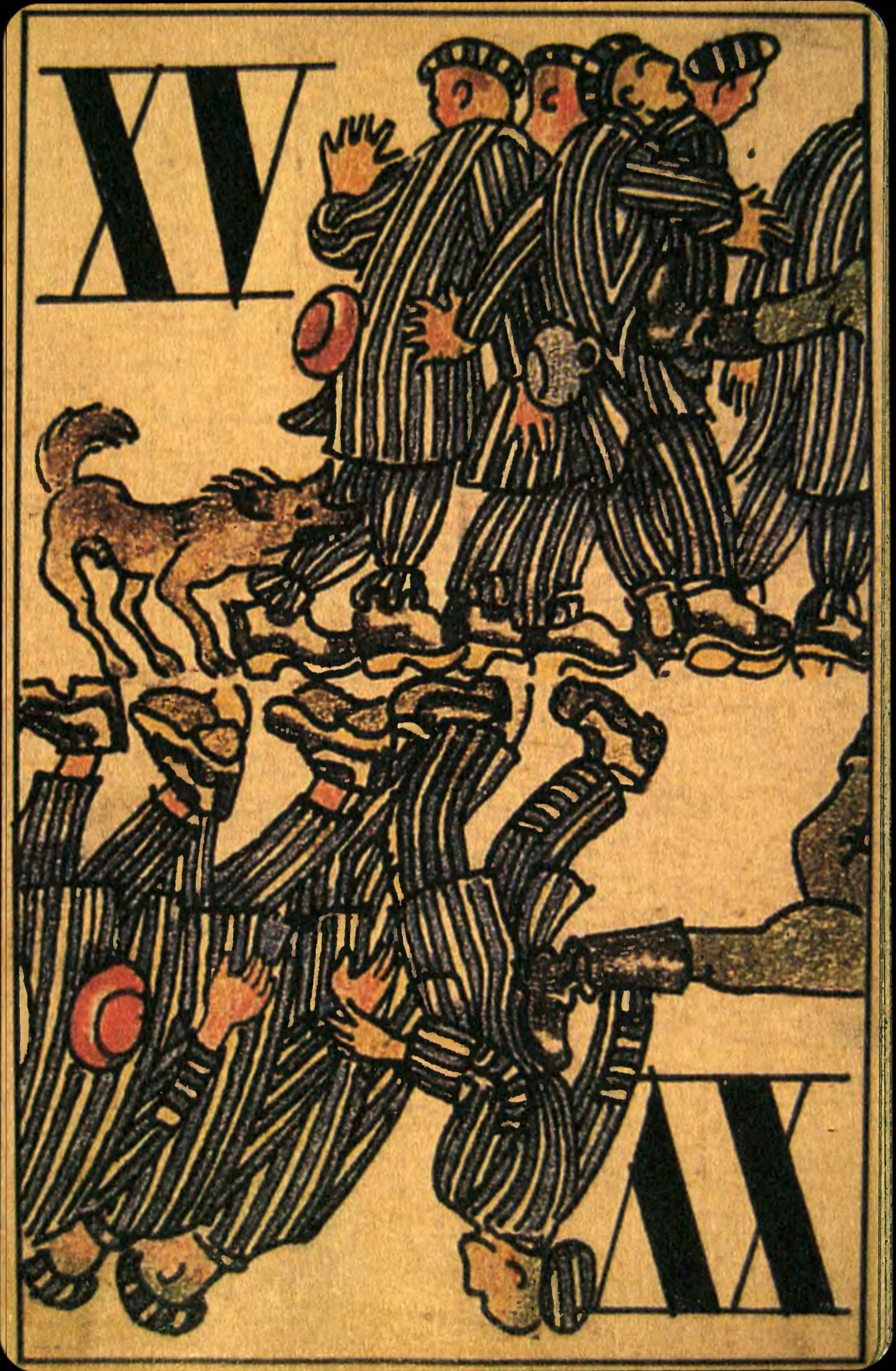
Для судей путь преодоления всех этих трудностей лежал через компромисс. Судебное решение распадается на две части, и самую большую часть составляет переписывание версии обвинения. Судьи обозначили свой фундаментально иной подход, начав с Германии и закончив Востоком, так как это означало: они намерены сосредоточиться на том, что было сделано, а не на том, через какие страдания прошли евреи. Возражая обвинению, они недвусмысленно заявили, что страдания такого гигантского масштаба находятся «за гранью человеческого понимания», что это тема «для писателей и поэтов», а не для зала судебного заседания, а вот поступки и мотивы, которые привели к ним – и в рамках понимания, и в компетенции суда. Судьи пошли еще дальше, сообщив, что их решение будет основано на их собственном понимании, и в самом деле, они окончательно ушли бы от сути, если бы не взялись за гигантскую работу, которую для этого требовалось проделать. Они, чтобы уяснить позицию обвиняемого, прекрасно разобрались со сложным бюрократическим устройством нацистского механизма уничтожения. В отличие от вступительной речи господина Хаузнера, который уже успел опубликовать книгу, заключение суда можно исследовать как учебное пособие, особенно если вас интересует история того периода. Но суд, так мастерски избежавший дешевой риторики, мог бы разрушить версию обвинения, если

бы судьи не нашли причин обвинить Эйхмана в определенной ответственности за преступления на Востоке. Это было «дополнительное» обвинение – в главном, то есть в том, что он отправлял людей на смерть, отдавая себе в этом отчет, он признался.

Обсуждались главным образом четыре пункта. Первый – это вопрос участия Эйхмана в массовых бойнях, которые проводили на Востоке айнзацгруппы – казни санкционировал Гейдрих на совещании в марте 1941 года, на котором Эйхман присутствовал. Однако поскольку командирами айнзацгрупп были члены интеллектуальной элиты СС, тогда как их воинство состояло либо из уголовников, либо из обычных солдат, которым было приказано делать эту работу – добровольцев не было, – связь Эйхмана с этой важной фазой «окончательного решения» выражалась лишь в том, что он получал отчеты убийц, которые затем систематизировал для своего начальства. Эти отчеты, хотя и «совершенно секретные», размножались на ротаторе и направлялись в пятьдесят – семьдесят организаций рейха, в каждой из которых, естественно, сидел свой оберрегирунгсрат (*Oberregierungsrat* – старший правительственный советник), который систематизировал их для своих начальников. Имелись также показания члена Верховного суда США Мусманно, который заявил, что Вальтер Шелленберг, составивший проект договора между Гейдрихом и генералом Вальтером фон Браухичем из военного командования (в этом договоре уточнялось, что айнзацгруппы получают полную свободу для «выполнения своих задач, касающихся гражданского населения», то есть убийства гражданского населения), сообщил ему в разговоре в Нюрнберге, что Эйхман «управлял этими операциями» и даже «лично наблюдал за ними». Судьи «по причине предосторожно-









сти» не хотели полагаться на неподтвержденное заявление Шелленберга и изъяли это свидетельство. Похоже, Шелленберг был очень низкого мнения о судьях Нюрнбергского трибунала и их способности преодолеть лабиринт административной структуры Третьего рейха. Таким образом, оставалось лишь свидетельство о том, что Эйхман был хорошо информирован о происходящем на Востоке, а это никогда не подвергалось сомнению, и, что удивительно, суд пришел к заключению, что этого свидетельства достаточно для подтверждения его фактического участия.

Второй пункт, касавшийся депортации евреев из польских гетто в близлежащие центры умерщвления, был более убедительным. В самом деле, было «логично» предположить, что специалист по транспортировке проявлял активность и на территории генерал-губернаторства. Однако мы знаем из многих других источников, что ответственными за транспортировку на всей этой огромной территории были высшие чины СС и полиции – к великому неудовольствию генерал-губернатора Ганса Франка, который в своем дневнике постоянно жаловался на вмешательство в эту сферу, при этом вообще не упоминая имени Эйхмана. Франц Новак, офицер группы Эйхмана, отвечавший за транспорт, давая показания в свою защиту, подтвердил версию Эйхмана: действительно, время от времени им приходилось вести переговоры с руководством *Ostbahn*, Восточных железных дорог, потому что перевозки из западных частей Европы следовало координировать с операциями в данной области.

Вислицени дал в Нюрнберге очень хороший отчет по этим переговорам. Новак связывался с министерством транспорта, ко-

торое, если эшелоны следовали через театр военных действий, в свою очередь, должно было получить разрешение от армейских. Армия могла наложить вето на перевозки. Чего Вислицени не рассказал и что было куда интереснее, так это то, что армия пользовалась своим правом вето только в первые годы, когда германские войска наступали. В 1944 году, когда депортации из Венгрии затрудняли отступление целых армий, никакие вето не применялись.

Но, например, когда в 1942 году эвакуировалось Варшавское гетто – со скоростью пять тысяч человек в день, – Гиммлер лично вел переговоры с железнодорожными властями, Эйхман и его команда не имели к ним никакого отношения.

В конце концов суд обратился к показаниям одного из свидетелей на процессе Хёсса, из которых следовало, что часть евреев из генерал-губернаторства доставили в Освенцим вместе с евреями Белостока – польского города, присоединенного к германской провинции Восточная Пруссия – и, следовательно, они попали под юрисдикцию Эйхмана. Но даже в Вартегау, являвшейся территорией рейха, ответственным за казни и депортации был гаулейтер Грайслер, а не РСХА. И хотя в январе 1944 года Эйхман побывал в гетто Лодзи – самом большом на Востоке и самом последнем в списке ликвидированных, – тем, кто месяцем позже приказал Грайслеру ликвидировать гетто, снова был Гиммлер. Если отбросить абсурдное заявление обвинения о том, что Эйхман был способен инспирировать приказы Гитлера, сам по себе факт, что Эйхман отправлял евреев в Освенцим, не может быть доказательством того, что всех евре-

ев, попавших в Освенцим, туда отправил Эйхман. Исходя из категорического отрицания Эйхмана и полного отсутствия убедительных доказательств выводы суда по этому пункту, увы, производят впечатление *in dubio contra reum* – «все сомнения против обвиняемого».

Третьим рассматривавшимся пунктом была ответственность Эйхмана за то, что происходило в лагерях смерти, где, по утверждению обвинения, он пользовался огромным авторитетом. О высокой степени независимости и беспристрастности судей свидетельствует тот факт, что они не приняли ни одно свидетельское показание по этому вопросу. Их аргументация была убедительной и показала абсолютное понимание ситуации в целом. Они начали с объяснения, что в лагерях существовали две категории евреев: так называемые транспортные евреи (*Transpotjuden*), которые составляли основную массу населения и не совершили никаких преступлений даже в глазах нацистов, и «превентивно арестованные евреи» (*Schutzhaftjuden*), которые были сосланы в немецкие концентрационные лагеря за какие-то проступки – эти, в соответствии с тоталитарным принципом насаждения режима террора против «невинных», устраивались гораздо лучше остальных, даже когда их отправляли на Восток, чтобы сделать немецкие концентрационные лагеря рейха *judenrein*.

По словам Раи Каган, одного из центральных свидетелей по Освенциму, «то был великий парадокс Освенцима: с теми, кого сажали за уголовные преступления, обращались лучше, чем с остальными». Они не попадали под селекцию и, как правило, выживали.

Эйхман не имел никакого отношения к «превентивно арестованным евреям», но «транспортные евреи», его специальность, были по определению приговорены к смерти, за исключением двадцати пяти процентов особо крепких, которых в некоторых лагерях могли отобрать для работы. Однако в версии, которую представил суд, этот вопрос уже не рассматривался. Конечно же, Эйхман знал, что подавляющее большинство его жертв обречено на смерть; но истина заключалась в том, что он не обладал полномочиями, которые позволили бы ему сказать, кто умрет, а кто будет жить – он просто не мог этого знать: отбор на работу производили врачи СС прямо на месте, а список депортированных обычно составляли еврейские советы в странах проживания или регулярная полиция, и ни Эйхман, ни его люди никогда этого не делали. Вопрос состоял в другом – лгал ли Эйхман, когда заявил: «Я не убил ни одного еврея и ни одного нееврея – я не убил ни одного человеческого существа. Я не отдавал приказа убить ни еврея, ни нееврея». Обвинение же, не способное понять участника массовых убийств, который никогда не убивал (которому, в данном конкретном случае, вероятно, даже не хватило бы мужества убить), постоянно пыталось доказать, что он убивал отдельных лиц.

И это приводит нас к четвертому, и последнему вопросу, касающемуся общих полномочий Эйхмана на восточных территориях, – вопросу о его ответственности за условия жизни в гетто, за непередаваемые несчастья, которые обрушились на их обитателей, и за их окончательную ликвидацию, которая была предметом показаний большинства свидетелей. И вновь мы видим, что Эйхман был отлично информирован, но это не имело никакого отношения к его работе. Обвинение предприняло

сложную попытку доказать, что имело – на основании того, что Эйхман охотно признавал, что иногда ему случалось решать, в соответствии с постоянно меняющимися директивами на этот счет, как поступать с евреями-иностранцами, которые оказались в западне в Польше. Это, он заявил, было вопросом «национального значения», касающимся министерства иностранных дел, и «за пределом» местных властей. Что же касается таких евреев, то в правительственных организациях Германии существовали две разные тенденции – «радикальная» тенденция, которая игнорировала все различия: еврей он и есть еврей, точка. И «умеренная» тенденция, согласно которой считалось, что лучше держать этих евреев «про запас» на случай обмена.

«Обменные евреи», похоже, были идеей Гимmlера. После того как Америка вступила в войну, он в декабре 1942 года написал Мюллеру, что «всех евреев, у которых есть влиятельные родственники в Соединенных Штатах, следует отправить в особый лагерь... и оставить в живых». И добавил: «Эти евреи наши очень ценные заложники. Я пишу в уме цифру в “десять тысяч”».

Не стоит говорить, что Эйхман относился к «радикалам»: он был против исключений из правил по административным, а также «идеалистическим» мотивам. Но когда в апреле 1942 года он написал в министерство иностранных дел, что «в будущем к иностранцам следует применять те же методы, которыми полиция безопасности действует в Варшавском гетто», откуда евреев с зарубежными паспортами до недавнего времени по одному осторожно «выпалывали», он вряд ли действовал как «лицо, принимающее решения от имени РСХА» на Востоке,

и у него определенно не было там «исполнительной власти» – читай «права на уничтожение». Тот факт, что Гейдрих или Гиммлер изредка использовали его для передачи определенных приказов местным командирам, дает еще меньше оснований предполагать, что у него такая власть или право были.

Правда в определенном смысле была еще более страшной, чем предполагал суд в Иерусалиме. Гейдрих, как утверждал суд, обладал исключительной властью по внедрению «окончательного решения» без каких-либо территориальных ограничений – следовательно, Эйхман, его главный помощник в этой области, несет равную с ним ответственность. Это было совершенно справедливым по отношению к конструктивным рамкам «окончательного решения», но хотя Гейдрих в целях координации и вызвал на Ванзейскую конференцию заместителя государственного секретаря доктора Йозефа Бюлера, представителя генерал-губернатора Ганса Франка, «окончательное решение» не в полной мере распространялось на оккупированные восточные территории по одной простой причине: судьба тамошних евреев никогда не была темой для обсуждения.

Истребление польских евреев, как судьи знали из показаний сотрудника германской контрразведки Эрвина Лахоузе-на в Нюрнберге, Гитлер назначил не на май или июнь 1941 года, а на сентябрь 1939-го. Перед ними также был протокол совещания у Гейдриха 21 сентября 1939 года, о котором я упоминала выше, где собрались командиры мобильных отрядов смерти, участвовавшие во вторжении в Польшу, а также присутствовал Эйхман, тогда еще в чине гауптштурмфюрера, представлявший берлинский центр еврейской эмиграции. На этой встрече, состоявшейся почти за два года до приказа фюрера об «оконча-

тельном решении», занимались всем населением Востока, включая поляков, от «политических лидеров» которых, как было доложено, осталось не более трех процентов и чьи «примитивные массы» следовало использовать как неквалифицированных сезонных рабочих, прежде чем эвакуировать; включая польских евреев, которых следовало собрать в гетто для последующей «эвакуации»; и, наконец, включая немецких евреев, которых следовало отправить на Восток в товарных вагонах вместе с тридцатью тысячами цыган. Все эти мероприятия, как отмечалось, были предварительными этапами на пути к финальной цели «полной очистки», но массовые расстрелы больше применяться не будут. Армейские командиры протестовали против расправ с мирным населением, и Гейдрих заключил с высшим германским командованием соглашение, устанавливавшее принцип полной «очистки раз и навсегда» для евреев, польской интеллигенции, католического духовенства и знати, при этом определив, что по практическим соображениям – то есть из-за размаха операций, в ходе которых должны быть «вычищены» два миллиона евреев, – евреев вначале следует сконцентрировать в гетто. И этот план полностью соответствовал речи, с которой Гитлер в обстановке полной конфиденциальности обратился к высшему германскому командованию в 1937 году, где он очертил свой план по созданию «пустых пространств» на Востоке для будущих германских поселений.

Действия против восточных евреев были не только следствием антисемитизма, они были неотъемлемой частью всеобъемлющей «демографической» политики, по ходу реализации которой, выиграй немцы войну, поляков постигла бы та же участь, что и евреев, – геноцид. Это не простое совпадение:

полякам в Германии уже было предписано носить нарукавные нашивки, на которых буква «Р*» всего лишь заменила бы еврейскую звезду Давида, а это, как мы уже видели, всегда было первым полицейским мероприятием по включению процесса уничтожения. Другими словами, Эйхману почти никак не пришлось участвовать в том, что случилось с евреями в Польше, странах Прибалтики, в Белоруссии и на Украине, потому что там не нужен был «специалист по еврейским вопросам», никакие особые «директивы» для их эвакуации и уничтожения не требовались, и никакие различия между привилегированными евреями и всеми остальными тоже никогда не проводились. Даже члены еврейских советов неизменно уничтожались. Не было никаких исключений: для обреченных на рабский труд единственной альтернативой становилась медленная мучительная смерть.

Если бы судьи полностью оправдали Эйхмана по этим пунктам, связанным с душераздирающими историями, которые снова и снова рассказывали свидетели на процессе, они все равно признали бы его виновным, и Эйхман все равно не избежал бы смертной казни. Результат был бы тем же самым. Но тогда они полностью и бескомпромиссно развалили бы дело, камня на камне не оставив от того, как представило его обвинение.

* От немецкого *Pole* – поляк.

ГЛАВА ХІV

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И СВИДЕТЕЛИ

В последние недели войны бюрократическая машина СС была занята главным образом подделкой паспортов и уничтожением гор документов, которые накопились за шесть лет систематических убийств. Более успешный, чем другие, департамент Эйхмана сжег свои папки, но достиг этим немногого: вся его корреспонденция была адресована другим государственным и партийным организациям, чьи досье попали в руки союзников. А там осталось более чем достаточно документов, чтобы рассказать историю «окончательного решения», и большинство из этих документов уже было оглашено на Нюрнбергском и последующих процессах. Историю подтвердили заявления свидетелей и обвиняемых, сделанные на предыдущих процессах под присягой и без нее, некоторых из этих людей больше нет в живых.

Все это, равно как и некоторые показания, основанные на слухах, было признано доказательствами в соответствии со стать-

ей 15 закона, по которому Эйхмана и судили. Закон оговаривает, что суд «может отступать от норм доказательного права» при условии, что он «представит основания для такого рода отступлений».

Документально подтвержденные свидетельства были получены в виде показаний, снятых за границей в германском, австрийском и итальянском судах у шестнадцати свидетелей, которые не смогли приехать в Иерусалим, так как генеральный прокурор заявил, что он «намерен привлечь их к суду за преступления против еврейского народа». Хотя во время первого заседания он произнес: «А если защита располагает свидетелями, которые могут явиться в суд и дать показания, я не стану возражать и чинить препятствия», позже он отказался предоставить таким свидетелям иммунитет.

Такой иммунитет полностью зависел от доброй воли правительства, по Закону о наказании и преследовании нацистских преступников и их пособников судебное преследование не является обязательным.

Поскольку маловероятно, что любой из шестнадцати господ прибыл бы в Израиль на любых условиях – семь из них отбывали заключение в тюрьме, – это был технический вопрос, но он имел большое значение. Он опровергал претензии Израйля на то, что израильский суд, по крайней мере технически, является «самым подходящим для процесса против конструкторов “окончательного решения”», потому что документов и свидетелей здесь «больше, чем в какой-либо другой стране мира».

Претензия относительно документов была сомнительной в любом случае, так как израильский архив Яд ва-Шем был заложен сравнительно недавно, и он никоим образом не был богаче других архивов. Вскоре оказалось, что Израиль – единственная страна в мире, где невозможно услышать голос свидетелей защиты и где некоторых свидетелей обвинения, которые на предыдущих процессах дали письменные показания под присягой, защита не может подвергнуть перекрестному допросу. И вот это было очень серьезно, так как обвиняемый и его адвокат действительно оказались не «в том положении, чтобы получить документы для защиты».

Доктор Сервациус представил на рассмотрение сто десять документов – по сравнению с полутора тысячами, представленными обвинением. Лишь около дюжины документов защиты имели прямое отношение к делу, и это были главным образом выдержки из книг Полякова и Рейтлинджера, все остальные, за исключением семнадцати таблиц, которые начертил сам Эйхман, были выбраны из моря материалов, собранных обвинением и полицией Израиля. По всему видно, что защита получила крошки со стола богача.

В действительности у защиты не было «ни средств, ни времени», чтобы провести дело должным образом, к ее услугам не были «архивы всего мира и правительственные рычаги». В аналогичном подходе обвиняли и Нюрнбергский процесс, где неравные статусы обвинения и защиты еще сильнее бросались в глаза. Главным препятствием защиты в Нюрнберге, как и в Иерусалиме, была нехватка квалифицированных помощни-

ков-следователей, необходимых, чтобы перерыть горы документов и отыскать что-то полезное для дела. Даже сегодня, по прошествии восемнадцати лет после войны, наша осведомленность о необъятном архивном материале нацистского режима в значительной степени сведена к той выборке из него, которую для своих целей сделало обвинение.

Лучше всех незавидное положение защиты понимал доктор Сервациус, бывший одним из адвокатов в Нюрнберге. Что делает первый же возникающий вопрос, почему он вообще предложил свои услуги, еще более интригующим. Он отвечает, что для него это «просто бизнес» и что он просто хотел «заработать», но из своего нюрнбергского опыта он должен был бы знать, что сумма, которую заплатило ему правительство Израиля – двадцать тысяч долларов, как он сам и оговаривал, – смехотворно неадекватна даже с учетом того, что семья Эйхмана в Линце заплатила ему еще пятнадцать тысяч марок. Чуть ли не с первого дня процесса он начал жаловаться на низкую ставку своего гонорара, а вскоре открыто выразил надежду, что ему удастся продать «мемуары», которые Эйхман пишет в тюрьме «для будущих поколений». Вопрос о том, прилично ли заниматься такого рода «бизнесом», не возник: его надежды растаяли, так как правительство Израиля конфисковало все, что Эйхман писал в тюрьме. (Теперь эти записи хранятся в Национальном архиве.) Эйхман написал «книгу» в перерыве между окончанием заседаний суда в августе и началом оглашения приговора в декабре, и защита предложила ее во время повторного рассмотрения дела в апелляционном суде в качестве «нового, основанного на фактах свидетельства» – чем, конечно же, только что написанная книга не являлась.

Что же касается позиции обвиняемого, суд мог полагаться на подробный отчет, который он дал следователю полиции Израиля, с множеством заметок и поправок, которые он вносил от руки в течение одиннадцати месяцев, потребовавшихся для подготовки процесса. Нет никаких сомнений в том, что все заявления он сделал добровольно; большинство из них даже не были обусловлены задававшимися ему вопросами. Эйхману противостояла одна тысяча шестьсот документов, часть из которых он, должно быть, видел раньше, потому что их ему предъявляли в Аргентине во время интервью с Сассеном, которое господин Хаузнер отчасти справедливо назвал «генеральной репетицией». Но работать над ними серьезно он начал только в Иерусалиме, и когда он предстал перед судом, вскоре стало понятно, что он не терял времени зря: наконец он понял, как надо читать документы – во время полицейского допроса он этого не знал, и теперь у него это получалось лучше, чем у его адвоката.

Показания Эйхмана в суде оказались самым важным свидетельством по делу. Адвокат посадил его на свидетельское место 20 июня, во время семьдесят пятой судебной сессии, и допрашивал почти без перерывов в течение четырнадцати заседаний, до 7 июля. В тот же самый день, во время восемьдесят восьмой сессии, обвинение начало перекрестный допрос, который продолжался еще семнадцать заседаний, до 20 июля. В этом процессе было несколько любопытных моментов: один раз Эйхман, в стиле узника Лубянки, пообещал «признаться во всем», в другой раз пожаловался, что его «поджаривали, пока окорок не зарумянился», но обычно он был очень спокойным и однажды заявил, что не ответит больше ни на один вопрос –

это он пошутил. Он сказал судье Халеви, что «[он] рад представившейся возможности отделить правду ото лжи, которой [его] обливали пятнадцать лет», и как он горд, что стал участником самого продолжительного из всех известных прежде перекрестных допросов. После короткого повторного допроса, который адвокат провел менее чем за одно заседание, его допросили трое судей, и за две с половиной непродолжительные сессии они узнали больше, чем из него сумело вытащить обвинение за семнадцать.

Эйхман был на свидетельском месте с 20 июня по 24 июля, или в сумме тридцать три с половиной заседания. Почти половина заседаний, шестьдесят два из ста двадцати одного, были посвящены ста свидетелям обвинения, которые – страна за страной – делились своими кошмарными историями. Они давали показания с 24 апреля по 12 июня, в паузах между ними поступали очередные документы, большинство из которых генеральный прокурор приобщал к протоколу, его передавали в пресс-центр ежедневно. Почти все свидетели, за исключением нескольких, были гражданами Израиля, их отобрали из сотен подавших заявки.

Девяносто из них были выжившими в прямом смысле слова, они пережили войну в той или иной форме нацистского плена.

Насколько было бы мудрее выдержать их совместный натиск (в определенном смысле это было сделано, поскольку ни один из потенциальных свидетелей, которых упоминает в своей книге «Посланник смерти» Квентин Рейнольдс – изданная в 1960 году, эта книга написана на основе материалов, соб-

ранных двумя израильскими журналистами, – не был вызван для дачи показаний) и разыскать тех, кто не выказал желания явиться в суд! Словно в подтверждение этой идеи обвинение вызвало известного по обе стороны Атлантики писателя по имени К. Цетник – на сленге это слово (*K-Zetnik*) означает «заключенный концлагеря», – автора нескольких книг об Освенциме, в которых речь идет о борделях, гомосексуалистах и других «интересных вещах». Он начал, как это часто делал на всех своих публичных выступлениях, с объяснения, что это не его настоящее имя. Это и не литературный псевдоним, сказал он. «Я должен носить это имя, пока мир не проснется после распятия целого народа... как когда-то человечество очнулось после распятия только одного человека». Он продолжил небольшим экскурсом в астрологию: звезда, «вливающая на нашу судьбу точно так же, как звезда углей Освенцима, смотрит в сторону нашей планеты, светит нам». И когда он добрался до «неестественной силы, большей, чем сама Природа», которая поддерживала его до сих пор, – как только он в первый раз сделал паузу, чтобы перевести дыхание, даже господин Хаузнер понял, что с этими «показаниями» надо что-то делать, и он очень боязливо и очень вежливо перебил: «Могу ли я задать вам несколько вопросов, если вы не против?» После чего решил попытать счастья председатель суда: «Господин Динур* [свидетель сообщил, что это невероятное имя и есть его настоящее!], *прошу вас, пожалуйста*, послушайте господина Хаузнера и меня». Свидетель

* На самом деле речь идет об очень уважаемом писателе, которого действительно зовут Йехиэль Динур.

так расстроился, по-видимому, чувствуя себя глубоко уязвленным, что упал в обморок и больше не отвечал на вопросы.

Безусловно, это был исключительный случай, но если это исключение, которое доказывает правило нормальности, оно не доказало правила простоты или способности изложить мысль, не говоря уже о редкой способности отделять события, которые произошли с рассказчиком более шестнадцати или даже двадцати лет назад, от тех, о которых он читал, слышал и которые воображал. Это непреодолимые трудности, и ситуацию отнюдь не улучшала тяга обвинения к свидетелям-знаменитостям, многие из которых опубликовали воспоминания о пережитом и теперь рассказывали то, о чем уже написали, или то, что рассказывали и пересказывали множество раз.

В тщетной попытке придерживаться хронологического порядка обвинение начало с восьми свидетелей из Германии, достаточно рассудительных, но они не были «выжившими»: все они занимали высокие посты в еврейских организациях в Германии, сейчас они стали заметными фигурами в общественной жизни Израиля, но все они уехали из Германии до начала войны. Затем настала очередь пяти свидетелей из Польши, а потом – всего лишь одного из Австрии: по этой стране обвинение представило очень ценные материалы покойного доктора Лёвенгерца, написанные им во время и сразу же после окончания войны. Затем предстали по одному свидетелю от таких стран, как Франция, Голландия, Дания, Норвегия, Люксембург, Италия, Греция и Советская Россия, двое из Югославии, по трое из Румынии и Словакии, тринадцать из Венгрии. Но основная масса свидетелей, пятьдесят три, приехала из Польши и Литвы, где компетенция и полномочия Эйхмана были почти нулевыми.

Бельгия и Болгария оказались единственными странами, от которых свидетелей не было.

Все это были «базовые свидетели», к этой же категории относились шестнадцать мужчин и женщин, поведавших суду об Освенциме (десять), Треблинке (четыре), Хелмно и Майданеке. Совершенно иными были свидетели, давшие показания по Терезину, «стариковскому гетто» на территории рейха и единственному лагерю, где влияние Эйхмана было действительно значительным; по Терезину свидетельствовали четверо, еще один дал показания по пересыльному лагерю Берген-Бельзен.

Ближе к концу этой очереди, когда «право свидетелей давать не относящиеся к делу показания», как подвел итог в своем «Бюллетене» Яд ва-Шем, стало нормой, просьба господина Хаузнера «завершить картину», которую он высказал во время семьдесят третьего заседания, была простой формальностью. Судья Ландау, который пятьюдесятью сессиями ранее решительно протестовал против этого «создания картины», сразу же согласился на выступление в суде бывшего участника Еврейской бригады, боевой силы палестинских евреев, входившей во время войны в состав Восьмой британской армии. Этот последний свидетель обвинения, господин Аарон Хотер-Ишай, ныне израильский адвокат, занимался координацией всех усилий по розыску в Европе выживших в войне евреев: эту миссию он выполнял под покровительством «Алия Бет» – организации, ответственной за налаживание незаконной иммиграции в Палестину.

Пережившие войну евреи растворились среди восьми миллионов разбросанных по всей Европе потерявших дом и кров людей, и союзники хотели как можно быстрее репатри-

ировать этот бесцельно текущий по дорогам человеческий поток. Существовала опасность, что евреев тоже вернут по их домам. Господин Хотер-Ишай рассказывал, какой теплый прием он и его товарищи встречали, когда они представлялись «гражданами сражающегося народа», и как «было достаточно нарисовать чернилами на простыне звезду Давида и прикрепить ее к ручке швабры», чтобы вывести людей из опасной апатии, в которую они впали из-за голода. Он также рассказал, как некоторые из них «брели домой из одного лагеря смерти и попадали в другой», потому что домом мог быть, например, маленький польский город, из шести тысяч довоенного населения евреев которого выжили только пятнадцать человек, и четырех из них по возвращении домой убили поляки. Он, наконец, описал, как он и его соратники пытались опередить союзников с их репатриационными методами, но прибывали на место слишком поздно: «В Терезине выжили тридцать две тысячи. Через несколько недель мы нашли лишь четыре тысячи. Около двадцати восьми тысяч вернулись или были возвращены по домам. Из четырех тысяч человек, которых мы там обнаружили, ни один не вернулся туда, где жил раньше, потому что к тому моменту им уже был указан путь», – то есть это был путь в Палестину, которая скоро станет Израилем.

Показания этого свидетеля имели наиболее острый привкус пропаганды по сравнению со всем, что прозвучало ранее, но этот человек говорил сущую правду: те, кто выжил в гетто и лагерях, кто выбрался из кромешного ада безнадежности, кто был покинут и брошен на произвол судьбы – словно весь мир был джунглями, а они в нем жертвами, – у всех было только одно желание: оказаться в таком месте, где они больше нико-

гда не увидят нееврея. Им нужны были эмиссары еврейского народа Палестины, которые научили бы, как попасть туда любыми правдами и неправдами, которые рассказали бы, как их ждут там, – убеждать их больше не было необходимости.

Таким образом, когда порой судья Ландау проигрывал свое сражение, возникало чувство удовлетворения, и первый раз это произошло еще до начала схватки. Первый свидетель господина Хаузнера не производил впечатления добровольца. Это был очень немолодой человек в традиционной еврейской ермолке, маленький, болезненного вида, с копной седых волос и бородой. Он держался очень прямо, в определенном смысле он был знаменит, и понятно, почему обвинение решило начать картину именно с него. Это был Зиндель Гриншпан, отец Гершеля Гриншпана, который 7 ноября 1938 года вошел в германское посольство в Париже и застрелил третьего секретаря, молодого дипломата Эрнста фом Рата. Гершелю тогда было семнадцать лет, выстрел спровоцировал погромы в Германии и Австрии, так называемую «Хрустальную ночь», *Kristallnacht*, которая действительно стала прелюдией «окончательного решения», но к ее подготовке Эйхман не имел никакого отношения. Мотивы покушения Гриншпана так и остались непонятными, и его брат, которого обвинение также вызвало для дачи свидетельских показаний, тоже отказывался говорить на эту тему. Суд принял как данность, что это был акт мести за высылку пятнадцати тысяч польских евреев, в том числе и семьи Гриншпана, с территории Германии в конце октября 1938 года, но общеизвестно, что это неверное толкование событий. Гершель Гриншпан был психопатом, не способным окончить школу, он несколько лет болтался по Парижу и Брюсселю, из обоих городов

его выслали. Он предстал перед французским судом, и его адвокат сбивчиво нарисовал картину гомосексуальных отношений, а добившиеся его экстрадиции немцы так и не судили его.

Ходили слухи, что он пережил войну – словно в подтверждение «парадокса Освенцима», где неплохо обращались с евреями, имевшими уголовное прошлое.

Эрнст фом Рат стал странной и неподходящей жертвой: из-за его открытых антинацистских взглядов и сочувствия евреям за ним следило гестапо; не исключено, что легенду о его гомосексуальности тоже сфабриковало гестапо. Гриншпана могли использовать вслепую агенты гестапо в Париже, одним выстрелом убивавшие двух птичек: создавали предлог для погромов в Германии и избавлялись от противника нацистского режима, не понимая, что у них это не получается – невозможно было, убив Рота как гомосексуалиста, имевшего противозаконную связь с еврейским юношей, одновременно превратить его в мученика и жертву «мирового еврейства».

Как бы там ни было, это факт, что осенью 1938 года правительство Польши приняло декрет, по которому все польские евреи, проживавшие в Германии, лишались гражданства к 29 октября; возможно, у поляков была информация, что немцы собираются выслать этих евреев в Польшу, и они хотели этому помешать.

Очень сомнительно, чтобы люди вроде Зинделя Гриншпана догадывались о существовании такого декрета. Он приехал в Германию молодым человеком, в двадцать пять лет, с намерением открыть бакалейную лавку в Ганновере, там через ка-

кое-то время он обзавелся семьей, в которой росли восемь детей. К 1938 году, когда разразилась катастрофа, он уже жил в Германии двадцать семь лет и, как и многие вроде него, не позаботился сменить документы и не обратился за разрешением на натурализацию. И вот он рассказывал свою историю, тщательно подбирая слова для ответов на вопросы прокурора; его речь была ясной, четкой, лаконичной и без прикрас.

«Вечером в четверг 27 октября 1938 года, около восьми часов, пришел полицейский и сказал, что нам надо явиться в восьмой полицейский участок. Он сказал: «Вы сразу же вернетесь обратно, не берите с собой ничего, кроме паспортов». Гриншпан с семьей – он, жена, сын и дочь – подчинились. Когда они пришли в полицейский участок, он увидел «много людей, некоторые стояли, некоторые сидели, кто-то плакал. Они [полицейские] кричали: “Подписывай, подписывай, подписывай!”, мне пришлось подписать, всем пришлось. Один из нас не стал, по-моему, его звали Гершон Зильбер, он простоял в углу двадцать четыре часа. Они согнали нас в концертный зал... там были люди со всего города, человек шестьсот. Там мы оставались до вечера пятницы, двадцать четыре часа, да, до вечера пятницы.

Они посадили нас на полицейские грузовики, в такие полицейские грузовики, по двадцать человек в каждую машину, и повезли нас на вокзал. На улицах было черно от людей, которые кричали: “*Juden raus* (евреи, убирайтесь) в Палестину!”...Они посадили нас на поезд в Ноебеншен на немецко-польской границе. Когда мы приехали туда в шесть часов утра, это было уже утро шабата. Туда приходили поезда отовсюду, из Лейпцига, Кельна, Дюссельдорфа, Эссена, Биттерфельда, Бремена. Всего нас там собралось тысяч двенадцать... Это был ша-

бат, 29 октября... Когда мы приехали на границу, нас обыскали, у всех, у кого находили больше десяти марок, лишнее отбирали. Такой был германский закон: из Германии нельзя было вывозить более десяти марок. Немцы говорили: “Ни ввозить, ни вывозить больше десяти марок”».

До польской границы им пришлось идти пешком чуть больше мили, потому что немцы намеревались перевести их через границу тайком. «Эсэсовцы били нас хлыстами, тех, кто отставал, тоже били, повсюду на дороге была кровь. Они вырывали у нас наши чемоданы, они вырывали их очень грубо, и это был первый раз, когда я стал свидетелем ужасной жестокости немцев. Они кричали на нас: “Бегом! Бегом!” Меня ударили, и я упал в канаву. Сын помог мне подняться и сказал: “Терпи, папа, терпи, или они убьют тебя!” Когда мы подошли к границе... первыми ее перешли женщины. Поляки ничего не знали. Они вызвали польского генерала и каких-то офицеров, которые изучали наши документы, они увидели, что мы граждане Польши, у нас были особые паспорта. Нам разрешили войти в страну. Они привели нас в деревню, где жило примерно шесть тысяч человек, а нас было двенадцать тысяч. Пошел очень сильный дождь, некоторые теряли сознание – повсюду были одни только старики и женщины. Мы очень страдали. У нас не было еды, а мы же ничего не ели с четверга...»

Их отвели в военный лагерь, где разместили «в конюшне, потому что никаких других помещений не было... По-моему, это был наш второй день [в Польше]. В первый день приехал грузовик с хлебом из Познани. А потом я написал письмо во Францию... моему сыну: “Больше не пиши нам в Германию. Мы теперь в Збажине”».

Этот рассказ занял не более десяти минут, и когда он его закончил – бессмысленное, никому не нужное уничтожение менее чем за двадцать четыре часа того, что было создано двадцатью семью годами, – появилась дурацкая мысль: каждый, действительно каждый должен иметь «свой день» в суде. Хотя бы для того, чтобы в ходе бесконечных заседаний понять: как трудно рассказать, не будучи поэтом, горькую историю, какой для этого чистой должна быть душа, незамутненным сознание и благородным сердце – качества, которыми обладают только достойные. Ни до ни после столь блистательно рассказанной истории суд не слышал.

Никто не взялся бы утверждать, что показания Гриншпана хотя бы отдаленно напоминали «драматический момент». Но такой момент наступил несколькими неделями позже, и наступил он неожиданно, когда судья Ландау отчаянно старался вернуть суд в русло регламента, принятого на обычном уголовном процессе. Место свидетеля занял Абба Ковнер, «поэт и писатель», который не столько давал показания, сколько обращался к аудитории – он делал это с легкостью человека, привыкшего к публичным выступлениям и вопросам с места. Председатель суда попросил его быть покороче, что ему определенно не понравилось, а господину Хаузнеру, который бросился защищать своего свидетеля, было сказано, что он «не может пожаловаться на отсутствие терпения со стороны суда», что ему, естественно, не понравилось тоже. Именно в этот немного напряженный момент свидетелю случилось упомянуть имя Антона Шмидта, *Feldewebel* – фельдфебеля или сержанта германской армии, – имя, неизвестное в этом зале, так как за несколько лет до того Яд ва-Шем опубликовал в своем «Бюллетене» на иврите историю Шмидта, и несколько американских

газет на идише перепечатали ее. Антон Шмидт был в Польше старшим в патруле, который отлавливал немецких солдат, дезертировавших из своих частей. Во время одного из рейдов он наткнулся на членов еврейского подполья, среди которых был и Ковнер, известная личность, и он помог еврейским партизанам, снабдив их поддельными документами и военными грузовиками. Но самое важное: «Он делал это не за деньги». И делалось это в течение пяти месяцев, с октября 1941 по март 1942 года, когда Антон Шмидт был арестован и казнен.

Обвинение извлекло эту историю на свет, потому что Ковнер заявил, что впервые услышал имя Эйхмана от Шмидта, который рассказал ему о слухах в армии, что якобы Эйхман «организует все это».

Это был далеко не первый случай, когда упоминалась помощь извне, из мира неевреев. Судья Халеви задавал вопрос свидетелям: «Получали ли евреи какую-то помощь?» так же часто, как обвинение спрашивало: «Почему вы не взбунтовались?» Ответы звучали разные и неубедительные – «все население было против нас», евреев, которых укрывали семьи христиан, можно было «сосчитать на пальцах одной руки», может, пять или шесть из тринадцати тысяч, – но в целом ситуация в Польше была на удивление лучше, чем в других восточноевропейских странах.

Как я уже говорила, свидетелей из Болгарии не было.

Один еврей, сейчас женатый на польке и живущий в Израиле, засвидетельствовал, как жена укрывала его и двенад-

цать других евреев всю войну; у другого еще до войны был друг-христианин, который помог ему после побега из лагеря и которого потом казнили за помощь евреям. Другой свидетель заявлял, что польское подполье снабжало многих евреев оружием и спасло тысячи еврейских детей, поместив их в семьи поляков. Это был огромный риск: прозвучала история о зверской расправе над всей польской семьей из-за того, что они удочерили шестилетнюю еврейскую девочку. Но упоминание имени Шмидта в таком контексте было первым и последним упоминанием немца, так как единственный другой случай с участием немца известен только из документов: некий армейский офицер оказал косвенную помощь, саботируя отдельные приказы полиции. С ним ничего не случилось, но вопрос сочли достаточно серьезным, и Гиммлер и Борман даже упомянули его в своей переписке.

На те несколько минут, которые потребовались Ковнеру для рассказа о помощи немецкого сержанта, зал суда погрузился в полную тишину: могло показаться, что публика в едином порыве решила проявить дань уважения человеку по имени Шмидт минутой молчания. И в эти несколько минут, как внезапная вспышка света в кромешной, непроглядной тьме, возникла всего одна ясная и не нуждающаяся в комментариях мысль: как совершенно по-иному все могло быть сегодня в этом зале суда, в Израиле, Германии, во всей Европе и, наверное, во всем мире, если бы таких историй было больше.

Конечно же, существуют объяснения их поразительного дефицита, и о них уже многократно говорилось. Я выражу их суть словами одного из немногих субъективно честных воспоминаний о войне, опубликованного в Германии.

Петер Бамм, военный врач германской армии, который служил на русском фронте, рассказывает в своей книге «*Die Unsichtbare Flagge*» («Невидимый флаг», 1952) об убийстве евреев в Севастополе. Их согнали «те» – как он называет эсэсовские айнцацгруппы, чтобы читатель не путал их с обычными солдатами, чье благородство книга превозносит, – и бросили в изолированную часть бывшей тюрьмы ГПУ, которая примыкала к офицерским казармам, где была расквартирована часть Бамма. Евреев заставляли заходить в душегубку, где они умирали через несколько минут, после чего трупы вывозили за черту города и сбрасывали в противотанковые рвы. «Мы все знали. Мы ничего не делали. Любой, кто стал бы протестовать или как-то попытался бы помешать айнцацгруппам, был бы в течение суток арестован и исчез. Одно из усовершенствований тоталитарных государств нашего века заключается в том, что они не позволяют своим противникам принять великую, исполненную драматизма мученическую смерть во имя своих убеждений. Многие из нас пошли бы на такую смерть. Тоталитарное государство делает так, что его противники исчезают тихо и незаметно. Можно сказать наверняка, что любой осмелившийся принять мученическую смерть вместо того, чтобы своим молчанием поощрять преступление, пожертвует своей жизнью напрасно. Это не значит, что такая жертва была бы морально бессмысленной. Просто она оказалась бы бесполезной практически. Ни один из нас не обладал убеждениями столь глубокими, чтобы мы смогли принести себя в практически бесполезную жертву во имя высокого морального смысла». Нет необходимости уточнять, что автор так и не подозревает о пустоте воспетого им «благородства» при отсутствии того, что он называет «высоким моральным смыслом».

Но пустота респектабельности – поскольку благородство в таких условиях не более чем респектабельность – это совсем не то, что явил собой пример сержанта Антона Шмидта. Скорее это была роковая ошибка собственно аргументации, которая поначалу звучит так правдоподобно. Да, это факт, что тоталитарное господство пыталось создать «бреши забвения», через которые исчезли бы все большие свершения, добрые и во имя зла, но поскольку лихорадочные старания нацистов с июня 1942 года уничтожить все следы злодейских убийств – путем кремации, сожжения в открытых карьерах, за счет использования взрывчатых веществ, огнеметов и устройств для перемалывания костей – были обречены на провал, все их усилия заставить противников «исчезнуть тихо и незаметно» оказались тщетными. «Брешей забвения» не существует. Всегда найдется человек, которому будет что рассказать. Следовательно, ничто не может быть «бесполезным практически», по крайней мере быть таковым надолго.

Если бы таких историй звучало больше, это имело бы большую практическую пользу для сегодняшней Германии, не говоря уже о ее престиже за границей и о разрешении сложных внутренних противоречий, так как урок таких историй прост и понятен всем. С политической точки зрения, в условиях террора большинство примут правила игры, но найдутся такие, кто этого не сделает, – как урок тех стран, которым было предложено «окончательное решение»: «это могло бы произойти» в большинстве из них, но *это не произошло везде*. С точки зрения человечества, чтобы эта планета оставалась подходящим местом для человеческих существ, ничего больше и не требуется, ничего больше и не пожелаешь.

ГЛАВА XV

ПРИГОВОР, АПЕЛЛЯЦИЯ И КАЗНЬ

Последние месяцы войны Эйхман провел в Берлине в практически полном бездействии – делать ему было нечего, от начальства других отделов РСХА он был отрезан, и хотя они каждый день одновременно обедали в здании, где располагался его отдел, те ни разу не пригласили его к ним присоединиться. Эйхман занимал себя вопросами возведения оборонительных сооружений к «последней битве» за Берлин и в качестве единственного своего служебного дела время от времени наезжал в Терезин, где сопровождал представителей Красного Креста. И лишь им он изливал душу по поводу новой «гуманной линии» Гиммлера в отношении евреев, к приоритетам которой относилась организация «в следующий раз» концентрационных лагерей «по британской модели».

Последняя из редких встреч Эйхмана с Гиммлером состоялась в апреле 1945 года, Гиммлер приказал ему отобразить

«сто – двести заметных евреев в Терезине», отправить в Австрию и поселить в отелях, чтобы он мог использовать их как «заложников» на предстоявших переговорах с Эйзенхауэром. Абсурдность этого предприятия, похоже, не дошла до Эйхмана: он отправился выполнять приказ. «С печалью в сердце покидал я оборонительные сооружения», но так и не добрался до Терезина, так как все дороги были отрезаны наступающими русскими армиями.

Кончилось это тем, что Эйхман прибыл в Альт-Аусзее, где уже скрывался Кальтенбруннер. Кальтенбруннеру не было никакого дела до «заметных евреев» Гимmlера, и он посоветовал Эйхману организовать в Альпах партизанский отряд. Эйхман взялся за дело с энтузиазмом: «Я снова был при достойном деле, передо мной стояла задача, которая мне нравилась». Но когда он набрал около сотни совершенно негодных людей, большинство из которых в глаза не видели винтовки, и обзавелся арсеналом брошенного оружия всех сортов, поступил последний приказ Гимmlера: «Не открывать огонь по англичанам и американцам». Это был конец. Он распустил свое воинство по домам и вручил «маленький походный сейф с ассигнациями и золотыми монетами» своему доверенному консультанту Гюнше: «Я сказал себе: “Этот человек – ас гражданской службы, он знает, как управлять фондами, он урежет свои расходы...” Потому что я верил: придет день, и у меня потребуют отчет».

Этими словами Эйхман завершил свою автобиографию, которую он на одном дыхании рассказал полицейскому следователю. Потребовалось несколько дней, чтобы отпечатать 315 страниц автобиографии из 3564, расшифрованных с магнитофонных записей. Он хотел продолжать, и он, вне сом-

нения, рассказал бы полиции все, но по ряду причин судебные власти решили не принимать показаний, касающихся послевоенного периода. Однако на основании письменных показаний, данных в Нюрнберге, и, что более важно, благодаря неосмотрительности бывшего израильского государственного чиновника Моше Перельмана, чья книга «Поимка Адольфа Эйхмана» вышла в Лондоне за четыре недели до начала процесса, эту историю можно закончить. Данные господина Перельмана определено были основаны на материалах Бюро-06 – отдела полиции, который занимался подготовкой к процессу.

Версия самого Перельмана сводилась к тому, что, так как он уволился с государственной службы за три недели до похищения Эйхмана, он писал книгу как «частное лицо» – версия не очень убедительная, потому что израильская полиция должна была знать о готовящейся акции за несколько месяцев до его отставки.

Книга вызвала определенное замешательство в Израиле – не только потому, что Перельман сумел разгласить информацию о важнейших документах обвинения и прийти к выводу, что к показаниям Эйхмана суд будет настроен предвзято, но еще и потому, что им был дан весьма точный отчет о захвате Эйхмана в Буэнос-Айресе – последнее, что власти хотели бы видеть опубликованным.

История в изложении господина Перельмана была менее захватывающей, чем многочисленные слухи, лежавшие в основе легенд. Эйхман никогда не скрывался ни на Дальнем, ни на Ближнем Востоке, у него не было связей ни с одной арабской страной, он ни разу не возвращался в Германию из Арген-

тины, никогда не был ни в какой другой латиноамериканской стране, не участвовал ни в послевоенной нацистской активности, ни в неонацистских организациях. В конце войны он попробовал еще раз поговорить с Кальтенбруннером, который все еще находился в Альт-Аусзее и раскладывал пасьянсы, но бывший шеф был не в настроении принимать его, так как «у этого человека шансов больше не было».

Шансы Кальтенбруннера тоже оказались не слишком хорошими: его повесили в Нюрнберге.

Почти сразу же после несостоявшегося randevу Эйхмана схватили американские солдаты и поместили в лагерь для эсэсовцев, где куча следователей так и не сумели выяснить его личность, хотя некоторые в лагере знали, кто он такой. Эйхман был осторожным и не писал семье – он дал им понять, что погиб; жена пыталась получить свидетельство о его смерти, но ей отказали, когда выяснилось, что единственный «очевидец» смерти ее мужа – ее деверь. Она осталась без средств к существованию, но ее и троих детей поддерживала семья Эйхмана в Линце.

В ноябре 1945 года в Нюрнберге открылся процесс над главными военными преступниками и имя Эйхмана начало всплывать с досаждавшей ему регулярностью. В январе 1946-го в качестве свидетеля обвинения выступил Вислицени и дал изобличавшие Эйхмана показания – после этого Эйхман решил, что пора скрыться. С помощью других пленных он бежал из лагеря и отправился в Люнебургер Гейде – пустошь в пятидесяти милях южнее Гамбурга, где брат одного из находившихся в лагере эсэсовцев дал ему работу рубщика леса. Он оставался там под именем Отто

Хенингера четыре года – наверное, умирал со скуки. В начале 1950 года он установил контакт с тайной организацией ветеранов СС ODESSA* и в мае того же года через Австрию перебрался в Италию, где францисканский священник, точно знавший, кто перед ним, снабдил его паспортом беженца на имя Рикардо Клемен-та и отправил в Буэнос-Айрес. Эйхман добрался туда без малей-ших проблем в середине июля, обзавелся документами и разре-шением на работу: католик, холост, без гражданства, тридцать семь лет – на семь лет меньше, чем ему было на самом деле.

Эйхман по-прежнему был осторожен, но уже отважился собственноручно написать жене и сообщил, что «дядя ее де-тей» жив. Он работал на странных работах – агент по продаже товаров, сотрудник прачечной, рабочий на ферме по разведе-нию кроликов, – все они очень плохо оплачивались, но летом 1952 года к нему приехали жена и дети.

Госпожа Эйхман получила немецкий паспорт в Цюрихе, в Швейцарии, хотя в то время постоянно проживала в Австрии под своим настоящим именем как «разведенная» с неким Эйх-маном. Как такое могло произойти, осталось загадкой, а ее до-сье, в котором был запрос о гражданстве, пропало из консульст-ва Германии в Цюрихе.

После прибытия семьи в Аргентину Эйхман устроился на первую постоянную работу на заводе «Мерседес-бенц» в Суа-

* ODESSA – аббревиатура немецкого Organisation Der Ehemaligen SS-Andehorigen.

ресе, пригороде Буэнос-Айреса, – сначала как механик, затем вырос до бригадира, а когда родился четвертый сын, он повторно женился на своей жене якобы как Клемент. Однако последнее маловероятно, поскольку младенца зарегистрировали как Рикардо Франсиско (предположительно – в знак уважения к итальянскому священнику) Клемент *Эйхман*, и это был лишь один из множества намеков относительно собственной личности, которые Эйхман оставил за эти годы. Похоже на правду, что он сказал своим детям, что он – брат Адольфа Эйхмана, хотя дети, отлично знавшие дедушку, бабушку и дядей в Линце, должны были бы быть полными тупицами, чтобы поверить в это; по крайней мере старший сын, которому было девять лет, когда он видел отца в последний раз, должен был бы узнать его через семь лет в Аргентине. Более того, г-жа Эйхман в Аргентине не сменила своего удостоверения личности (на нем было написано «Вероника Либль де Эйхман»), и в 1959 году, когда умерла мачеха Эйхмана, и годом позже, когда скончался его отец, газеты Линца опубликовали имя госпожи Эйхман в ряду наследников, сообщив при этом противоречивые версии о ее разводе и повторном браке.

В начале 1960 года, за несколько месяцев до ареста, Эйхман со старшим сыном закончили строительство простенького кирпичного дома в бедном пригороде Буэнос-Айреса – ни электричества, ни водопровода, – где и обосновалась семья. Должно быть, они были очень бедны, и Эйхман вел жизнь, полную лишений, компенсировать которые не могли даже дети, так как они не выказывали «ни малейшего интереса к образованию и даже не старались развить свои так называемые способности».

Единственной компенсацией Эйхману были бесконечные разговоры с членами большой нацистской колонии, которым он охотно представился. В конце концов, в 1955 году это привело к интервью с голландским журналистом Виллемом С. Сассеном, бывшим офицером одного из армейских соединений СС, который в годы войны сменил голландское гражданство на германский паспорт и позже заочно – *in absentia* – как военный преступник был приговорен к смерти в Бельгии. Эйхман сделал множество поправок к интервью, которое записывалось на магнитофон, а затем Сассен переписал текст, изрядно приукрасив его; заметки и комментарии, сделанные рукой Эйхмана, были найдены и приобщены к делу, хотя интервью как таковое – нет. Версия Сассена в сокращенном виде появилась в немецком журнале *Der Stern* в июле 1960 года, а затем в ноябре и в декабре – в виде серии статей в американском журнале *Life*. Но четыремя годами раньше Сассен, очевидно с согласия Эйхмана, предложил историю корреспонденту *Time-Life* в Буэнос-Айресе, и даже если это правда, что имя Эйхмана в ней не упоминалось, содержание материала не оставляло никаких сомнений относительно его источника.

Правда заключается в том, что Эйхман неоднократно пытался покончить с анонимностью, и это странно, что разведке Израиля потребовалось так много времени – до августа 1959 года, – чтобы установить, что Адольф Эйхман живет в Аргентине под именем Рикардо Клемента. Израиль никогда не разглашал источника своей информации, и сегодня по меньшей мере полдюжины человек утверждают, что это они обнаружили Эйхмана, тогда как «хорошо информированные круги» в Европе настаивают, что организовала «утечку информации»

русская разведка. Как бы там ни было, загадка заключается не в том, как удалось обнаружить лежбище Эйхмана, а скорее почему оно не было обнаружено раньше – при условии, конечно, что израильтяне действительно много лет искали его. Что, с учетом имеющихся фактов, вызывает сомнения.

Однако нет никаких сомнений относительно личностей тех, кто провел операции. Все разговоры о частных «мстителях» пресек еще в зародыше сам Бен-Гурион, 23 мая 1960 года объявивший ликующему кнессету, что Эйхмана «разыскала разведка Израиля». Доктор Сервациус, отчаянно и безуспешно – как в окружном суде, так и в апелляционном, – пытался вызвать в качестве свидетелей Цви Тохара, командира экипажа самолета компании «Эль-Аль», на котором Эйхмана вывезли из страны, и Яда Шимони, представителя авиалинии в Аргентине, упомянутых в заявлении Бен-Гуриона. Генеральный прокурор отклонил его требование на том основании, что премьер-министр «признал лишь факт, что Эйхмана обнаружила разведка», а не то, что он при этом был похищен правительственными агентами.

Что ж, похоже, что на самом деле все было иначе: разведчики не «разыскали» его, а лишь захватили, предварительно убедившись, что информация, которую они получили, правдива. И даже это было сделано не очень профессионально, потому что Эйхман отлично знал, что за ним следят: «Я уже говорил, кажется, несколько месяцев назад, когда меня спрашивали, знал ли я, что меня вычислили, я дал вам точные причины того, как я это понял [эту часть полицейского допроса прессе не передавали]... Я выяснил, что люди по соседству сделали запрос о приобретениях недвижимости, и так далее и тому подобное, потому

что якобы собирались открыть завод по производству швейных машин – дело совершенно невероятное, потому что в этом районе не было ни электричества, ни водопровода. Кроме того, я знал, что эти люди – евреи из Северной Америки. Я мог бы легко исчезнуть, но я не сделал этого. Я продолжал жить, как обычно, и пусть будет, что будет. С моими документами и связями я мог бы легко найти новую работу. Но я не хотел».

Помимо тех доказательств, которые всплыли в Иерусалиме, были и другие доказательства готовности Эйхмана приехать в Израиль и предстать перед судом. Адвокату, естественно, пришлось подчеркивать тот факт, что обвиняемого похитили «и привезли в Израиль в нарушение норм международного права», потому что это давало подзащитному основания оспаривать право суда на обвинение, и хотя ни обвинение, ни судьи не признали, что похищение было «актом государственной власти», они этого и не отрицали. Они утверждали, что нарушение международного права касается лишь Аргентины и Израиля, а не прав обвиняемого, и что это нарушение было «исправлено» совместным заявлением двух правительств от 3 августа 1960 года, в котором говорилось, что «инцидент о нарушении основных прав государства Аргентина гражданами Израиля можно считать исчерпанным». Суд постановил, что не имеет значения, были эти израильтяне правительственными агентами или частными лицами. Чего не упомянули ни обвиняемый, ни суд, так это то, что, будь Эйхман гражданином Аргентины, эта страна так легко не отказалась бы от своих прав.

Эйхман жил в Аргентине под вымышленным именем, тем самым отказав себе в праве на защиту государства, по крайней мере как Рикардо Клемент (родившийся 23 мая

1913 года в Больцано, в Южном Тироле, как было обозначено в его аргентинском удостоверении личности), хотя и заявил, что по национальности он немец. И он никогда не просил о вызывающем сомнения праве на убежище, которое тоже ему не помогло бы, так как Аргентина, хотя и предоставила убежище многим известным нацистским преступникам, подписала международную конвенцию, декларирующую, что совершившие преступления против человечности «не могут считаться людьми, совершившими политические преступления». Все это не делало Эйхмана человеком без гражданства, это не давало законного основания лишить его германского гражданства, но это дало Западной Германии превосходный повод приостановить закон о юридической защите своих граждан за границей.

Другими словами, несмотря на тома юридической литературы, в основе которых лежит так много прецедентов, что в конце концов может возникнуть впечатление, что похищение есть одна из самых распространенных форм ареста, отсутствие *de facto* у Эйхмана гражданства, и ничто другое, позволило суду в Иерусалиме судить его. Эйхман, хотя он и не был специалистом в области права, должен был бы это понимать, ибо он по собственному опыту знал: делать все что заблагорассудится можно только с людьми без гражданства (евреи должны были потерять свое гражданство, прежде чем их ликвидировали). Но он не был расположен размышлять над такими тонкостями, так как если и было фикцией, что он добровольно прибыл в Израиль, чтобы предстать перед судом, правда заключалась в том, что сложностей он создал куда меньше, чем можно было ожидать. На самом деле он не создал ни одной.

11 мая 1960 года в шесть тридцать вечера, когда Эйхман, как обычно, выходил из автобуса, на котором ездил с работы домой, его схватили трое мужчин и быстро запихнули в ожидавшую машину. Она доставила их в заранее снятый дом в отдаленном пригороде Буэнос-Айреса. Ни уколов специальными препаратами, ни веревок, ни наручников – Эйхман сразу же понял, что работают профессионалы, так как к нему не применялось ненужного насилия, он не пострадал. На вопрос, кто он такой, он сразу же ответил: «*Ich bin Adolf Eichmann*» («Я Адольф Эйхман») и, к удивлению похитителей, добавил: «Я знаю, что я в руках израильтян».

Позже он объяснил, что прочитал в какой-то газете о приказе Бен-Гуриона найти и захватить его.

В течение восьми дней, пока израильтяне ждали самолет компании «Эль-Аль», который должен был переправить их и пленника в Израиль, Эйхман был привязан к постели, и это было единственным обстоятельством, на которое он жаловался. На второй день его спросили, подпишет ли он заявление, что не протестует против того, чтобы предстать перед судом Израиля. Заявление, естественно, было уже составлено, и все, что от него требовалось, – переписать его своей рукой. Однако, к всеобщему удивлению, он стал требовать, чтобы ему дали написать собственный текст, для которого, как понятно из нижеследующих строк, он уже заготовил первую фразу: «Я, нижеподписавшийся Адольф Эйхман, по своей собственной воле заявляю, что, так как моя истинная личность установлена, я отчетливо понимаю, что скрываться от суда более бесполезно. Тем самым

я выражаю свою готовность проследовать в Израиль, чтобы предстать перед судом, действующим по нормам статутного и общего права. Я понимаю, что мне будет обеспечена юридическая помощь [это, похоже, он переписал], а я, в свою очередь, изложу на бумаге факты моей деятельности в Германии в последние годы без прикрас, с тем чтобы будущие поколения имели подлинную картину происходившего. Этим заявлением я заявляю о моем добровольном выборе, сделанном не под давлением и не ради пустых обещаний. Я хочу, наконец, примириться с самим собой. Так как я не могу помнить все подробности и так как я могу перепутать факты, я требую содействия, которое будет выражаться в моем доступе к документам и письменным показаниям, чтобы помочь мне в поисках правды». Подписано: «Адольф Эйхман, Буэнос-Айрес, май 1960 года».

В этом документе, несомненно подлинном, есть одна странность: не указан конкретный день, когда он был подписан. Это дает основания подозревать, что письмо было написано не в Аргентине, а в Иерусалиме, куда Эйхмана привезли 22 мая. Это письмо было не столько необходимым для процесса, во время которого обвинение представило его в качестве одного из своих вещественных доказательств, правда, не придавая ему большого значения, сколько для первой объяснительной ноты властей Израиля правительству Аргентины, которую оно сопровождало. Сервациус, задавший Эйхману вопрос о письме в суде, не упомянул о странности с датой, не ссылаясь на это и Эйхман, так как, выслушав наводящий вопрос адвоката, он с неохотой подтвердил, что сделал это заявление по принуждению, будучи привязанным к кровати в пригороде Буэнос-Айреса. Прокурор

наверняка знал все обстоятельства, и поэтому не подверг Эйхмана перекрестному допросу по этому пункту; было очевидно: чем меньше говорят об этом, тем лучше.

Г-жа Эйхман заявила в полицию Аргентины об исчезновении мужа, не сообщив, однако, кто он такой на самом деле, поэтому не были проведены проверки на вокзалах, автострадах и в аэропортах. Израильтянам повезло; будь полиция предупреждена должным образом, они не сумели бы вывезти Эйхмана из страны через десять дней после захвата.

Эйхман сообщил две причины, по которым он пошел на столь удивительное сотрудничество с судебными властями. В Аргентине, за несколько лет до поимки, он писал о том, как устал жить под вымышленным именем, – вероятно, чем больше читал он о себе в прессе, тем сильнее становилась эта усталость. Второе объяснение, данное уже в Израиле, было более драматичным: «Примерно полтора года назад [то есть весной 1959-го] я услышал от знакомого, который только что вернулся из поездки по Германии, что некоторые слои молодежи там испытывают что-то вроде чувства вины... и факт этого комплекса вины оказался для меня поворотным пунктом, таким же, как, скажем, будет для всех посадка на Луну ракеты с человеком на борту. Это стало важнейшим центром моего внутреннего мира, вокруг которого кристаллизовались мысли. Вот почему я не бежал... когда узнал, что разведгруппа меня выследила... После всех этих разговоров на тему чувства вины молодежи в Германии, которые глубоко взволновали меня, я понимал, что больше не имею права скрываться. Вот еще почему я предложил в письменном заявлении в начале этого следствия... публично

повеситься. Я хотел сделать свою часть работы, чтобы облегчить бремя вины германской молодежи, так как эти молодые люди вообще не повинны в тех событиях, чтобы снять с них вину отцов в той войне» – которую в другом контексте он по-прежнему называл «войной, навязанной германскому рейху».

Безусловно, это были пустые разговоры. Что мешало ему вернуться в Германию по доброй воле и сдать? Ему был задан этот вопрос, и он ответил, что, по его мнению, судам Германии все еще недостает «объективности», которая необходима при разбирательстве дел таких людей, как он. Но если он действительно предпочитал суд Израиля – как он намекал, и такая вероятность существовала, – он мог бы сэкономить правительству Израиля время и нервы. Мы уже видели раньше, что подобные разговоры вызывали у Эйхмана чувство эйфории, и действительно, на протяжении всего времени, пока он находился в израильской тюрьме, он пребывал в приподнятом настроении. Более того, это позволяло ему невозмутимо смотреть на перспективу смерти – «я знаю, что меня ждет смертный приговор», заявил он в начале полицейского расследования.

Определенная правда за пустыми разговорами все же была, и эта правда проявлялась вполне отчетливо, когда защита обращалась к нему с вопросами. По вполне очевидным причинам правительство Израиля разрешило участвовать в процессе адвокату из-за границы, и 14 июля 1960 года, через шесть недель после начала полицейского следствия, которому Эйхман искренне помогал, ему сообщили, что для своей защиты он может выбрать одного из трех адвокатов. Доктор Роберт Сервациус, которого рекомендовала семья Эйхмана (Сервациус позвонил сводному брату Эйхмана и предложил свои услуги), еще

один немецкий юрист, ныне проживающий в Чили, и американская юридическая компания из Нью-Йорка, которая связалась с судебными властями процесса. (Обнародовано было только имя доктора Сервациуса.) Были, конечно, и другие варианты, которые Эйхман мог обдумать, и ему несколько раз повторили, что он может не торопиться. Он совету не внял, а сразу же сказал, что остановится на докторе Сервациусе, так как тот, похоже, знаком с его сводным братом и уже защищал военных преступников – он хотел подписать все необходимые бумаги немедленно. Через полтора часа его посетила мысль, что процесс может приобрести «глобальный размер», что он может стать «колоссальным процессом», что у обвинения будет несколько прокуроров и что один Сервациус вряд ли сумеет «переварить весь материал». Ему напомнили, что Сервациус в своем письме о полномочиях защиты написал, что он «возглавит группу адвокатов» (этого не было сделано), а офицер полиции добавил: «Надо понимать, что доктор Сервациус будет не один. Это было бы физически невозможно». Но, как оказалось, большую часть времени доктор Сервациус вел дело один. В результате Эйхман стал главным помощником адвоката в деле собственной защиты и помимо написания книг «для будущих поколений» очень много работал над материалами суда.

29 июня 1961 года, через десять недель после начала процесса, обвинение закончило свою часть, и в дело вступил доктор Сервациус. 14 августа, после ста четырнадцати заседаний, основное судопроизводство по делу подошло к концу. Затем суд объявил перерыв и снова собрался 11 декабря для оглашения своего заключения.

В течение двух дней, разбитых на пять сессий, трое судей читали двести сорок четыре раздела решения суда. Они нашли Эйхмана виновным по всем пятнадцати пунктам обвинения, хотя по некоторым частностям он был оправдан. «Наряду с другими» он совершил преступления «против еврейского народа» – то есть преступления против евреев *с намерением уничтожить еврейский народ* – по четырём пунктам:

- (1) создав причины убийства еврейского народа;
- (2) поместив «миллионы евреев в условия, которые заведомо вели к их физическому уничтожению»;
- (3) «став причиной серьезных физических и духовных страданий»;
- (4) «отдав приказы, по которым еврейским женщинам в Терезине запрещалось рожать, и принуждавшие их делать аборты».

Однако судьи сняли обвинения в аналогичных преступлениях, совершенных до августа 1941 года, когда Эйхмана информировали о приказе фюрера; по его еще более ранней деятельности в Берлине, Вене и Праге, где он не имел намерения «уничтожить еврейский народ». Это были первые четыре пункта обвинения.

Пункты с 5 по 12 касались «преступлений против человечности» – странное понятие в израильском законе, так как оно включает в себя и геноцид, если речь идет о нееврейских народах (таких как цыгане или поляки), и все другие преступления, в том числе убийства как евреев, так и неевреев, при условии, что эти преступления совершались без намерения уничтожить целый народ.

Таким образом, все, что Эйхман делал до приказа фюрера, и все его действия против неевреев были объединены как

преступления против человечности, к которым снова присовокупили все его более поздние преступления против евреев, так что это тоже были общеуголовные преступления. В результате пункт 5 обвинял его в тех же преступлениях, что были перечислены в пунктах 1 и 2, а по пункту 6 он обвинялся в «преследовании евреев по расовым, религиозным и политическим мотивам»; пункт 7 касался «присвоения собственности... связанного с убийством... этих евреев», а в пункте 8 все суммировалось как «военные преступления», поскольку большинство из них были совершены во время войны.

Пункты с 9 по 12 касались преступлений против неевреев: пункт 9 обвинял его в «изгнании... сотен тысяч поляков из их домов»; пункт 10 – в «изгнании четырнадцати тысяч словенцев» из Югославии, пункт 11 – в «депортации десятков тысяч цыган в Освенцим». Но в решении суда отмечалось, что «нам не было доказано, что обвиняемый знал, что цыган везут туда для уничтожения» – это означало, что никаких обвинений в геноциде не выдвигалось, за исключением «преступления против еврейского народа». Это было трудно понять, так как еще во время полицейского дознания Эйхман заявил, что знал о готовящемся уничтожении цыган: он смутно помнил какой-то приказ Гимmlера, что никаких «директив» в отношении цыган – таких, какие были относительно евреев, – не существовало, что никакие «исследования» по «цыганской проблеме» не проводились – «происхождение, обычаи, привычки, организация... фольклор... экономика». Его отделу была поручена «эвакуация» тридцати тысяч цыган с территории рейха, он не очень хорошо помнил подробности, потому что в эту миссию никто не вмешивался; но он помнил, что цыган, как и евреев,

вне всякого сомнения, увозили для последующего уничтожения. Он был виновен в их уничтожении точно так же, как был виновен в уничтожении евреев. Пункт 12 касался депортации девяноста трех детей из Лидице – чешской деревни, жителей которой вырезали после убийства Гейдриха; однако его совершенно справедливо оправдали по обвинению в убийстве этих детей.

Последние три пункта обвиняли его в членстве в трех из четырех организаций, признанных на Нюрнбергском процессе «преступными» – СС; секретная служба, или СД; и тайная государственная полиция, или гестапо.

Четвертая организация такого сорта, руководящие органы национал-социалистической партии, не упоминалась, так как Эйхман определенно не был в числе партийных лидеров.

Его членство в них до мая 1941 года попадало под срок давности (двадцать лет) для преступлений средней тяжести.

Закон от 1950 года, по которому судили Эйхмана, оговаривает, что для лиц, совершивших серьезные преступления, ограничений по сроку давности нет, и что *res judicata* – принцип недопустимости повторного рассмотрения однажды решенного дела – не может быть применим: лицо можно судить в Израиле, «даже если его уже судили за границей за то же преступление в международном суде или в суде иностранного государства».

Все преступления, перечисленные в пунктах с 1-го по 12-й, наказывались смертной казнью.

Стоит помнить, что Эйхман упорно настаивал, что виновен лишь в «содействии и подчинении» при осуществлении преступлений, в которых его обвиняли, что сам он никогда не совершал физических действий. Суд, к немалому облегчению, признал, что обвинению не удалось доказать обратное. А это был важный вопрос, касавшийся самой сути этого преступления, которое не было обычным преступлением, и самой природы этого преступника, который не был обычным преступником; косвенно он также принял во внимание странный факт, что в лагерях смерти было обычным делом, что именно заключенные и жертвы «[своими] руками приводили в действие орудия смерти».

То, как заключение суда сформулировало этот вопрос, было более чем точным, это была правда: «Описывая его деятельность в категориях раздела 23 нашего уголовного кодекса, мы должны сказать, что это главным образом деятельность лица, подстрекавшего других советами и указаниями, а также способствовавшего другим в их [преступных] актах». Но «в таком чудовищном и запутанном преступлении, как то, которое мы сейчас рассматриваем, в котором участвовало много людей на разных уровнях и в разных формах деятельности – планировщики, организаторы и исполнители, в зависимости от их ранга, – нет особого смысла использовать обычную практику дачи советов и подстрекательства к совершению преступления. Так как эти преступления совершались совместно не только в отношении числа жертв, но и касательно числа тех, кто осуществлял преступную деятельность, а степень, до которой любой из множества преступников был близок или далек от подлинного убийцы жертв, ничего не значит, когда речь идет о мере его от-

ветственности. Напротив, в целом *степень ответственности возрастает по мере отдаления от человека, который своими руками использует орудие смерти* [курсив мой]».

То, что последовало за чтением заключения суда, было рутинной. И снова обвинение разразилось длинной речью, в которой требовало для обвиняемого смертной казни, что в отсутствие смягчающих обстоятельств было обязательным, а доктор Сервациус возражал еще более кратко, чем раньше: обвиняемый совершал «акт государственной власти», то, что произошло с ним, в будущем может произойти с любым, весь цивилизованный мир стоит перед этой проблемой. Эйхман стал «козлом отпущения», которого правительство современной Германии оставило один на один перед судом в Иерусалиме в нарушение международного права – чтобы снять с себя ответственность. Юрисдикция суда, которую доктор Сервациус никогда не признавал, могла быть истолкована исключительно как функция передачи обвиняемого «в представительскую компетенцию юридических полномочий [суда Германии]» – как действительно один немецкий государственный обвинитель сформулировал задачу суда Иерусалиме. Доктор Сервациус и прежде настаивал, что суд должен оправдать обвиняемого, потому что, в соответствии с законом Аргентины о давности уголовного преследования, он перестал подлежать судебному преследованию 5 мая 1960 года, «совсем незадолго до похищения»; теперь он заявлял, примерно в том же ключе, что его нельзя приговаривать к исключительной мере, так как в Германии введен мораторий на смертную казнь.

Потом пришла очередь последнего слова Эйхмана. Его надежды на справедливость не оправдались, суд не поверил

ему, хотя он сделал все, чтобы рассказать правду. Суд не понял его: он никогда не был «евреененавистником» и он никогда не заставлял убивать ни одного человека. Его вина происходила из его послушания, а послушание всегда считалось достоинством. Его достоинством злоупотребили нацистские лидеры. Но он не принадлежал к правившей клике, он был жертвой, а наказания заслужили только лидеры.

Он не зашел так далеко, как многие военные преступники низшего звена, которые горько сетовали, что их убедили никогда не волноваться об «ответственности», и вот теперь они не могли призвать к ответственности этих «советчиков», потому что «они сбежали и предали» их – кто совершил самоубийство, кого повесили.

«Я не чудовище, каким меня изображают, – сказал Эйхман, – я жертва обмана». Он не использовал слов «козел отпущения», но он подтвердил то, что сказал Сервациус: это было его «глубокое убеждение, что [он] должен страдать за дела других». Еще через два дня, в пятницу 15 декабря 1961 года, в десять часов утра был оглашен смертный приговор.

Три месяцами позже, 22 марта 1962 года, началось надзорное производство перед апелляционным судом верховного суда Израиля, в котором принимали участие пятеро судей под председательством Ицхака Ольшана. Функции обвинения снова выполнял господин Хаузнер со своими четырьмя помощниками, доктор Сервациус в одиночестве представлял защиту.

Адвокат защиты снова повторил свои прежние аргументы относительно юрисдикции израильского суда, а так как все его попытки уговорить правительство Западной Германии начать процедуру экстрадиции успехом не увенчались, он потребовал, чтобы Израиль *предложил* экстрадицию. Он принес новый список свидетелей, но среди них не было ни одного, кто мог бы убедительно выступить с чем-то, хотя бы отдаленно напоминающим «новое свидетельство». Он включил в список доктора Ганса Глобке, которого Эйхман ни разу в жизни не видел и, скорее всего, первый раз услышал это имя в Иерусалиме. Еще более удивительным в этом списке был свидетель доктор Хаим Вейцман: он скончался десять лет назад!

Защита выглядела сплошной мешаниной и изобиловала ошибками (в одном случае защита в качестве нового свидетельства предложила французский перевод документа, который раньше представило обвинение, в двух других случаях адвокат просто неверно истолковал документы и так далее), и эта небрежность была разительным контрастом на фоне тщательно подобранных ремарок, которые были призваны оскорбить суд: удушение газом снова стало «медицинской процедурой»; еврейский суд не имел права выносить решение по судьбе детей из Лидице, так как они не были евреями; судопроизводство Израиля противоречит регламенту судебного процесса в Европе, согласно которому Эйхман должен быть повешен, его тело кремировано, а прах возвращен защите в качестве ее нового доказательства, но последнее было невозможно, так как в Израиле отсутствовала необходимая в таких случаях документальная база. Короче говоря, процесс был нечестным, заключение суда – несправедливым.

В апелляционном суде дело рассматривалось всего неделю, после чего суд взял двухмесячный перерыв. 29 мая 1962 года было зачитано второе заключение суда – не столь объемное, как первое, но все же, напечатанное через один интервал, оно заняло пятьдесят одну страницу формата А4. Оно по всем пунктам совпадало с заключением окружного суда, а чтобы его подтвердить, судьям ни к чему были два месяца и пятьдесят одна страница текста. Заключение апелляционного суда было, по сути, отредактированным заключением суда нижней инстанции, хотя об этом нигде не говорилось. Подозрительным отличием от оригинального заключения было обнаруженное свидетельство того, что «апеллянт вообще не получал “приказов от начальства”». Он был сам себе начальник, и он сам отдавал приказы, касавшиеся еврейских вопросов»; более того, он «затмил по значимости всех своих начальников, включая Мюллера». А в ответ на резонное возражение защиты, что евреи ничего не выиграли бы, если бы Эйхман вообще не существовал, суд теперь уже утверждал, что «идея “окончательного решения” еврейского вопроса никогда не напоминала бы адского зрелища содранной живьем кожи и истязаемой плоти миллионов евреев без фанатичного усердия и неутолимой жажды крови апелланта и его подручных». Верховный суд Израиля не только принял аргументы обвинения, но и заимствовал его лексику.

В тот же день, 29 мая, президент Израиля Ицхак Бен-Цви получил прошение Эйхмана о помиловании – четыре написанных («при участии моего адвоката») от руки страницы с письмами его жены и семьи в Линце. Президент также получил сотни писем и телеграмм со всего мира с просьбой проявить милосердие; самыми выдающимися среди отправителей были

Центральный совет американских раввинов, представительный орган реформистского иудаизма в США, и группа профессоров Еврейского университета в Иерусалиме, который возглавлял Мартин Бубер. Этот ученый с самого начала был против процесса, и вот теперь он уговаривал Бен-Гуриона быть великодушным. Господин Бен-Цви отклонил все ходатайства 31 мая, два дня спустя после того, как Верховный суд вынес свое заключение, а несколькими часами позже в тот же день – это был четверг – незадолго до полуночи Эйхман был повешен, его тело кремировано, а прах развеян над Средиземным морем за пределами территориальных вод Израиля.

Скорость, с которой смертный приговор привели в исполнение, была поразительной, даже если принять во внимание, что вечер четверга представлялся последним удобным случаем до следующего понедельника, так как пятница, суббота и воскресенье – религиозные праздники каждой из трех доминирующих конфессий страны. Приговор был приведен в исполнение менее чем через два часа после того, как Эйхману сообщили, что его апелляция о помиловании отклонена; у него даже не было времени для последней трапезы. Объяснение может быть найдено в двух последних попытках доктора Сервациуса спасти своего клиента – он подал ходатайство в суд Западной Германии с просьбой надавить на правительство, чтобы оно потребовало экстрадиции Эйхмана, и с угрозой применить статью 25 Конвенции о защите прав человека и фундаментальных свобод. Последний шаг был безнадежным в любом случае, так как Израиль не присоединился к конвенции, которая была принята в Риме в 1953 году при содействии Комиссии по правам человека Совета Европы.

Западная Германия и все другие страны Западной Европы, кроме Франции, подписали римскую конвенцию.

Ни доктора Сервациуса, ни его помощника не было в Израиле, когда просьбу Эйхмана о помиловании отклонили, а правительство Израиля, по-видимому, хотело закрыть дело, которое продолжалось два года, прежде чем приговоренный успеет подать ходатайство об отсрочке исполнения смертной казни.

Смертного приговора ждали, и вряд ли кто-либо стал его оспаривать; но ситуация изменилась, когда стало известно, что Израиль привел его в исполнение. Протесты продолжались недолго, но они были повсеместными, а их рупором стали люди известные и влиятельные. Самым распространенным аргументом был такой: деяния Эйхмана поставили под сомнение возможность наказания человека человеком, бессмысленно применять смертную казнь за преступления такого масштаба – что в каком-то смысле было справедливо, если бы не подразумевало, что тот, кто убил миллионы, именно по этой причине должен избежать кары. На значительно более низком уровне смертный приговор называли «лишенным воображения» и предлагали очень яркие альтернативные варианты: Эйхман «должен был бы провести остаток жизни на тяжелой физической работе в самых засушливых районах пустыни Негев, орошая своим потом еврейскую землю» – наказание, при котором он вряд ли прожил более одного дня, не говоря уже о том, что пустыня на юге Израиля не производит впечатления удачного места для штрафной колонии. Или, в стиле Мэдисон-авеню, Израилю следовало бы устремиться «к божественным высотам», поднявшись над «доступными пониманию юридическими, по-

литическими и даже гуманистическими соображениями», и собрать вместе «всех тех, кто участвовал в похищении, процессе и вынесении приговора, на публичную церемонию – с Эйхманом в кандалах, телевизионными камерами и микрофонами – и наградить их всех как героев века».

Мартин Бубер назвал казнь «ошибкой исторического масштаба», так как она могла бы «служить искуплением вины, которую испытывают многие молодые люди в Германии» – аргумент, странным образом перекликавшийся с собственными мыслями Эйхмана на этот счет, хотя вряд ли Бубер знал, что тот хотел публично повеситься, чтобы снять бремя вины с плеч немецкой молодежи.

Странно, что Бубер – человек не только высокопоставленный, но и выдающийся интеллектуал, – не видит, сколь иллюзорны эти чувства, комплексы вины, о которых так много и охотно пишут. Очень приятно чувствовать вину, если ты не сделал ничего плохого: как благородно! Тогда как гораздо труднее и тягостнее признать вину и покаяться. Со всех сторон и во всех сферах жизни и труда молодежь Германии окружают люди, обладающие властью и положением, – эти люди действительно виновны, но ничего подобного они не чувствуют. Нормальной реакцией на такое состояние дел должно быть негодование, но негодование может оказаться рискованным – не опасным для жизни или конечностей, просто оно может поставить препятствия карьерного характера. Те молодые немецкие мужчины и женщины, которые периодически – то по случаю публикации «Дневника Анны Франк», то в связи с процессом Эйхмана – угрожают нам истерическими припадками чувства вины, не сгибаются под грузом прошлого, под гне-

том вины их отцов – вместо этого они бегут от давления настоящего и реальных проблем в дешевую сентиментальность.

Профессор Бубер пошел еще дальше, заявив, что ему «вообще ни капли не жаль» Эйхмана, потому что он может испытывать жалость «только к тем, чьи действия я понимаю сердцем», и он подчеркнул то, о чем говорил много лет назад в Германии – что он находится «лишь в формальной степени общечеловеческого родства с теми, кто принимал участие» в действиях Третьего рейха.

Эта гордая позиция была, конечно же, роскошью, которую не могли позволить себе те, кто судил Эйхмана, поскольку закон предельно точно оговаривает, что у нас общая человеческая природа с теми, кого мы обвиняем, судим и кому выносим приговор. Насколько я знаю, Бубер был единственным философом, снизошедшим до общественности в связи с казнью Эйхмана (незадолго до начала процесса Карл Ясперс дал интервью радио Базеля, позже перепечатанное в *Der Monat*, в котором он предлагал передать дело международному трибуналу); неприятно было видеть, насколько явно он ловчит по поводу проблем, которые поставили перед нами Эйхман и его деяния.

Почти не прозвучали голоса тех, кто был против смертной казни из принципа, безоговорочно; их аргументы были бы по-прежнему действенными, так как их не надо было специально приспособлять под данное конкретное дело. Похоже, они решили – справедливо, я полагаю, – что это не очень многообещающее дело, чтобы ломать из-за него копья.

Адольф Эйхман взошел на эшафот с величайшим достоинством. Он попросил бутылку красного вина и выпил полови-

ну. Он отказался от помощи протестантского священника, преподобного Уильяма Халла, который предложил почитать с ним Библию: ему оставалось жить всего два часа, он не хотел «терять время». Он прошел пятьдесят ярдов от своей камеры до места казни спокойный и прямой, руки были связаны у него за спиной. Когда тюремщики связали ему лодыжки и колени, он попросил их ослабить веревки, чтобы можно было стоять выпрямившись. «Мне это не нужно», – сказал он, когда ему предложили черную повязку на глаза. Он полностью контролировал себя, и даже более того: он был самим собой. Ничто не могло бы продемонстрировать этого более убедительно, чем абсурдная простота его последних слов. Он начал с того, что подчеркнул, что он – *Gottgläubiger*: так, по нацистской моде, называли себя люди, отказавшиеся от христианства, а он не верил в жизнь после смерти. Затем он произнес: «Очень скоро, господа, мы снова встретимся. Такова участь всех нас. Да здравствует Германия, да здравствует Аргентина, да здравствует Австрия! Я не забуду их». Перед лицом смерти он нашел клише, используемые на похоронной службе. Под виселицей его память сыграла с ним последнюю шутку: он «испытал подъем» и забыл, что это – его собственные похороны.

Словно в последние минуты он подводил итог урокам, которые были преподаны нам в ходе долгого курса человеческой злобы, – урокам страшной, бросающей вызов словам и мыслям банальности зла.

ЭПИЛОГ

Нарушений и странностей на процессе в Иерусалиме было так много, они были столь разнообразны и юридически запутанны, что, как во время процесса, так и в удивительно скудной литературе, появившейся после него, затмили центральные проблемы, которые поставил процесс – проблемы морали, политики и даже юриспруденции. Заявления премьер-министра Бен-Гуриона и тактика обвинения, которую избрал прокурор, также еще больше усложнили ситуацию, поскольку Израиль поставил перед процессом ряд задач – это все были «скрытые» задачи по отношению к закону и судебной процедуре. Цель процесса – творить правосудие, и ничего более; даже самые благородные из скрытых задач – «создание протокола гитлеровского режима, который выдержал бы испытание историей», как исполнительный прокурор Нюрнбергского процесса сформулировал высшую цель трибунала, – могут лишь отвлекать внимание от главного дела закона: взве-

шивать обвинения против подсудимого, вершить правосудие и определять наказание.

Заключение по делу Эйхмана, первые два раздела которого были написаны в ответ на эти имевшие высшую цель задачи, о которых подробно говорилось и в зале суда, и за его пределами, было максимально четким и конкретным: необходимо противостоять всем попыткам расширить диапазон процесса, потому что суд «не может позволить, чтобы его заманили в области, лежащие вне сферы его компетенции... судебная процедура действует по своим канонам, которые определяет закон и которые неизменны, каким бы ни был субъект процесса». Более того, суд не мог перешагнуть через эти ограничения, не оказавшись в итоге «на грани краха». Он не только не имеет в своем распоряжении «инструментов, необходимых для исследования общих вопросов», но и весомость его авторитета определяется этими ограничениями. «Мы не можем быть судьями» по вопросам, находящимся за пределами закона, и «вес наших суждений по этим вопросам ничуть не больше, чем значимость суждений любого человека, умеющего мыслить и изучать предмет». Поэтому самым распространенным вопросом, касавшимся процесса над Эйхманом, был следующий: «Какую пользу он приносит?» И был возможен только один ответ: «Он творит правосудие».

Возражения против процесса над Эйхманом были трех типов. К первому относились те же возражения, что и против Нюрнбергских процессов, и они все время повторялись: Эйхмана судили по закону, имеющему обратную силу, и он предстал перед судом победителей. Ко второму относились возражения, которые были направлены только против суда в Иерусалиме, они ставили под сомнение либо компетенцию су-

да, либо его отказ принять во внимание факт похищения подсудимого. И, наконец, самыми важными были возражения против самого обвинения в том, что Эйхман совершал преступления «против еврейского народа», а следовало обвинять его в преступлениях «против человечности», таким образом, это были возражения против закона, по которому судили Эйхмана; такое возражение ведет нас к логическому выводу, что единственный правильный суд для рассмотрения таких преступлений – международный трибунал.

Ответ суда на первый набор возражений был простым: Нюрнбергский трибунал упоминался в Иерусалиме как имеющий юридическую силу прецедент, и, действуя в рамках муниципального закона, судьи просто не могли действовать иначе, так как сам Закон о наказании и преследовании нацистских преступников и их пособников от 1950 года основан на том же прецеденте. «Этот конкретный законодательный акт», указывалось в заключении, «полностью отличается от любого другого закона, обычного в уголовных кодексах», и причина этого различия находится в природе преступлений, с которыми ему приходится иметь дело. Обратная же сила этого закона, можно добавить, нарушает только формально, не существенно, принцип *nullum crimen, nulla poena sine lege* («нет ни преступления, ни наказания без точного указания закона»), так как он применим только к актам, известным законодателю; если вдруг возникает преступление, которое ранее было не известно, например геноцид, правосудие должно вершиться в соответствии с новым законом; в случае Нюрнберга этим новым законом был Устав (Лондонское соглашение 1945 года), в случае Израиля – Закон от 1950 года.

Вопрос не в том, имеют ли эти законы обратную силу, которую, конечно, они должны были иметь, а в другом: были ли они адекватны, то есть применимы только лишь к преступлениям, ранее не известным. Это необходимое условие обратной силы законодательства было серьезно искажено в Уставе, который готовился для международного военного трибунала в Нюрнберге, и, возможно, по этой причине дискуссия на эти темы остается такой запутанной.

Устав обеспечивал юрисдикцию для трех видов преступлений: «преступления против мира», которые трибунал назвал «главным международным преступлением... так как в нем сосредоточено все зло»; «военные преступления»; и «преступления против человечности». Из них только последнее, преступление против человечности, было новым и не имело прецедентов. Захватническая война стара как сама история, и хотя подобные войны много раз называли «преступными», формально они таковыми никогда и не считались.

Ни одно из современных обоснований юрисдикции суда в Нюрнберге по этой теме не заслуживает внимания. Это верно, что победившие в Первой мировой войне державы вызвали в трибунал Вильгельма II, но преступлением, в котором обвинялся бывший германский кайзер, была не война, а нарушение договоров – в частности, нарушение нейтралитета Бельгии. Также верно, что пакт Бриана – Келлога от августа 1928 года исключал войну как инструмент национальной политики, но пакт не давал ни критериев агрессии, ни упоминал о санкциях – в отличие от факта, что система безопасности, которую пакт намеревался установить, рухнула еще до начала войны.

Более того, одна из стран-судей, а именно Советская Россия, была уязвимой для аргумента, а скорее вопроса: *tu-quoque* («и ты тоже?»). Разве Россия не напала на Финляндию и совершенно безнаказанно не разделила Польшу в 1939 году? «Военные преступления», с другой стороны, не более беспрецедентные, чем «преступления против мира», были в ведении международного права. Гагская и Женевская конвенции определили «нарушения законов или обычаев ведения войны»; в них оговаривались главным образом плохое обращение с пленными и военные действия против гражданского населения.

Никакой нужды в новых законах с обратной силой не было, и главная проблема в Нюрнберге заключалась в неоспоримом факте, что здесь снова применялся аргумент *tu-quoque*. Россию, которая не подписала Гагской конвенции (вообще-то Италия тоже не ратифицировала ее), с полным основанием подозревали в плохом обращении с пленными, а на вопрос, кто убил пятнадцать тысяч польских офицеров, чьи тела были найдены в лесу под Катынью (в пригороде Смоленска в России), так никто и не дал удовлетворившего бы всех ответа; все, что можно было сказать – их, должно быть, расстреляли русские, если убийство произошло до сентября 1941 года, или немцы, если это случилось позже. Что еще хуже: бомбардировки со сплошным поражением мирных городов, и прежде всего атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, в свете Гагской конвенции определенно являются военными преступлениями. И в то время как бомбардировки немецких городов спровоцировал враг своими бомбардировками Лондона, Ковентри и Роттердама, то же самое невозможно сказать об использовании нового и чрезвычайно разрушительного ору-

жия, наличие которого можно было бы продемонстрировать иными способами.

Самая очевидная причина, по которой нарушения Гаагской конвенции союзниками никогда не обсуждались в юридическом смысле, заключалась в том, что международные военные трибуналы были международными лишь по названию, на самом деле это были суды победителей, и юрисдикция их решений, сомнительная в любом случае, отнюдь не укрепилась, когда коалиция, которая выиграла войну и затем пустилась в это совместное предприятие, распалась – цитируя Отто Киркхаймера, – «еще до того, как высохли чернила в судебных заключениях Нюрнбергского трибунала». Но эта самая явная причина не является ни единственной, ни самой убедительной причиной того, почему ни одно военное преступление союзников с точки зрения Гаагской конвенции не стало предметом судебного разбирательства.

Будет справедливым добавить, что Нюрнбергский процесс действовал очень осмотрительно, выдвигая обвинения подсудимым-немцам, поскольку эти обвинения легко становились обвинениями по принципу *tu-quoque*. Правда заключалась в том, что к концу Второй мировой войны все понимали, что технический прогресс в создании инструментов насилия сделал «преступную» войну неизбежной. Устарели именно различия между солдатом и гражданским лицом, между армией и мирным населением, между военными объектами и мирными городами, на которых покоились дефиниции военных преступлений Гаагской конвенции. Таким образом, в новых условиях военными преступлениями становились только те, которые демонстрировали признаки сознательной бесчеловечности за пределами военной необходимости.

Этот фактор неуместной жестокости был надежным критерием для определения того, что в данных условиях составляет военное преступление. Он не годился для совершенно нового преступления, но, к сожалению, ввел его невнятную дефиницию – «преступление против человечности», – которое Устав (в статье 6-с) определил как «бесчеловечный акт», как будто это преступление тоже было «военной крайностью», проявленной в процессе боевых действий для достижения победы.

Однако отнюдь не эта разновидность хорошо известного преступления подвигла союзников заявить словами Черчилля, что «наказание военных преступников [было] одной из главных задач войны», а скорее сообщения о неслыханных зверствах, об уничтожении народов, о «зачистке» целых регионов их проживания. Это уже были не просто преступления «вне концепции военной необходимости» – на самом деле эти преступления никак не зависели от войны, они ознаменовали собой политику продолжения систематических убийств в мирное время. Это преступление действительно не учитывалось ни международным, ни муниципальным законами, и более того, это единственное преступление, к которому был неприменим принцип *tu-quoque*. И в то же время не было другого такого преступления, перед рассмотрением которого в Нюрнберге судьи чувствовали бы себя так неуверенно и суть которого они оставили потомкам в столь соблазнительно двусмысленном состоянии. Совершенно справедливо, что – говоря словами французского судьи Доннедью де Вабре, которому мы обязаны одним из лучших анализов трибунала (*Le Procès de Nuremberg*, отпечатанный на ротаторе курс лекций для Сорбонны, 1947 год), – «категория преступлений против человечности, которую Устав впус-

тил через маленькую дверцу, испарилась в судебном заключении трибунала».

Однако судьи, будучи последовательными в столь же малой степени, как и сам Устав, хотя и предпочитали выдвигать, как выражается Киркхаймер, «обвинения в военных преступлениях, к которым относились все классические общеуголовные преступления, затушевывая по возможности преступления против человечности», когда дело доходило до объявления приговора, демонстрировали свои истинные чувства, вынося самые суровые приговоры – смертную казнь – только тем, кто был признан виновным в совершенно невероятной жестокости, которая и составляла «преступление против человечности», или, как очень точно выразился прокурор от Франции Франсуа де Ментон, «преступление против природы человека». Понятие об агрессии как «тягчайшем международном преступлении» было молча забыто, тогда как несколько приговоренных к смерти подсудимых даже не обвинялись в «заговоре» против мира.

В оправдание процесса над Эйхманом часто высказывалась мысль, что хотя величайшее преступление последней войны было направлено против евреев, в Нюрнберге евреи оказались лишь в положении наблюдателей, и заключение суда в Иерусалиме впервые указало, что трагедия еврейского народа «заняла центральное место в судебном разбирательстве и что [этот] факт отличает процесс от всех предыдущих» – в Нюрнберге или в каком-либо ином месте. Но это в лучшем случае полуправда. Именно еврейская трагедия побудила союзников ввести понятие «преступление против человечности», потому что, как писал Джулиус Стоун в монографии «Правовые нормы регулирования международных конфликтов» (1954), «рассматривать массовое

уничтожение евреев в тех случаях, когда они были гражданами Германии, можно было исключительно через призму пунктов, составляющих суть преступления против человечности».

Что удерживало Нюрнбергский трибунал от восстановления полной справедливости в отношении этого преступления? Вовсе не тот факт, что его жертвами были евреи, а то, что Устав предписывал рассматривать это преступление, которое в столь малой степени касалось войны, что его осуществление затрудняло и сдерживало ведение военных действий, «в связке» с другими преступлениями.

Насколько глубоко судьи в Нюрнберге понимали всю степень насилия, которому подверглись евреи, лучше всего можно судить по тому факту, что единственным приговоренным к смертной казни исключительно по обвинению в преступлениях против человечности стал Юлиус Штрейхер, чьей специальностью были антисемитские непристойности. В этом случае судьи отметили все прочие обвинения.

Процесс в Иерусалиме отличался от всех предыдущих вовсе не тем обстоятельством, что теперь центральное место занял еврейский народ. Напротив, в этом отношении процесс напоминал послевоенные суды в Польше, Венгрии, Югославии, Греции, Советской России и Франции – короче, во всех оккупированных нацистами странах. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден для военных преступников, чьи преступления невозможно было локализовать географически, всех прочих передавали тем странам, где они совершили свои преступления. Только «главные военные преступники» действовали без территориальных ограничений, и Эйхман определенно не был одним из них.

Э П И Л О Г

Это – а не его исчезновение, как часто утверждалось, – явилось причиной, по которой ему не было предъявлено обвинение в Нюрнберге; например, Мартина Бормана обвинили, судили и вынесли смертный приговор *in absentia* – в отсутствие подсудимого.

Если действия Эйхмана распространялись на всю оккупированную Европу, то не потому, что он был такой важной фигурой «вне территориальных ограничений», а потому, что это было сутью его задачи – собрать и депортировать всех евреев, – ради выполнения которой он и его коллеги рыскали по континенту. Именно разбросанность евреев по всей Европе сделала преступление против них, хотя и ограниченным в юридическом смысле, предметом «международного» интереса Нюрнбергского трибунала. Как только евреи получили свою собственную территорию, государство Израиль, они приобрели столько же прав судить за преступления против своего народа, сколько поляки – судить за преступления, совершенные в Польше.

Все возражения против процесса в Иерусалиме, основанные на принципе территориальной юрисдикции, с точки зрения юриспруденции были чрезмерными, и хотя суд посвятил несколько заседаний обсуждению этих возражений, по большому счету, они к делу не относились. Не было ни малейшего сомнения в том, что евреев убивали за то, что они евреи, невзирая на их гражданство на тот момент, и хотя это правда, что нацисты уничтожили много евреев, которые выбрали отказ от своего этнического происхождения и, быть может, предпочли быть убитыми как французы или немцы, правосудие было возможно и в этих случаях, если только принять во внимание намерения и цели преступников.

Равно обосновательным, я полагаю, было еще более распространенное возражение против возможной пристрастности судей – что они, будучи гражданами еврейского государства, вершили суд в рамках своих собственных мотивов. Сложно понять, чем еврейские судьи в этом отношении отличались от своих коллег по процессам в любой другой стране-наследнице, где польские судьи выносили приговор за преступления против польского народа или чешские судьи судили за то, что произошло в Праге и Братиславе.

Господин Хаузнер в последней из своих статей для *Saturday Evening Post*, сам того не желая, подлил масла в огонь этих возражений: он заявил, что обвинению сразу же стало понятным, что Эйхмана не может защищать израильский адвокат, так как возникнет конфликт между «профессиональными обязанностями» и «национальными эмоциями». Что ж, этот конфликт представлял собой суть всех возражений в адрес судей-евреев, а аргумент господина Хаузнера в их поддержку, что судья может ненавидеть преступление, но быть объективным к преступнику, распространяется и на адвоката защиты: юрист, защищающий убийцу, не оправдывает убийство. Истина заключается в том, что давление за стенами суда делало невозможным, мягко говоря, возложить на гражданина Израиля обязанность по защите Эйхмана.

И, наконец, аргумент-возражение, что никакого еврейского государства на момент совершения преступления не существовало. Просто формальное, оно настолько противоречит реальности и требованиям совершить правосудие, что его со спокойной душой можно оставить для ученых споров специа-

листов. В интересах правосудия (как не связанного с некоторыми иными задачами, которым, сколь важными сами по себе они ни были бы, нельзя позволить превалировать над правосудием, главной целью закона) для подтверждения своей юрисдикции суду не следовало ссылаться ни на концепцию пассивной персональности – что жертвами были евреи и что только Израиль может говорить от их имени, – ни на принцип универсальной юрисдикции применительно к Эйхману, так как он был *hostis generis humani* – «врагом человечества», по отношению к которому действуют такие же законы, что и направленные против пиратства. Обе теории, долго обсуждавшиеся как в суде Иерусалима, так и за его стенами, по сути, размазали тему и скрыли очевидную аналогию между судом в Иерусалиме и процессами, которые проходили до него в других странах, где для наказания нацистов или их пособников было введено специальное законодательство.

Концепция пассивной персональности, в Иерусалиме базировавшаяся на просвещенных взглядах, которые П.Н. Дрост изложил в книге «Преступление государства» (1959), подразумевающая, что при определенных условиях в деле может быть применен принцип *forum patriae victimae* («голос суда есть голос жертвы»), к сожалению, означает, что уголовное преследование инициируется правительством от имени жертв, которые, как предполагается, имеют право на возмездие. Позиция обвинения действительно была таковой, господин Хаузнер начал свое выступление словами: «Когда я стою перед вами, судьями Израиля, здесь, в этом суде, обвиняя Адольфа Эйхмана, я здесь не один. Рядом со мной на этой трибуне стоят шесть миллионов обвинителей. Но, увы, они не могут направить обвиняю-

щий перст в сторону стеклянной клетки и прокричать *J'accuse** человеку, который сидит в ней... Их кровь взывает к небесам, но их голос невозможно услышать. На меня возложена обязанность стать их голосом и от их имени выдвинуть обвинения в ужасающих преступлениях». Такой риторикой обвинение ответило на основное возражение против процесса – что он начат не во имя правосудия, но чтобы успокоить души жертв и, возможно, утолить их жажду мести.

Уголовные преследования, так как они обязательны и потому иницируются, даже если жертва предпочла бы забыть и простить, на основании законов, «сущность» которых – цитируя статью Телфорда Тейлора** в *New-York Times Magazine* – «заключается в том, что преступление совершается не только против жертвы, но и главным образом против общества, чей закон оно нарушает». На преступника обрушивается правосудие, потому что его действие нарушило покой и безопасность общества в целом, а не потому, как в делах гражданской юрисдикции, что вред был причинен отдельным личностям, которым теперь требуется компенсация. Компенсация по уголовным делам имеет совершенно иной характер: это само государство, требующее «компенсации», это также и требование принятого обще-

* «Я обвиняю!» – открытое письмо Эмиля Золя президенту Франции Феликсу Форю (1898 г.), в котором он пытался привлечь внимание общественности к антиеврейской сущности так называемого дела Дрейфуса; название для письма – «Я обвиняю!» – придумал французский журналист и политик Жорж Клемансо.

** Телфорд Тейлор – известный американский юрист, один из обвинителей на Нюрнбергском процессе.

ственного порядка, который был нарушен и который необходимо восстановить. Иными словами, должен превалировать закон, а не истец.

Еще менее оправданным, чем попытка обвинения построить процесс на концепции пассивной персональности, было намерение суда истребовать правомочности универсальной юрисдикции, так как это находилось в полном противоречии как с ведением процесса, так и с законом, по которому судили Эйхмана. Было сказано, что принцип универсальной юрисдикции может быть применим, потому что преступления против человечности аналогичны давно известному преступлению – пиратству, а тот, кто совершает их, как и пират, по традиционному международному праву становится *hostis generis humani* – «врагом человечества». Однако Эйхман обвинялся главным образом в преступлениях против еврейского народа, а его поимка, которую теория универсальной юрисдикции была призвана оправдать, определенно была обусловлена не преступлениями против человечности, а исключительно его ролью в «окончательном решении».

Но даже если бы Израиль похитил Эйхмана исключительно потому, что он был врагом человечества, а не потому, что он был *hostis Judaeorum* – «врагом еврейского народа», сложно было бы обосновать законность его ареста. Исключение пирата из принципа территориальности – который в отсутствие международного уголовного кодекса остается единственным законным юридическим принципом – сделано не потому, что он враг всех и, следовательно, его и могут судить все, а потому, что его преступление совершено в открытом море, а море за пределами территориальных вод не принадлежит никому. Бо-

лее того, пират, «бросая вызов всем законам, не признает ни один флаг» (Г. Цейзель. Ежегодник Британской энциклопедии, 1962 год), его деятельность, по определению, ведется им самостоятельно; он изгой, потому что добровольно поставил себя вне всех организованных обществ и по этой причине стал «врагом всех в равной мере».

Безусловно, никто не возьмется утверждать, что Эйхман вел свою деятельность самостоятельно или что он «не признавал ни одного флага». В этом отношении теория пиратства служила лишь способом уклониться от одного из фундаментальных вопросов, которые поставили преступления такого рода, а именно, что они совершались и могут совершаться лишь в условиях преступного *правосудия* и преступным *государством*.

Аналогия между геноцидом и пиратством не новая, так что в этой связи стоит отметить, что Конвенция по предупреждению и наказанию преступления геноцида, чьи резолюции приняла Генеральная ассамблея ООН 9 декабря 1948 года, решительно отклонила требование универсальной юрисдикции и предложила взамен, что «лиц, обвиняющихся в геноциде... должен судить правомочный трибунал государств, на территории которых был совершен акт геноцида, или международный уголовный трибунал, имеющий такую юрисдикцию». В соответствии с этой конвенцией, которую Израиль подписал, суд должен либо учредить международный трибунал, либо попытаться переформулировать территориальный принцип таким образом, чтобы он был применим к Израилю. Оба варианта возможны и находятся в сфере компетенции суда.

Возможность учреждения международного трибунала суд, не вдаваясь в детали, отверг по причинам, которые мы об-

судим ниже, но причина, по которой не была найдена новая выразительная дефиниция территориального принципа – с тем чтобы суд в конце концов мог истребовать для себя юрисдикцию на основании всех трех принципов: территориального, а также пассивно-персонального и универсального, словно простое сложение трех совершенно различных принципов юрисдикции создавало обоснованную претензию, – была тесно связана с полным нежеланием всех заинтересованных сторон вспахать целину и действовать, не полагаясь на прецеденты.

Израиль легко мог бы претендовать на территориальную юрисдикцию, если бы только объяснил, что «территория», как это понимает закон, является политической и юридической концепцией, а не просто географическим термином. Она касается не столько и не в первую очередь участка суши, сколько пространства между индивидуумами в группе, члены которой связаны с ней и в то же время отделены друг от друга и защищены особыми связями, основанными на общем языке, религии, общей истории, обычаях и законах. Эти связи стали до такой степени пространственными, что они сами образуют пространство, внутри которого действуют и взаимодействуют все члены группы. Государство Израиль никогда не возникло бы, если бы многие века разбросанный повсюду еврейский народ не создал и не установил бы свое собственное специфическое промежуточное пространство, то есть еще до возвращения ему его исторической территории.

Однако суд так и не осмелился бросить вызов прецедентам, даже в отношении беспрецедентного характера происхождения государства Израиль, что, несомненно, было ближе все-

го его сердцу и разуму. Вместо этого судебная процедура была похоронена в потоке прецедентов – во время заседаний на первой неделе процесса, к которым относятся первые пятьдесят три раздела судебного заключения, – многие из которых, по крайней мере на неподготовленный слух дилетанта, звучали как сложные софизмы.

Суд над Эйхманом на самом деле был не более, но и не менее чем последним среди многочисленных процессов в странах-наследницах, которые прошли после Нюрнберга. Обвинение совершенно обоснованно изложило в приложении официальную интерпретацию Закона от 1950 года, которую ясно и недвусмысленно сделал министр юстиции Пинхас Розен: «В то время как другие народы приняли необходимые законы для наказания нацистов и их приспешников вскоре после окончания войны, а некоторые еще до того, как война закончилась, еврейский народ... не обладал политической властью, чтобы предать нацистов и их подручных суду, пока не было образовано наше государство».

Таким образом, суд над Эйхманом отличался от процессов в странах-наследницах только в одном отношении – подсудимый не был арестован должным образом и экстрадирован в Израиль; напротив, чтобы он предстал перед судом, был грубо нарушен международный закон. Выше упоминалось, что только отсутствие *de facto* у Эйхмана гражданства позволило Израилю избежать ответственности за его похищение, и понятно, что, несмотря на бесчисленные прецеденты, на которые ссылался суд в Иерусалиме, ни разу не был упомянут единственно уместный: похищение из Швейцарии агентами гестапо Бертольда Якоба, германского еврея, журналиста-левака.

Ни один другой прецедент не годился, потому что все они касались беглецов от правосудия, которых не только возвращали на место совершенных ими преступлений, но и в тот самый суд, который выдал или мог бы выдать имеющий юридическую силу ордер на арест – условия, которые Израиль не смог выполнить.

В этом случае Израиль действительно нарушил территориальный принцип, огромное значение которого заключается в том факте, что землю населяет множество людей, и эти люди подчинены многим разным законам, поэтому распространение одного территориального закона за границы и пределы действия его юридической силы немедленно влечет за собой конфликт с законом другой территории.

Это, к несчастью, было единственной почти беспрецедентной чертой всего суда над Эйхманом, и определенно у этого случая нет никаких шансов стать юридически обоснованным прецедентом.

Что мы скажем, если завтра какое-нибудь африканское государство пошлет своих агентов на Миссисипи и похитит одного из лидеров тамошнего движения за сегрегацию? И что мы сможем возразить, если суд в Гане или Конго сошлется на дело Эйхмана как на прецедент?

Его обоснованием стали беспрецедентность преступления и возникновение еврейского государства.

Были, однако, и важные смягчающие обстоятельства, суть которых сводилась к следующему: другого варианта просто не было, если намерение отдать Эйхмана под суд действительно

но существовало. У Аргентины имелся впечатляющий список нацистских преступников, которых она отказалась выдать; даже если бы между Израилем и Аргентиной существовал договор об экстрадиции, запрос о выдаче почти наверняка не был бы удовлетворен. Не помог бы и захват Эйхмана полицией Аргентины, с тем чтобы она выдала его Западной Германии: ранее Бонн пытался добиться экстрадиции из Аргентины таких известных нацистских преступников, как Карл Клингенфусс и доктор Йозеф Менгеле (последний участвовал в самых чудовищных медицинских «экспериментах» в Освенциме и обвинялся в «селекции»), но безуспешно. В случае Эйхмана такой запрос был бы вдвойне безнадежным, так как согласно аргентинскому закону все преступления, связанные с последней войной, попадали под закон о сроке давности – пятнадцать лет – то есть после 7 мая 1960 года Эйхмана невозможно было бы экстрадировать законным образом. Короче говоря, рамки закона не предлагали никакой альтернативы похищению.

Те, кто убежден, что правосудие, и ничего более, есть цель закона, будут склонны смириться с актом похищения, но не из-за прецедентов, а, напротив, по причине его отчаянной беспрецедентности, необходимость которой обусловило неудовлетворительное состояние международного закона. В этой связи существовала единственная альтернатива тому, что сделал Израиль: вместо захвата Эйхмана и вывоза его в Израиль агенты могли бы убить его на одной из улиц Буэнос-Айреса. О таком варианте развития событий нередко упоминали во время дебатов по делу – довольно странно, что чаще всех прочих этот вариант рекомендовали те, кого больше всех прочих шокировало похищение. Здесь были свои преимущества, пото-

му что обстоятельства дела находились вне обсуждения, но предлагавшие эту версию забыли, что тот, кто берет закон в свои руки, оказывает услугу правосудию только в одном случае: если он по окончании «миссии» вернет ситуацию в прежнее русло, чтобы закон снова стал действовать, а его акт будет юридически оправдан хотя бы посмертно.

На ум сразу же приходят два прецедента сравнительно недавнего прошлого. Первый – случай Шалома Шварцбарда*, который 25 мая 1926 года в Париже застрелил Симона Петлюру, бывшего гетмана украинской армии, ответственного за погромы во время Гражданской войны в России и утверждавшего, что у него на руках кровь ста тысяч жертв, которых он убил между 1917 и 1920 годами. Второй – армянин по фамилии Тинделян**, в 1921 году в самом центре Берлина застреливший Талаат-бея, безжалостного убийцу, участвовавшего в армянских погромах в Турции в 1915 году, во время которых была вырезана треть (шестьсот тысяч человек) армянского населения Турции.

Суть в том, что ни один из этих мстителей не ограничился убийством своего «преступника»: оба немедленно сдались полиции и потребовали, чтобы их судили. Оба воспользо-

* В России он известен как Самуил Исаакович Шварцбург – еврейский поэт, публицист и анархист.

** Здесь Ханна Арендт неверно указывает фамилию, очевидно, имеется в виду Согомон Тейлерян (1896–1960) – деятель армянского национально-освободительного движения, народный мститель, застреливший 15 марта 1921 года в Берлине одного из главных организаторов массовой депортации и геноцида армян, бывшего министра внутренних дел Турции Мехмеда Талаата-пашу.

вались процессом, чтобы в ходе судебных слушаний показать всему миру, какие чудовищные преступления были безнаказанно совершены против их народов. На суде над Шварцбардом использовались почти те же приемы, что и в деле Эйхмана. Такое же изобилие документов, свидетельствовавших о преступлениях, правда, в тот раз они были собраны для защиты (Еврейским комитетом под председательством ныне покойного доктора Лео Моцкина, которому потребовалось полтора года, чтобы собрать материал и опубликовать его в книге «Погромы на Украине 1917–1920», 1927 год).

Тогда и обвиняемый, и его адвокат говорили от имени жертв, и им даже удалось поднять вопрос о евреях, «которые не могли выступить в свою защиту» (см. судебную речь Анри Тореза в его книге «Процесс о погромах», 1928 год). Оба были оправданы, в обоих случаях возникло ощущение, что их поступок «символизировал, что их народы наконец решили защитить себя, оставить позади моральные сомнения и преодолеть покорность перед лицом оскорблений», как с восхищением писал о деле Шварцбарда знаменитый французский журналист и публицист Жорж Суарес.

Преимущества такого решения проблемы законности, стоящей на пути правосудия, очевидны. В конце концов процесс – это «шоу», но даже если это шоу, в нем участвует «герой» – тот, что в центре пьесы, к кому прикованы все взоры, и в этом случае он – настоящий герой. При этом персонаж процесса находится под стражей, потому что это «не спектакль с заранее известным финалом», здесь есть элемент «непреодолимого риска», который, по словам Киркхаймера, является обязательным фактором всех криминальных процессов. *«Я обви-*

няю!» – тоже обязательный атрибут с точки зрения жертвы – звучит, конечно же, более убедительно в устах человека, который был вынужден взять закон в свои руки, чем голос назначенного правительством чиновника, не рискующего ничем. И все же – в отличие от практических соображений, таких как, например, что Буэнос-Айрес шестидесятых едва ли предлагает те же гарантии или ту же публичность обвиняемому, как Париж и Берлин двадцатых годов, – весьма сомнительно, что такое решение оправдало бы себя в случае Эйхмана, и столь же понятно, что оно было бы таким же неоправданным.

На пользу Шварцбарда и Тинделяна работало то обстоятельство, что они оба принадлежали к этническим группам, у которых не было ни собственного государства, ни системы правосудия, в мире не существовало трибуналов, куда такие группы могли бы привести свои жертвы. Шварцбард, который умер в 1938-м, более чем за десять лет до провозглашения еврейского государства, не был ни сионистом, ни националистом иного толка; но нет ни малейшего сомнения, что государство Израиль приветствовало бы такого гражданина – хотя бы потому, что он стал причиной трибунала для преступлений, которые так часто оставались безнаказанными. Его чувство справедливости было бы удовлетворено. И когда мы читаем письмо, которое Шварцбард отправил из парижской тюрьмы своим братьям и сестрам в Одессу: *«Faites savoir dans les villes et dans les villages de Balta, Proskouro, Tzcherkass, Ouman, Jitomir.. pertez-y le message edifiant: la colere juive a tire sa vengeance! Le sang de l'assassin Petlioura, qui a jalli dans la ville mondiale, a Paris... rappellara le crime feroce... commis envers le pauvre et abandonne peuple juif»* («Разнесите по городам и весям, в Бальду передайте, в Проскурово, Черкасск, Умань, Житомир... такое

назидательное послание: гнев евреев вынудил его к мести! Кровь убийцы Петлюры, пролившаяся в главном городе мира, Париже... послужит напоминанием о лютном злодеянии... против бедного и обездоленного еврейского народа!»), – мы сразу же узнаем – нет, не только язык, на котором, вообще-то, говорил в суде господин Хаузнер (язык Шаломы Шварцбарда был неизмеримо более благородным и живым), но и чувства, и состояние души евреев всего мира, к которым, как казалось, это письмо взывало.

Я настаивала на сходстве суда над Шварцбардом в 1927 году в Париже и процессом Эйхмана в 1961 году в Иерусалиме, потому что они показали, сколь не готов был Израиль, как и весь еврейский народ, распознать в преступлениях, вменявшихся Эйхману, беспрецедентное преступление, и с каким трудом, должно быть, далось понимание этого еврейскому народу. В глазах евреев, рассуждающих исключительно с точки зрения собственной истории, катастрофа, которая постигла их при Гитлере и унесла треть их народа, представляется не некоей новой формой преступления, не беспрецедентным геноцидом, а, напротив, старейшим из всех известных им преступлений. Это неверное толкование, почти неизбежное, если мы учитываем не только факты еврейской истории, но и, что более важно, современное самосознание еврейского народа, возглавляет список всех провалов и дефектов иерусалимского процесса. Никто из участников так до конца и не понял всего ужаса Освенцима, который по сравнению со злодействами прошлого имеет совершенно иную природу, потому что он предстал перед обвинением и судьями не более чем большим чудовищным погромом

из еврейской истории. И они поверили, что существует прямая линия от раннего антисемитизма нацистской партии к Нюрнбергским законам 1935 года, а от них – к изгнанию евреев из рейха и, в итоге, к газовым камерам. Однако политически и юридически эти «преступления» отличны не только по степени серьезности, но и по существу.

Нюрнбергские законы 1935 года легализовали дискриминацию, практиковавшуюся до того немецким большинством против еврейского меньшинства. В соответствии с международным законом прерогативой суверенного германского народа было выделить национальное меньшинство, какую бы долю населения оно ни составляло, при условии, что законы о национальных меньшинствах придерживаются прав и гарантий, закрепленных международными договорами и соглашениями. Международные еврейские организации пытались получить для вновь созданного меньшинства те же права и гарантии, которые были подтверждены Женевской конвенцией меньшинствам в Восточной и Юго-Восточной Европе. Но хотя эта защита не была получена, другие государства в целом признавали Нюрнбергские законы как часть закона Германии, поэтому гражданин Германии не мог вступить в «смешанный брак», например, в Голландии.

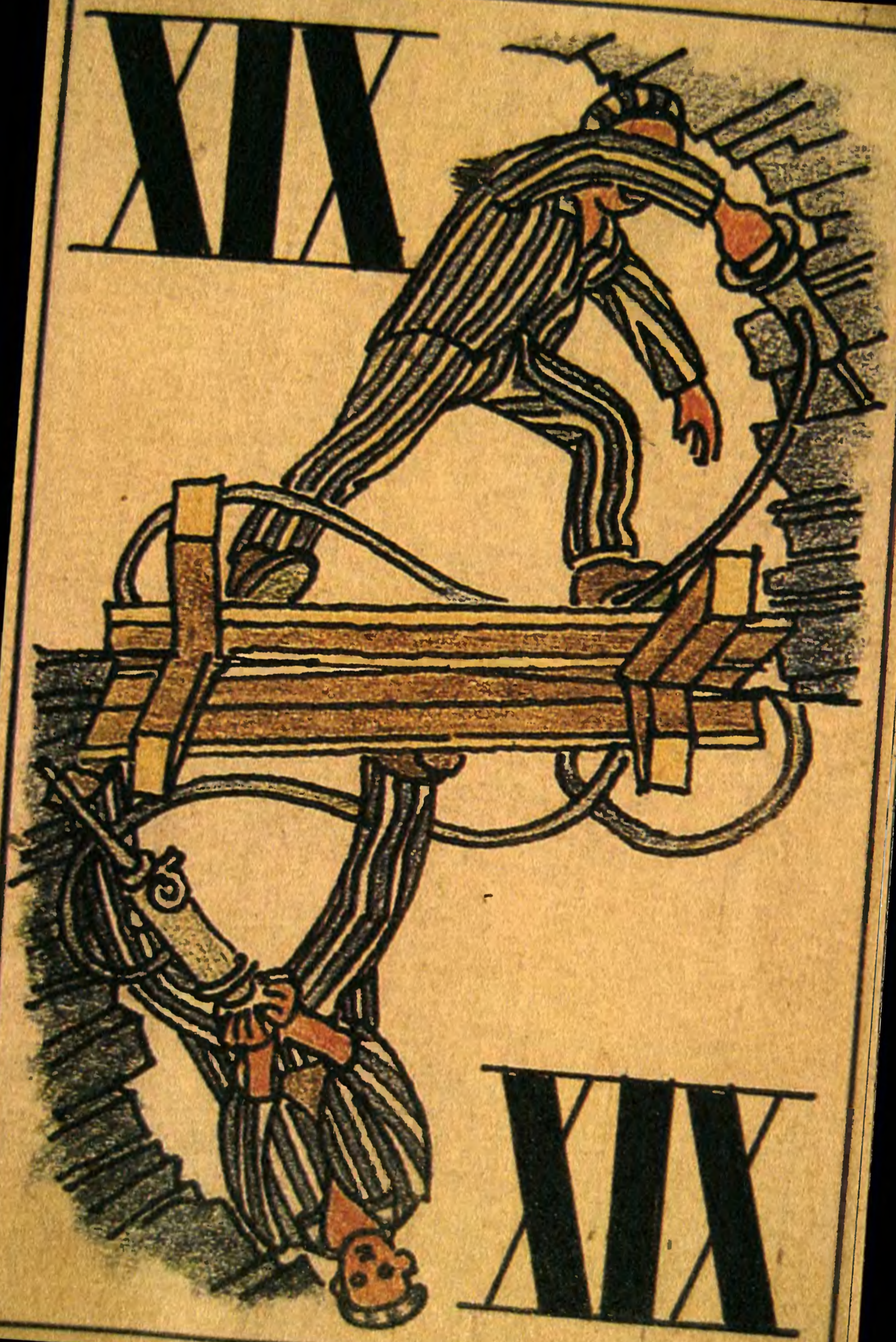
Преступный характер Нюрнбергских законов был национальным преступлением: он нарушал национальные, конституционные права и свободы, но он никак не затрагивал взаимное признание закона разными нациями, то есть не был субъектом «международной вежливости». «Принудительная эмиграция», или изгнание, ставшее официальной политикой после 1938 года, очень даже касалось международного сообщества по той

WV



WX







простой причине, что изгнанники появились на границах других стран, которые были вынуждены либо принять их, либо переправить в другие государства, точно так же не желавшие их впускать. Другими словами, изгнание народов – это уже преступление против человечности, если под «человечностью» мы понимаем не более чем международную вежливость.

Ни национальное преступление по легализации дискриминации, превратившейся в преследование по закону, ни международное преступление по изгнанию не были беспрецедентными даже во времена новейшей истории. Легализованную дискриминацию практиковали Балканские страны, а изгнание в массовом масштабе происходило после многих революций. А вот когда нацистский режим провозгласил, что народ Германии не только не желает больше видеть в стране евреев, но желает стереть весь еврейский народ с лица земли, тогда-то и появилось новое преступление, преступление против человечности – в смысле преступления «против природы человека», или против самой природы человечества.

Изгнание и геноцид, хотя это два международных преступления, следует разделять: первое – это преступление против народа-согражданина, тогда как второе – нападение на человеческое многообразие как таковое, то есть на атрибут «природы человека», без которого сами слова «человечество» или «человечность» лишились бы смысла.

Пойми суд в Иерусалиме, что между дискриминацией, изгнанием и геноцидом есть различия, мгновенно стало бы ясно, что тягчайшее преступление, с которым суд столкнулся – физическое уничтожение еврейского народа, – было преступлением против человечности, совершенным против всех евре-

ев земли, и что только выбор жертв, а не природа преступления, мог брать свои истоки в долгой истории ненависти к евреям и антисемитизме. Поскольку жертвами были евреи, было справедливо и правильно, что правосудие должен творить еврейский суд, но так как это было преступление против человечности, для правосудия требовался международный трибунал.

Неспособность суда увидеть это различие было удивительным, потому что его уже обозначил ранее министр юстиции Израиля Розен, который в 1950 году настаивал на «различии между этим законопроектом [о преступлениях против еврейского народа] и законом о предотвращении и наказании за геноцид», который обсуждался, но не прошел утверждения в парламенте Израиля. По-видимому, суд счел, что у него нет права переступить через ограничения муниципального закона, поэтому геноцид, не нашедший отражения в законе Израиля, невозможно было должным образом принять во внимание.

Среди многочисленных и в высшей степени авторитетных голосов, прозвучавших в пользу международного трибунала, был лишь один – голос Карла Ясперса, – который в интервью радио Базеля заявил четко и недвусмысленно: так как преступление касается всего человечества, все нации мира и должны быть допущены к процессу. Этот аргумент в пользу международного суда потерялся среди других предложений, которые исходили из иных соображений и были более легковесными. Многие друзья Израиля, евреи и неевреи, считали, что страна должна выступать как обвинитель, но не как судья, что суду следует собрать данные, сформулировать обвинения и представить их в ООН.

Израиль должен содержать заключенного, пока не будет собран специальный трибунал, чтобы судить его, демонстрируя таким образом крайнюю необходимость учреждения постоянного международного уголовного суда и подготовки юридически правомерного международного уголовного кодекса.

Проблема этих предложений заключалась в том, что Израиль мог легко опровергнуть их: они действительно были совершенно нереалистичными с точки зрения того факта, что Генеральная ассамблея ООН «дважды отклоняла предложения рассмотреть возможность учреждения постоянного международного уголовного суда» (Бюллетень Антидиффамационной лиги*). Но другое, более практичное предложение, которое обычно не упоминают по причине его реалистичности, сделал президент Всемирного еврейского конгресса доктор Нахум Гольдман. Он предложил Бен-Гуриону учредить международный суд в Иерусалиме, пригласив в судьи представителей каждой страны, пострадавшей от нацистской оккупации. Но этого было бы недостаточно: это стало бы лишь укрупнением трибуналов стран-наследниц, а заметное ухудшение отправления правосудия, которое присуще суду победителей, лечению не поддается. Однако это был бы практический шаг в верном направлении.

Израиль, как многие припомнили, яростно протестовал против всех этих предложений. И хотя справедливо, как отметил Йосал Рогат (в книге «Процесс Эйхмана и норма права», опубликованной Центром исследования демократических ин-

* Американская неправительственная организация, ставящая своей целью борьбу с клеветой на еврейский народ, основана в 1913 году.

ституты, Санта-Барбара, 1962 год), что Бен-Гурион всегда «казалось, не понимал, когда ему задавали вопрос: «Почему бы его не судить в международном суде?», так же справедливо, что те, кто задавал этот вопрос, не понимали, что для Израиля единственной беспрецедентной особенностью процесса было следующее: впервые (с 70 года н. э., когда римляне разрушили Иерусалим) евреи получили возможность судить за преступления, совершенные против них же, впервые им не надо было обращаться к другим за защитой и справедливостью или прибегать к соглашательской фразеологии относительно прав человека – прав, которые, и это они знали лучше, чем кто бы то ни было, приходилось отстаивать только очень слабым, не имевшим сил защищать свои «права англичан*», – и заставить уважать свой закон.

Сам факт, что у Израиля был свой закон, в соответствии с которым он мог провести такой процесс, задолго до суда над Эйхманом был сформулирован в виде фразы, которую по случаю первого чтения Закона от 1950 года в кнессете произнес господин Розен: «Это революционная трансформация, которая произошла в политическом положении еврейского народа».

Опираясь на эти яркие события и сильнейшее желание, Бен-Гурион произнес: «Израилю не требуется защита международного суда».

* «Права англичан» – синоним незыблемости фундаментальных свобод и прав, которые не может отобрать ни один монарх, и в этом смысле король и крестьянин равны.

Э П И Л О Г

Более того, аргумент, что преступление против еврейского народа было в первую очередь преступлением против человечества, на который опирались предложения организовать международный трибунал, серьезно противоречил закону, в соответствии с которым судили Эйхмана. Таким образом, все, кто предлагал Израилю передать своего пленника, должны были бы сделать следующий шаг и объявить Закон о наказании и преследовании нацистских преступников и их пособников от 1950 года неправильным, мол, он противоречит тому, что произошло на самом деле, он не распространяется на факты. И это в самом деле было бы чистой правдой. Потому что убийца оказывается под судом из-за того, что он нарушил закон общества, а не потому, что лишил семью Смит мужа, отца и кормильца, следовательно, эти современные, нанятые государством убийцы, занимавшиеся массовыми казнями, должны отправляться под суд потому, что они нарушили устройство человечества, а не потому, что они убили миллионы людей.

Нет ничего более пагубного для понимания этих новых преступлений, и ничто так не преграждает путь международному уголовному кодексу, который позаботился бы о них, чем распространенное заблуждение, что убийство и геноцид – по сути, одно и то же преступление. Смысл последнего – такой же, как и первого, плюс разрушение установленного порядка и нарушение закона общества. Именно потому, что Бен-Гурион отлично понимал, что дискуссия в целом касается юридической силы израильского закона, он в итоге реагировал так резко против критиков судебной процедуры Израиля: что бы ни говорили эти «так называемые эксперты», их аргументы – софизмы, вдохновленные или антисемитизмом, или, в случае евреев,

комплексом неполноценности. «Пусть мир поймет: мы не отдадим нашего заключенного».

Справедливости ради стоит заметить, что процесс в Иерусалиме проходил в совершенно ином тоне. Но я полагаю уместным предположить, что этот последний процесс в стране-наследнице не более, а, наверное, даже менее, чем все предыдущие процессы, сможет выступать в роли обоснованного прецедента для осуждения таких преступлений в будущем. Это могло бы не иметь большого значения в свете того, что главная задача – обвинить и защитить, судить и наказать Адольфа Эйхмана – была выполнена, если бы не крайне неприятная, но в высшей степени реальная вероятность того, что такие преступления могут совершаться в будущем. Причины такой злобещей потенциальной возможности – как самые общие, так и весьма конкретные. В самой природе человека заложено, что любое действие, однажды произошедшее и зафиксированное в анналах истории человечества, остается с человечеством в качестве потенциальной возможности его повторения еще долго после того, как его актуальность стала делом прошлого. Ни одно наказание не обладает сдерживающей силой, достаточной для предотвращения новых преступлений. Напротив, каким бы ни было наказание, как только специфическое преступление было совершено первый раз, его повторное совершение имеет большую вероятность, чем та, которая обусловила его возникновение в первый раз. Конкретные причины, которые говорят в пользу повторения преступлений, совершенных нацистами, еще более убедительны. Пугающее совпадение бурного демографического роста с открытием технических средств, которые за счет автоматизации труда превратят значительную долю

Э П И Л О Г

населения в «ненужных людей» и которые за счет атомной энергии создают вероятность двойной угрозы использования таких инструментов, по сравнению с которыми газовые установки Гитлера покажутся гадкими детскими игрушками, – этого должно быть достаточно, чтобы мы содрогнулись.

По этой причине весьма существенно следующее: как только было совершено беспрецедентное преступление, оно может стать прецедентом в будущем, а все процессы, имеющие дело с «преступлениями против человечности», должны проходить в соответствии со стандартом, который сегодня все еще представляется «идеальным». Если геноцид – реальная возможность в будущем, тогда ни один народ на земле – и менее всех, естественно, еврейский народ в Израиле или в других странах – не может быть уверен в продолжении своего существования без помощи и защиты международного закона. Успех или неудача в делах, связанных с ранее беспрецедентными преступлениями, могут быть очерчены лишь теми рамками, внутри которых эти дела будут служить обоснованным прецедентом на пути создания международного уголовного кодекса. И это требование, адресованное судьям на таких процессах, не чрезмерно, в нем не заложено больше того, на что можно с полным основанием надеяться.

Международный закон, как отметил в Нюрнберге член Верховного суда США Джексон, «это комплекс договоров и соглашений между народами и общепринятых обычаев. Каждый обычай уходит своими корнями в определенное обособленное действие... Сегодня мы имеем полное право вводить обычаи и заключать соглашения, которые сами станут источниками нового и действенного международного закона». Судья Джексон не отметил, что вследствие незавершенного характера между-

народного закона задачей судей на обычных процессах стало отправление правосудия без помощи законов позитивного права или за рамками предусмотренных ими ограничений. Это может поставить судью в затруднительное положение, и он лишь станет протестовать против того, что требуемое от него «обособленное действие» будет совершать не он, а законодатель.

И в самом деле, прежде чем мы придем к какому-либо выводу относительно успеха или неудачи суда в Иерусалиме, следует подчеркнуть твердое убеждение судей в том, что у них не было права становиться законодателями, что они обязаны были выполнять свою работу в рамках закона Израиля, с одной стороны, и общепринятого юридического мнения – с другой. Также следует признать, что их промахи ничуть не были серьезнее тех, которые были допущены на Нюрнбергских процессах или в судах других европейских стран-наследниц. Напротив, неудачи суда в Иерусалиме отчасти были обусловлены его слишком явным желанием по возможности придерживаться прецедента Нюрнбергского процесса.

В результате провал суда в Иерусалиме состоял из его неспособности понять три фундаментальных пункта, каждый из которых был хорошо известен и широко обсуждался с момента учреждения Нюрнбергского трибунала: проблема нарушения правосудия в суде победителей; юридически обоснованное определение «преступления против человечности»; и четкое распознавание нового типа преступника, который совершает это преступление.

Что касается первого пункта, в Иерусалиме правосудие было нарушено более серьезно, чем в Нюрнберге, потому что суд не допустил на процесс свидетелей защиты. На основании

традиционных требований, предъявляемых к справедливой и надлежащей правовой процедуре, это был самый серьезный изъян судебного разбирательства. Более того, неизбежное в конце войны судебное преследование в суде победителей (аргумент судьи Джексона в Нюрнберге: «Либо победители должны судить побежденных, либо пусть обвиняемые судят себя сами» следовало бы подкрепить понятными чувствами союзников, что они, те, «кто рисковал всем, не допустят нейтралов» [Вабр]) через шестнадцать лет после окончания войны не могло быть столь же обоснованным, учитывая, что в новых условиях возражение против участия в процессе представителей нейтральных стран не имело смысла.

Относительно второго пункта: сведения, полученные в иерусалимском суде, имели несоизмеримо больший вес, чем те, которые удалось получить в Нюрнберге. Я уже упоминала, что определение Нюрнбергским процессом «преступлений против человечности» как «бесчеловечных актов», которое было переведено на немецкий язык *Verbrechen gegen die Menschlichkeit* – словно у нацистов просто был дефицит человеческой доброты, несомненно, является преуменьшением века. Проводись суд в Иерусалиме исключительно на базе обвинения, недопонимание по главным пунктам было бы еще более заметным, чем в Нюрнберге. Но судебное заключение не позволило главной характеристике преступления утонуть в потоке злодейств, суд не попал в ловушку и не приравнял это преступление к общеуголовным военным преступлениям. То, о чем в Нюрнберге говорилось на ходу и очень мало – что «улики свидетельствуют, что... массовые убийства и зверства совершались не с одной лишь целью уничтожить противников режима», что они также «были ча-

стью плана избавиться от целого народа», – было центром судебного разбирательства в Иерусалиме. По той очевидной причине, что Эйхман обвинялся в преступлении против еврейского народа – преступлении, которое невозможно было объяснить никакой утилитарной необходимостью: евреев убивали по всей Европе, не только на Востоке, их истребление не было обусловлено желанием захватить территорию, «которую немцы могли бы использовать для колонизации».

Большое преимущество процесса, сосредоточенного на преступлении против еврейского народа, заключалось не только в том, что он провел различие между военными преступлениями, такими как расстрелы повстанцев и убийства заложников, и «бесчеловечными актами», такими как «изгнание и истребление» целого народа во имя захватнической колонизации – одно это могло бы лечь в основу будущего международного уголовного кодекса, – но и в том, что он установил различие между «бесчеловечными актами» (которые осуществлялись ради понятной, хотя и преступной цели, такой как экспансия путем колонизации) и «преступлением против человечности», чей намеренный и беспрецедентный характер был вскрыт.

Однако ни разу ни во время слушаний, ни в судебном заключении иерусалимский суд даже не упомянул о вероятности того, что уничтожение целых этнических групп – евреев, поляков или цыган – могло быть больше, чем преступлением против евреев, поляков или цыган, что это преступление поставило под угрозу мировой порядок и все человечество в целом.

Тесно связанной с этим промахом оказалась подозрительная беспомощность судей, когда им предстояло решать задачу, от которой им было еще сложнее скрыться, – задачу по-

нять преступника, которого они судили. Было явно недостаточно того, что они не пошли на поводу обвинения в его очевидно ошибочном описании обвиняемого как «патологического садиста». Также было бы недостаточным, если бы они сделали следующий шаг и показали непоследовательность обвинения: господин Хаузнер хотел судить самое страшное из всех существовавших в мире чудовищ и в то же время судить в его лице «многих таких же, как он», и даже «все нацистское движение и антисемитизм в целом». Конечно же, они понимали: действительно было бы очень удобным поверить, что Эйхман чудовище – даже если бы дело против него провалилось или потеряло всю свою привлекательность. Вряд ли зрелище Синей Бороды на скамье подсудимых привлекло бы внимание всего мира и собрало журналистов со всех уголков планеты. Проблема с Эйхманом заключалась именно в том, что таких, как он, было много, и многие не были ни извращенцами, ни садистами – они были и есть ужасно и ужасающе нормальными.

С точки зрения наших юридических институтов и наших норм юридической морали эта нормальность была более страшной, чем все зверства, вместе взятые, поскольку она подразумевала – как неустанно повторяли в Нюрнберге подсудимые и их адвокаты, – что этот новый тип преступника, являющегося в действительности «врагом человечества», совершает свои преступления при таких обстоятельствах, что он практически не может знать или чувствовать, что поступает неправильно.

В этом смысле свидетельства в деле Эйхмана были даже более убедительными, чем свидетельства на процессах главных военных преступников, чьи уверения в своей чистой совести можно было опровергнуть еще проще, потому что они шли «в

комплекте» с аргументом подчинения «приказам начальства» и похвальбой о случаях неподчинения им. И хотя лукавство обвиняемых было очевидным, единственной базой, на основании которой действительно можно было доказать нечистую совесть, оказывался тот факт, что нацисты, и особенно преступные организации, в которых состоял Эйхман, в последние месяцы войны занимались исключительно уничтожением улик своих преступлений. Но эта база была шаткой. Она доказывала всего лишь понимание того, что закон, запрещающий массовые казни, в силу его новизны еще не был принят другими народами; или, говоря языком нацистов, что они проиграли свою битву «за освобождение» человечества от «правления недочеловеками», в частности от господства сионских мудрецов; или же, проще говоря, она доказывала всего лишь признание поражения. Мучился бы кто-нибудь из них от нечистой совести, победили они в войне?

Самой крупной ставкой в процессе Эйхмана был популярный во всех современных системах юриспруденции посыл, что намерение причинить вред является обязательным для совершения преступления. Похоже, ничем другим цивилизованная юриспруденция так не гордится, как принятием к сведению этого субъективного фактора. Когда такое намерение отсутствует, когда в силу разных причин, включая моральную ущербность, способность различать добро и зло снижается, мы понимаем, что преступление не было совершено. Мы отказываемся от предложений, отметая их как варварские, что «чудовищное преступление оскорбляет природу и сама земля взывает к мести; что зло нарушает гармонию природы, которую может восстановить только лишь возмездие; что потерпевшее общество

имеет своим долгом для восстановления морального порядка покарать преступника» (Йосал Рогат).

Думаю, невозможно отрицать, что именно на основании этих давно забытых предложений Эйхман изначально и был передан в руки правосудия и что на самом деле именно они стали высшим оправданием смертной казни. Его необходимо было уничтожить, потому что он участвовал и играл центральную роль в предприятии, которое открыто провозгласило своей целью окончательно стереть целые «расы» с лица земли. И если справедливо, что «правосудие должно не только свершиться, необходимо видеть, как оно вершится», тогда справедливость того, что свершилось в Иерусалиме, должны были видеть все – если бы судьям хватило мужества обратиться к подсудимому со словами вроде этих:

«Вы признались, что преступление, совершенное против еврейского народа во время войны, было самым чудовищным преступлением в истории, и вы признали свою роль в нем. Но вы сказали, что никогда не действовали исходя из основных мотивов, что вы никогда не имели намерения убить кого бы то ни было, что вы никогда не ненавидели евреев, и все же вы не смогли бы действовать иначе, и что вы не чувствуете своей вины. В это трудно поверить, хотя и возможно; свидетельств против вас, касающихся мотивации и совести, не очень много, но они могут быть доказаны, вне всякого сомнения. Вы также сказали, что ваша роль в “окончательном решении еврейского вопроса” была случайной и что почти любой мог оказаться на вашем месте, так что теоретически почти все немцы виновны в равной степени. Вы подразумевали, что когда все или почти все виновны, не виновен никто. Это действительно очень распро-

страненный вывод, но мы не желаем его принимать. А если вы не понимаете наших возражений, мы рекомендовали бы вашему вниманию историю Содома и Гоморры, двух библейских городов, которые были уничтожены огнем небесным, потому что жители их были в равной степени виновны. Это не имеет ничего общего с новомодной идеей “коллективной вины”, согласно которой люди считаются виновными или эти люди обязаны чувствовать свою вину за то, что сделано от их имени, но не ими – за то, в чем они не участвовали и от чего не имели никакой выгоды. Иными словами, виновность или невиновность перед законом имеют субъективный характер, и даже если бы семьдесят миллионов немцев сделали то, что сделали вы, это не извиняло бы вас.

К счастью, нам не надо заходить так далеко. Вы сами возложили не факт, а только возможность равной вины на часть тех, кто жил в государстве, главной политической целью которого было совершение неслыханных преступлений. И неважно, какая цепочка случайностей внешнего или внутреннего характера привела вас на путь, который сделал вас преступником, существует пропасть между реальностью того, что сделали вы, и вероятностью того, что могли бы сделать другие. Мы здесь рассматриваем лишь то, что сделали вы, нас не интересует, возможно, непроступный характер вашего внутреннего мира и ваших мотивов или преступных склонностей тех, кто вас окружал. Вы рассказали вашу историю с точки зрения неудачника, и, зная детали, мы готовы допустить, что при более благоприятном стечении обстоятельств маловероятно, что вы когда-либо предстали бы перед нами или перед каким-нибудь другим уголовным судом. Давайте дискуссии ради предположим,

Э П И Л О Г

что неудачное стечение обстоятельств, и ничто иное, сделало вас добровольным орудием организации массовых убийств; мы по-прежнему оказываемся перед фактом того, что вы проводили – а следовательно активно поддерживали – политику массовых убийств. Но политика – это не детский сад, в политике исполнительность и поддержка это одно и то же. А так как вы поддерживали и проводили политику нежелания жить на одной земле с еврейским народом и целым рядом других народов – как будто вы и ваши начальники имели какое-то право определять, кто должен, а кто не должен населять землю, – мы находим, что никто, то есть ни один представитель рода человеческого, не желает жить на одной земле с вами. Единственно по этой причине вас и следует повесить».

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Для многих евреев моего поколения захват, осуждение и наказание Адольфа Эйхмана представляют собой события уникального значения, они оказали огромное влияние на наше сознание и взгляды. Что касается лично меня, то этот апрельский день 1961 года, когда мама усадила меня перед телевизором в нашем доме в нью-йоркском Бруклине, остался одним из самых ярких воспоминаний детства. Я помню, как она сказала: «Ты должен это видеть. Израиль схватил одного из самых главных преступников холокоста, его будут судить в Иерусалиме. Суд начинается сегодня». Впечатление, которое произвела эта сцена на еврейского мальчишку, еще даже не прошедшего бармицву, трудно переоценить. Я помню ее по сей день, потому что тогда в нашей семье впервые заговорили о холокосте – о том, что потом стало в моей профессиональной жизни главным; тот факт, что мой двоюродный дед рабби Эфраим Зар, в чью честь и меня называли Эфраимом, вместе со всей его семьей погиб «во время войны», упоминался и прежде, но как-то вскользь, между делом.

Чтобы понять значение процесса, следует воссоздать ту реальность, весьма отличающуюся от нашей реальности. В пятидесятых, шестидесятых и вплоть до конца семидесятых годов о холокосте говорили мало, и уж точно его не изучали, не анализировали, дискуссий о нем тоже не было. Так обстояли дела в Соединенных Штатах, где рос я, но так же обстояли они в Израиле и даже в Европе. Евреям тогда было о чем подумать, и прежде всего они думали о будущем. Воспоминания об этой величайшей трагедии, трагедии почти непостижимого

масштаба, загонялись внутрь, о них не говорили, об этом старались забыть, и в результате наше поколение росло, почти ничего не зная о страшной судьбе европейского еврейства.

Первой заметной трещиной в этой стене молчания стал процесс над Эйхманом, хотя его истинное значение мы полностью осознали лишь годы спустя. Так было даже в Израиле, где воздействие процесса было куда более непосредственным. Что особенно важно, процесс вывел на уровень законных свидетельств рассказы выживших, которых – за исключением сражавшихся в гетто сионистов – израильский истеблишмент до тех пор предпочитал не замечать. Тому есть множество причин, но ни особого сочувствия, ни интереса истории тех, кто страдал в гетто, в лагерях, или тех, кто вынужден был прятаться, не вызвали, и они вынуждены были молча претерпевать свои муки. А процесс над Эйхманом выдвинул их воспоминания, их личные истории на передний план, и сделано это было таким образом, что им впервые в жизни было оказано уважение и доверие, которых они заслуживали.

Памятуя об этом, довольно трудно относиться с симпатией к книге Ханны Арендт «Эйхман в Иерусалиме»: в ней автор подверг суровой критике сам судебный процесс, в ходе которого рассматривалась степень ответственности этого бывшего члена СС в осуществлении «окончательного решения» и в результате которого он был осужден. По мнению Арендт, суд был на самом деле дурно управляемым показательным процессом, целью которого была пропаганда сионистских воззрений, этот процесс, как считает Арендт, должен был убедить израильтян, что только в Израиле «еврей может чувствовать себя в безопасности и жить достойно», что не могло не поставить в затруднительное положение нееврейский мир. Арендт раскритиковала то, что во время процесса рассматривались только еврейские страдания, а это, по ее мнению, вело к искажению истины и искажению даже самого еврейского измерения произошедшего.

Свое критическое отношение к самому ходу процесса Арендт сопровождает суровой критикой стороны обвинения, которая, полагает она, преувеличила роль Эйхмана, довела ее до совершенно нереальных пропорций в тщетной попытке представить его всемогущим антисемитским сверхчудовищем, действиями которого руководило идеологическое рвение, в то время как Эйхман, по ее мнению, был совершенно другим человеком. По Арендт, основная вина Эйхмана заключалась в неукоснительном подчинении морально ущербной бюрократии, взявшей на вооружение идеологию геноцида. Для нее Эйхман был обыкновенным нелепым бюрократом, лишенным воображения и склонным к самообману, он был куда более озабочен своей личной карьерой, чем преданностью идее, и Арендт пытается доказать неуме-

стность суда над ним, приписывая многие из сюжетов и поворотов «окончательного решения» его начальникам и коллегам.

На эти ее суждения блестяще ответил выдающийся историк и эксперт холокоста доктор Якоб Робинсон в своем труде «Выпрямление кривизны» (*And the Crooked Shall be Made Straight*, Macmillan, 1965), а также историк холокоста Яков Лозовик в книге «Бюрократы Гитлера: нацистская полиция безопасности и банальность зла» (*Hitler's Bureaucrats: The Nazi Security Police and the Banality of the Evil*, Continuum International Publishing, 2002) – в ней он тщательно исследует деятельность департамента, который возглавлял Эйхман, и его роль в осуществлении «окончательного решения». Например, оба автора указывают на радостное возбуждение, эйфорию, которую испытывал Эйхман ближе к концу войны, когда говорил о том, сколь многих евреев ему удалось уничтожить: он-де «сойдет в могилу, смеясь» от радостного осознания того, что послал на смерть пять миллионов евреев. Также весьма значимым в этом плане было интервью Эйхмана, которое он в 1957 году дал в Аргентине голландскому журналисту фон Сассену: в нем он в открытую заявлял, что «когда я пришел к заключению, что то, что мы делали с евреями, было необходимо, я принялся за работу с фанатизмом человека, считающего себя истинным национал-социалистом... Я всегда работал со стопроцентной отдачей и, отдавая приказы, действовал со свойственной мне энергичностью». Арендт отбрасывает эти цитаты, считая их «похвальбой» склонного к самообману человечешки, но центральная роль Эйхмана в организации и осуществлении определенных этапов уничтожения огромного числа евреев во время холокоста, его рвение в проведении этих операций совершенно очевидны, и это оправдывает усилия, предпринятые Израилем для того, чтобы он предстал перед судом, и подтверждает значение самого этого суда.

Но если критика, которой подвергает Арендт саму организацию процесса, еще и может быть предметом обсуждения, то ее язвительные, абсолютно клеветнические высказывания в адрес евреев – жертв нацистов, и в особенности их лидеров, – куда более серьезный недостаток, даже провал ее книги. Начать с того, что Арендт совершенно ложно и даже чудовищно утверждает, будто «реальные убийства в центрах умерщвления обычно выполнялись руками еврейских командос», – под таким утверждением вообще никаких оснований нет. (Да, как правило, сами евреи «сортировали» и «перерабатывали» тела убитых в лагерях смерти, но самих убийств они не совершали.) Что еще более оскорбительно, она фактически обвиняет все европейское еврейство в соучастии в их собственном умерщвлении, она обвиняет почти всех еврейских лидеров в соучастии с нацистами, в

пособничестве в уничтожении их собственных общин, заявляя, что «если бы евреи не были организованы и у них не было бы лидеров, хаоса и бедствий было бы куда больше, но общее число жертв вряд ли достигло числа между четырьмя с половиной и шестью миллионами».

Однако, как поясняет Робинсон, подобная характеристика роли еврейских лидеров Европы во время Второй мировой войны абсолютно оторвана от контекста и не отражает реалий жизни евреев во времена холокоста. Прежде всего, без внимания оставлен куда более серьезный феномен, который в значительной степени повлиял на судьбу европейских евреев – активное сотрудничество с нацистами нееврейского населения почти всех европейских стран, а этот фактор в немалой степени способствовал массовому убийству евреев. К тому же, вопреки утверждению Арендт о том, что именно юденраты составляли списки депортированных, большинство отправленных в лагеря смерти евреев отбирались вовсе не по составленным еврейскими официальными лицами спискам. В некоторых местах, таких как Варшава или Львов, евреев депортировали просто улица за улицей, в других евреям приказывали под страхом смерти являться на сборные пункты. Короче говоря, не еврейские лидеры были ответственны за их смерть, а совокупность других факторов, что Робинсон и поясняет в специальном памфлете, который он опубликовал в ответ на обвинения Арендт:

«Выжил или нет еврей во время холокоста, зависело от условий той страны или района, где он проживал: открытости границ, доступности убежищ, дружелюбия партизан или борцов сопротивления (зачастую в России и Польше евреев убивали сами местные партизаны); эффективности взяток, потребностей немецкой военной машины в рабочей силе; прихотей и капризов местных наци; а в конечном счете – и это немаловажно – от чистой случайности. Нормальный человеческий разум не мог принять тот факт, что действительной целью нацистов было полное уничтожение, немцы же прилагали все усилия, чтобы на время успокоить евреев, притупить их бдительность».

В заключение я должен сказать еще об одном моменте, на который я не мог не обратить внимания. Ханна Арендт, несомненно, была блестящим политическим философом, и ее вклад в эту область знания поистине неоценим. Несомненно, это одна из причин широкого интереса публики к ее репортажам с процесса, опубликованным сначала в виде серии статей в журнале *New Yorker*, по которым затем была написана эта книга, изданная *Viking Press*. К сожалению, ее исторические исследования периода холокоста не соответствуют уровню ее познаний в выбранной ею области философии, что в конечном счете привело к теориям и утверждениям не только неточным, но чрезвычайно обидным и оскорбительным как для жертв, так и для тех, кто остался в

ПОСЛЕСЛОВИЕ

живых. Но если анализ событий и исторической последовательности открыт для дискуссии и интерпретации, то отношение Арендт к предмету разговора не оставляет сомнений в ее образе мыслей. Ее книга, к сожалению, пронизана пренебрежением к жертвам холокоста и их лидерам, к государству Израиль, к самому процессу. И хотя к Эйхману она также не испытывает никакого уважения, порою он все же пробуждает у Арендт нечто вроде сочувствия к человеческим слабостям. Однако странно, что она никогда не проявляет никакого сочувствия к тем, кто его действительно заслуживает – к самим жертвам и к тем, кто старался привлечь их мучителя к суду.

Чтобы как-то объяснить то, что написано в этой книге, предпринимались попытки анализа психологических особенностей самой Арендт, об этом уже тоже много написано. Мне кажется, что «Эйхман в Иерусалиме» – если смотреть на книгу в исторической перспективе – есть произведение глубоко ошибочное, однако оно ни в коей мере не является продуктом хорошо известной неприязни, предрассудков и чувства превосходства, которые испытывают многие светские немецкие евреи к своим восточноевропейским собратьям. К сожалению, в ней присутствует и нечто от характерной еврейской ненависти к себе. Но это не значит, что ее не стоит читать, однако, чтобы достичь более объективного понимания как самого холокоста, так и значения иерусалимского суда над Эйхманом, мы должны столь же внимательно отнестись и к критике произведения Арендт. Тот факт, что приговор был вынесен в зале суда, находившемся в Иерусалиме, столице незадолго до того созданного еврейского государства, добавило дополнительное измерение к волнению и удовлетворению, которые испытывали миллионы евреев во всем мире, в том числе и моя мама.

*Доктор Эфраим Зурофф,
директор израильского отделения
Центра Симона Визенталя*

О Г Л А В Л Е Н И Е

От автора	9
<i>Глава I</i>	
Дом справедливости	13
<i>Глава II</i>	
Обвиняемый	41
<i>Глава III</i>	
Эксперт по еврейскому вопросу	63
<i>Глава IV</i>	
Решение первое: изгнание	93
<i>Глава V</i>	
Решение второе: концентрация	111
<i>Глава VI</i>	
Решение окончательное: убийство	135
<i>Глава VII</i>	
Ванзейская конференция, или Понтий Пилат	169
<i>Глава VIII</i>	
Долг законопослушного гражданина	203
<i>Глава IX</i>	
Депортации из рейха: Германия, Австрия и протекторат ..	227

<i>Глава X</i>	
Депортации из Западной Европы:	
Франция, Бельгия, Голландия, Дания, Италия245
<i>Глава XI</i>	
Депортации с Балкан:	
Югославия, Болгария, Греция, Румыния273
<i>Глава XII</i>	
Депортации из Центральной Европы:	
Венгрия и Словакия293
<i>Глава XIII</i>	
Центры умерщвления на Востоке311
<i>Глава XIV</i>	
Доказательства и свидетели329
<i>Глава XV</i>	
Приговор, апелляция и казнь349
Эпилог377
Послесловие417

Серия «Холокост»

Ханна Арендт

БАНАЛЬНОСТЬ ЗЛА
Эйхман в Иерусалиме

Директор В. Глазычев

Главный редактор Г. Павловский

Ответственный за выпуск Т. Рапопорт

Художественный редактор С. Захаров

Технический редактор А. Монахов

Верстка П. Ольховский

Корректор В. Кинша

Подписано в печать 26.08.2008. Формат 60×84 1/16.

Гарнитура NewBaskerville.

Печать офсетная. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 22,79.

Тираж 2000 экз.

Издательство «Европа»

119180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 1.

Тел. 745-52-25, факс 725-78-67

e-mail: info@europublish.ru

Отпечатано с оригинал-макета
в «Типографии Момент»

Ханна Арендт (1906–1975) – один из самых влиятельных политических философов двадцатого столетия.

Родилась в Ганновере (Германия) и выросла в Кёнигсберге (ныне Калининграде). В университет поступила в свободные и космополитичные времена Веймарской республики, огромное влияние на нее оказали философы Мартин Хайдеггер и Карл Ясперс.

В 1928 году получила степень доктора философии в университете Гейдельберга.

В 1933 году Ханна Арендт была вынуждена покинуть Германию. Восемь лет она прожила в Париже, где работала в организациях, помогающих еврейским беженцам.

В 1941 году Арендт эмигрировала в Соединенные Штаты и вскоре стала активно участвовать в интеллектуальной жизни Нью-Йорка.

В 1951 году был опубликован ее монументальный труд «Истоки тоталитаризма» – в этой книге исследовались нацизм и сталинизм, работа вызвала активные дискуссии о природе и исторических истоках тоталитаризма как феномена. Затем последовал ряд серьезных работ по политической философии, в том числе «Ситуация человека», изданная в 1958 году – оригинальный философский труд, исследующий основополагающие категории *vita activa* (труд, работа, действие). Кроме того, Арендт опубликовала множество вызывавших широкий отклик эссе на такие темы, как природа революции, свобода, власть, традиции и современность. Арендт преподавала во многих университетах, в частности, в Принстоне, Чикагском университете и в Новой школе политических исследований.

«Представленный Арендт анализ соблазнительной природы зла не может не тревожить. Мы предпочитаем думать, что те, что вносят в мир такой ужас, отличаются от нас и что подобные крайности – большая редкость. Но история таких народов, как евреи, курды, боснийцы, коренные жители Америки – список этот можно продолжать и продолжать, – предполагает, что это зло вполне обыденно. Представляя нам Эйхмана как самого обыкновенного маленького человека, Арендт показывает, насколько на самом деле тонок налет цивилизованности».

Amazon.com

«Похоже, пророчество Ханны Арендт сбывается: происхождение такой проблемы, как зло, становится основной темой европейской интеллектуальной жизни.

Шестьдесят лет назад Ханна Арендт высказывала опасение, что мы не будем знать, как говорить о зле, и потому никогда не достигнем его значения. Сегодня мы постоянно говорим о “зле” – но результат остается прежним: мы упрощаем его смысл».

Тони Джадт

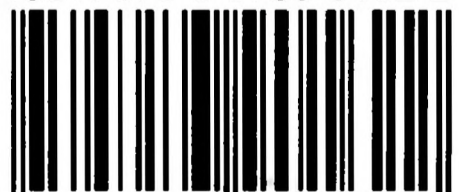
The New York Review of Books

«Блестящее и волнующее исследование характера Адольфа Эйхмана и суда над ним».

Стивен Спендер

The New York Review of Books

ISBN 978-5-9739-0162-2



9 785973 901622

 **европа**